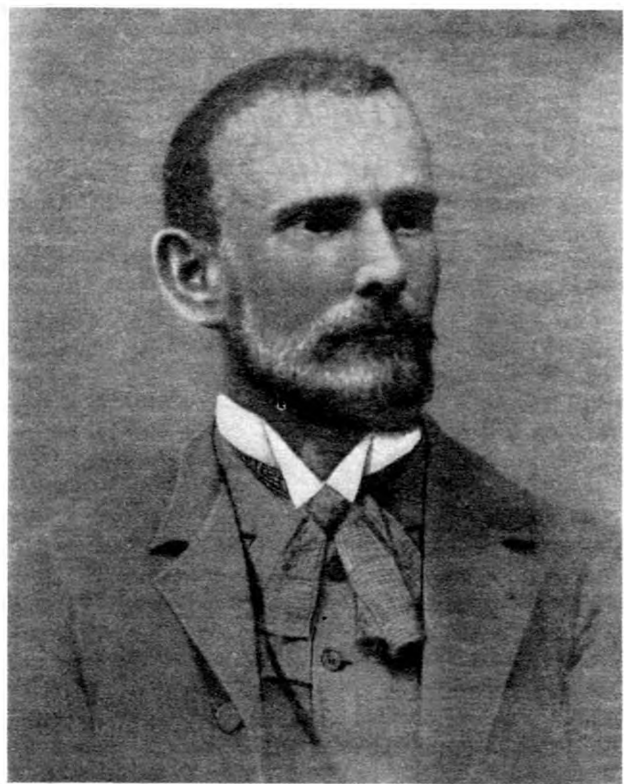


Жюль  
Ренар

ДНЕВНИК







Жюль  
Ренар

# ДНЕВНИК

Калининградское книжное издательство  
ГИПП «Янтарный сказ»  
1998

84. (4Фр) 5я 48

Р 39

**Jules Renard**  
**JOURNAL**

**1887 — 1910**

Перевод с французского  
*Н. Жарковой и Б. Песиса*

Оформление серии *И. Т. Богдеско*

**Ренар Ж.**

Р 39

Дневник: / Под ред. Н. Н. Глушечковой. — Калининград: Калининградское книжное изд-во: Янтар. сказ, 1998. — 482 с.: ил. — Б. ц.

Удивительно точные, емкие, блестящие афоризмы Жюль Ренара — знаменитого французского писателя конца XIX — начала XX века, члена Гонкуровской академии, были популярны на его родине так же, как в Англии — мудреца Бернарда Шоу, чуть раньше в России — крылатые фразы Ф. И. Тютчева. Россыпи их, наряду с портретами его друзей и знакомых, выдающихся деятелей культуры и политики Франции — Сары Бернар, Поля Верлена, Виктора Гюго, Жана Жореса, вы найдете в замечательном «Дневнике» писателя. Мысль, чувство, наблюдение заключены в такую совершенную форму, что хочется запомнить всё — ибо лучше не скажешь...

**84. (4Фр) 5я 48**

© Н. Жаркова, Б. Песис.

Перевод. Составление. 1998.

IFBN 5-85500-383-3 © И. Т. Богдеско. Оформление. 1998.

---

## 1 8 8 7

*Без числа.* Талант — вопрос количества.

Талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать их триста. Нет такого романа, который не мог бы родиться в самом заурядном воображении; нет такой прекрасной фразы, которую не мог бы построить начинающий писатель. И тогда остается только взяться за перо, разложить перед собою бумагу и терпеливо ее исписывать. Сильные не колеблются. Они садятся за стол, они корпят. Они доведут дело до конца, они испишут всю бумагу, они изведут все чернила. Вот в чем отличие людей талантливых от малодушных, которые ничего не начнут. Литературу могут делать только волю. Самые мощные волю — это гении, те, что не покладая рук работают по восемнадцати часов в сутки. Слава — это непрерывное усилие.

*6 июля.* Итог: 100 франков заработка ежемесячно за то, что через день я отправляюсь в канцелярию и спрашиваю, есть ли работа, а работы все нет и нет.

*13 сентября.* Артистизм не в том, чтобы впрячься в какую-нибудь большую работу, например в писание романа, где все мысли должны подчиняться требованию засасывающего сюжета, заранее себе заданного. Артистизм скорее в

том, чтобы писать рывками, на сотни тем, которые возникнут сами по себе, крошить, если можно так выразиться, свою мысль. Тогда ничто не будет притянуто за волосы. Во всем будет прелесть непринужденности, естественности. Не добиваешься: ждешь.

*21 октября.* Поднять хлебопечение на высоту государственного института. Бесплатный и обязательный хлеб.

*27 октября.* Любопытно было бы проследить, как сказывается на молодых влияние писателей, уже нашедших свою дорогу. Сколько нужно усилий, прежде чем научишься черпать оригинальность просто у самого себя.

\* Море, похожее на бескрайнее поле, взрываемое невидимыми пахарями<sup>1</sup>.

\* Под ветром дождь ложится почти горизонтально, как колосья ржи.

*31 октября.* Иногда нам приходит желание сменить родную семью на семью литературную, конечно, по собственному выбору, дабы можно было творцу растрогавшей тебя страницы сказать — «брат».

\* Пробудившись от сладкого сна, хочется заснуть вновь, чтобы продолжить его; но тщетно мы пытаемся уловить туманные его следы, словно складки платья любимой, скрывающейся за занавесом, который тебе не поднять.

*1 ноября.* Он приходил, подымался ко мне на седьмой этаж и без передышки начинал бесконечные политические споры; и, странное дело, в рабочем кабинетике с жалкими украшениями на стенах — веерами, гравюрами Буссо, какими-

---

<sup>1</sup> Звездочками в «Дневнике» Ренара обозначается начало новой записи.

то вовсе немислимыми портретами, — в красноватом свете похожего на зонт абажура это он, это его шестьдесят лет вещали моим двадцати годам об обществе, республике, человечестве. Отец старался просветить меня, ибо он верил, что эти громкие слова светonosны, что они согреют его сына, молодого человека, уже в достаточной мере разъеденного скепсисом и озадаченного. Мне доводилось видеть его в минуты звериной тоски, когда он возмущался, сотрясал воздух крамольными словами, но это быстро с него соскакивало, и он сразу же возвращался к своим добрым, здравым убеждениям, за которые держался с удивительным упорством стариков, уже не желающих ничему учиться.

*5 ноября.* Воздух светлый, прозрачный, где свет кажется каким-то влажным, омытым, испулавшимся в кристально чистой воде и колеблющимся, как тонкий тюль, который повесили сушиться после грозовой стирки.

\* Литература по-своему вознаграждает женщину за то неравное, по мнению литературы, положение, которое женщина занимает в обществе.

Женщина в книгах — как витрина ювелиров. И волосы у нее золотые, и глаза изумрудные, зубы — жемчужины, губки — кораллы. Хорошо еще, если дело ограничивается этим. У любви даже плевки золотые.

*7 ноября.* Капли дождя, непрерывно сбегающие по запотевшему стеклу, прокладывают бороздки, вроде маленькой тропинки в снегу.

Металлическая природа, заросли печных труб, цинковые крыши светлее озер, проемы слуховых окошек, похожие на жерла пещер, город, почти весь ушедший под воду до самых труб из



красного кирпича, потоп под тусклым солнцем тоже кирпичного цвета, целый призрачный подводный мир, видный из запотелых окон в дождливый день.

*8 ноября.* Стиль Гонкуров лучше всего виден в их высокомерном пренебрежении к гармонии, к тому, что Флобер называл ниспадением фраз. Их фразы загромождены спаренными родительными падежами, тяжелыми сослагательными наклонениями, оборотами вязкими, словно они вышли изо рта, полного слюны. У них попадают слова как репей, синтаксис их дерет горло, и от этого на небе такое ощущение, точно там налипло что-то, что не решаешься выплюнуть.

*9 ноября.* Искусство прежде всего. Он жил месяц, два месяца только среди книг, разрешая себе короткий отдых и сон, потом вдруг хватался за кошелек. Надо было искать места, любого, чтобы продолжать жить. Начинался долгий ряд дней в какой-нибудь канцелярии, с закоренелыми чинушами; он наклеивал марки, надписывал адреса, соглашался на любую работу, зарабатывал несколько су, благодарил патрона и возвращался к книгам — до новой катастрофы.

*11 ноября.* Стиль вертикальный, алмазный, без зазубрин.

*14 ноября.* Иногда все вокруг кажется мне таким расплывчатым, таким смутным, таким непрочным, как будто эта действительность есть мираж будущего, его проекция. Кажется, что лес далеко и что, хотя нас уже коснулись тени деревьев, придется еще идти и идти, прежде чем мы вступим под их сень.

*24 ноября.* Мне рассказали, будто Монтепен держит у себя на столе маленьких человечков из

деревя и сбрасывает их по мере того, как его роман их убивает.

*25 ноября.* Именно в городе, в настоящем городе пишешь самые свои вдохновенные страницы о деревне.

*5 декабря.* Светский разговор, который в приемный день, до прихода визитеров, ведут между собой составленные в кружок кресла.

---

## 1888

*12 августа.* В большом лесу после завтрака. Мы сидим под сосной, у ручья, который бежит в русле из коры. Бутылки поставлены в воду — для охлаждения. Ветки погружаются в нее, чтобы утолить жажду. Вода бежит белая, в светлых леденистых брызгах, таких свежих, что сводит челюсти. Мой маленький сын старается подсмотреть через мое плечо, что я пишу. Я целую его, и это чудесно.

\* Нет ничего несноснее, чем портреты героев у Готье. Лицо выписывается черта за чертой, со всеми деталями и загромождающими мелочами. Для мысли не остается места. В этом ошибка большого писателя, ошибка, которой остерегаются современная школа. Теперь описывают двумя-тремя точными словами, которые создают образ, а не забавляются разглядыванием в микроскоп.

*11 октября.* Он написал поэму и начал ее словами: «Муза, не говори мне ничего. Молчи, муза».

*13 октября.* Красноречие. Св. Андрей, распятый на кресте, в течение двух дней проповедует двадцатитысячной толпе. Люди слушают замороженные: ни один не подумал о том, чтобы освободить его.



Дом Жюль Ренара в Шомо

**15 ноября.** Друзья — как одежда. Нужно покидать их, пока они не износились. Иначе они покидают нас.

**23 ноября.** Поэту недостаточно мечтать; он должен наблюдать. Я убежден, что именно так обновится поэзия. В поэзии должен произойти тот переворот, который произошел в романе. Трудно поверить, как сильно давит на нас до сих пор старая мифология. Зачем петь, что дерево обитаемо фавном? Дерево обитаемо самим собой. Оно живет: вот чему надо верить. У растения есть душа. Лист — не то, что думают поверхностные люди. Часто говорят о мертвых листьях, но на самом деле не верят, что листья умирают. Зачем рядом с жизнью создавать другую жизнь? Фавны, ваше время прошло! Теперь поэт хочет беседовать просто с деревьями.

\* Для того чтобы позволить себе кое-какие дурачества, мы должны уподобиться кучеру, который бросил вожжи, предоставив свободу лошадям, а сам крепко спит.

\* Из тебя ничего не выйдет. Что бы ты ни делал, из тебя ничего не выйдет. Тебе доступны мысли самых великих поэтов, самых проникновенных прозаиков; но хотя и считается, что понимать другого — значит быть равным ему, ты рядом с ними подобен карлику рядом с великаном.

Ты работаешь каждый день. Ты принимаешь жизнь всерьез. Ты пламенно веришь в искусство. Ты умеренно наслаждаешься любовью. Но из тебя ничего не выйдет.

Тебе не приходится думать ни о деньгах, ни о хлебе. Ты свободен, и время тебе принадлежит. Тебе надо только хотеть. Но тебе не хватает силы.

Из тебя ничего не выйдет. Плачь, выходи из себя, — падай духом, надейся, разочаровывайся, возвращайся к своим обязанностям, кати в гору свой камень, — из тебя ничего не выйдет.

У тебя голова странной формы, будто ее высекли размашистыми движениями резца, как голову гения. Твое чело сияет, как чело Сократа. Строением черепа ты напоминаешь Наполеона, Кромвеля и многих других, и все-таки из тебя ничего не выйдет. К чему же эта растрата благих намерений и счастливых дарований, если из тебя ничего не должно выйти?

Где та планета, где тот мир, то божественное лоно, где та новая жизнь, в которой ты будешь числиться живым среди живых, где тебе будут завидовать, где живущие будут тебе низко кланяться и где ты будешь представлять собой что-то?

*29 декабря.* Как часто люди хотят покончить жизнь самоубийством, а кончают тем, что рвут свои фотографические карточки.

*18 января.* Душа — вот слово, о котором сказано больше всего глупостей. Подумать только, что в XVII веке разумные люди именем Декарта отрицали существование души у животных! Глупо отказывать другому в том, о чем человек сам не имеет ни малейшего представления. Это не только глупо. Это равносильно утверждению, что у соловья якобы нет голоса и что просто у него в горлышке отлично сделанный свисток, который он купил себе у Пана или у какого-нибудь другого сатира, игрушечного мастера лесов.

*24 января.* Старомодный стиль обязывал переводить кое-где французские слова на латинский язык. В книгах их выделяли курсивом. А в наши дни мы только дивимся — к чему все это. Это и в самом деле довольно неуклюжий способ показать свою образованность. Латинские слова ровно ничего не добавляют к французским. Кроме цветистости. К примеру, в «Гении христианства» читаем: «Никто не возвращается безбожником из царства одиночества. Regna solitudinis!» Почему «Regna solitudinis»?

*25 января.* Всем современным писателям следовало бы запретить под угрозой штрафа или даже тюрьмы заимствовать сравнения из ми-

фологии: говорить об арфах, лирах, музах, лебедях. Аисты, на худой конец, пусть остаются.

*30 января.* Идеал спокойствия олицетворяет сидящая кошка.

*27 февраля.* Человек простой. Человек, у которого хватает мужества иметь четкий почерк.

*12 марта.* О свекрови<sup>1</sup>.

— Да, мама.

— Во-первых, я вам не мама, а во-вторых, я не нуждаюсь в ваших любезностях.

То она забывала подать ей прибор, то давала ей грязную вилку или, вытирая стол, нарочно оставляла крошки перед невесткой, а если крошек там не было, сметала к ее прибору чужие крошки. Она не гнушалась самыми мелкими придирками.

То и дело слышалось: «С тех пор как эта чужая здесь, все не ладится». А эта «чужая» была женой ее сына. Симпатия свекра к невестке только разжигала злобу его жены. Встречаясь с ней, она вся сжималась... Прилипала к стене, как бы боясь запачкаться. Она доходила до того, что выражала свое отвращение плевками.

Иногда она придиралась к обоим: «Посмотрите-ка на Мориса и Амели. Вот счастливцы, они живут душа в душу. Это не то что некоторые другие, у которых все для виду».

Она останавливала в сенях возле двери невестки какую-нибудь женщину и изливала ей свои горести. «Что вы хотите? Они еще молоды», — возражала та, упиваясь сплетнями... «Да,

---

<sup>1</sup> Перечитывая эту запись 25 января 1906 года, Жюль Ренар сделал на полях следующую приписку: «Именно это обращение с моей женой толкнуло меня на создание «Рыжика».



но не всегда же быть молодыми. Я тоже умела целовать своего; теперь все давно забыто. Будьте уверены, смерть нас всех заберет. Посмотрим, что будет с ними через десять лет и даже раньше».

Бывало и обратное. Будем справедливы: и на нее находила нежность.

— Хорошая моя, славная. Я к вашим услугам. Что бы я ни говорила, я люблю вас, как родную дочь... Дайте же мне вашу тарелку... Я буду делать всю тяжелую работу. У вас такие беленькие ручки! — Внезапно ее лицо искажалось злобой: — Я ведь прислуга для всех.

У себя в комнате она отделила фотографии своих детей от портрета невестки, она оставляла ее в одиночестве, обиженную, уязвленную.

*31 марта.* Я знал одного двадцатичетырехлетнего парня, который управлял тремя фермами, твердой рукой распорядился людьми и любил только свою скотину; который сам водил на случку жеребцов и быков, который сам, своими руками, засучив рукава, помогал коровам при растеле, который вправлял овцам при выпадении матки; который постиг до тонкости все нечистоплотные стороны своего ремесла и который говорил моей жене со смущенным и сконфуженным видом: «Не рассказывайте моей маме, что я читал «Землю».

*6 апреля.* Все, что я читал, все, что передумал, все мои вымученные парадоксы, моя ненависть к общепринятому, мое презрение к банальному не мешают мне в первый же весенний день умиляться, искать фиалок у заборов между нечистотами и истлевшими бумажками, играть с мальчишками в шарики, смотреть на ящериц, на бабочек в желтом наряде, приносить моей жене

маленькие синие цветочки. Извечный антагонизм. Бесконечные усилия, чтобы вырваться из глупости, и неизбежный возврат к ней. И очень хорошо!

*13 мая.* Нынче утром, сидя на солнышке на охапке хвороста среди продолговатых листьев ландыша и машинально ища глазами еще не раскрывшиеся душистые его жемчужинки, мы все время говорили о смерти и о том, что будет, если один из нас уйдет раньше. Нас слепило солнце. Все наше существо было пропитано жаждой жизни, и нам было сладко говорить о неизбежной смерти, будучи так далеко от нее. Ах! те, кого мы оставляем!.. Пьер, в сбившейся на ухо шапочке, отчего у него стал слишком ухарский вид, спал, улыбался, сосал соску. Рядом какие-то люди клали молодые дубки на вилы, воткнутые рукояткой в землю, и быстро обдирали кору, кору, все еще истекающую соком, живую, похожую на человеческую кожу, свивавшуюся в какой-то последней судороге.

*17 мая.* Паук скользит по невидимой паутинке, будто плывет по воздуху.

*21 мая.* — Что же делает Жюль?

— Работает.

— Работает? Над чем?

— Я же вам говорил: над книгой.

— Неужели столько нужно времени, чтобы переписать книгу?

— Он не переписывает. Он сочиняет.

— Сочиняет? Значит, то, что пишут в книгах, — неправда?

*22 мая.* На закате кажется, что там, за нашим горизонтом, возникают страны-химеры, страны, обожженные солнцем, Огненная Земля, страны, которые окунают нас в мечту, плени-

тельную надолго, и для нас они единственно доступный рай, Египет с его великими сфинксами, Азия с ее тайнами, все, что угодно, только не наш жалкий, тощий и печальный мир.

*27 мая.* Сегодня у Мари Пиарри отелилась корова. Мари плакала и говорила: «Я не могу этого видеть, я убегу». Потом возвращалась: «Ах, бедная, бедная моя! Смотрите, она сейчас околеет! Непременно околеет. Ей ни за что не разродиться». Корова телилась, слышно было, как она вздыхает. Александр ласкал ее и одновременно тащил за ноги теленка. «Ну, ну, моя хорошая!» Дядюшка Кагель распорядился: «Тяните, детки, тяните!» Каждый чувствовал себя матерью; когда корова разрешилась и, выпив подслащенного вина, стала вылизывать соль, которой посыпали теленка, — у всех были слезы на глазах.

*28 мая.* Дружба талантливого писателя — большое благодеяние. Жаль только, что тех, чье расположение было бы нам приятно, всегда уже нет в живых.

*14 июня.* Существует ли предначертание судьбы? Свободны ли мы? Как неприятно не знать этого! Как было бы неприятно знать!

*23 июня.* Солнце, похожее на остановившийся маятник.

*9 июля.* В любой женщине живет теща.

*14 июля.* Женщина не перестает говорить о своем возрасте и никогда его не называет.

*28 июля.* Только что сжатая нива с зелеными пятнами, похожими на плохо выбритые синеватые щеки актера.

*31 июля.* Выпивать каждое утро по чашке солнца и съесть по колоску ржи.

*12 августа.* Огромная легкость, с которой он

усваивал идеи и чувства своих любимых авторов, парализовала его своеобразие. Его бросало из стороны в сторону. Каждая книга, казалось ему, содержала какое-нибудь превосходное изречение, какую-нибудь замечательную теорию, которую он тут же перенимал.

Отсюда рассеянность мысли, множественность вкусов, легко удовлетворяемых, и в то же время неясное представление о конечной цели. Неудачные шаги, бесполезные литературные экскурсии и упорный эклектизм обрекали его на посредственность, сделали из его души настоящую литературную душу, паразитирующую на душах других, неспособную жить самостоятельно.

*24 августа.* Мне скучно читать писателей, не любящих Виктора Гюго, даже когда они прямо не говорят об этом.

*28 августа.* Безнадежно. Читаешь все, и ничего не запоминаешь. Как ни напрягаешься, все ускользает. Только кое-где остается несколько ключевых, едва различимых, как ключья дыма, указывающие, что поезд прошел.

*5 сентября.* Личность подобна растению, личность подобна семени, личность подобна плоду. Искусство подобно растению, религия подобна растению, общество подобно растению. Все — растение. Как я ни восхищаюсь Тэном, великим писателем, — я не могу не видеть, насколько все его сравнения бедны, банальны и однообразны.

*6 сентября.* Завидую художникам. Они — хозяева своей публики. Этим утром я наблюдал г. Бéro в ателье. Он стоял перед своей картиной. Она впечатляет. На мольберте висела серая шляпа г. Бéro. Он брал с палитры краску и осторож-

но накладывал мазок. Он отступал на шаг, улыбался, объяснял мне, что сюжет у него неблагодарный и что ему хочется сделать по-новому. Он держал в руке муштабель; по временам муштабель подымался в воздухе со свистом, в котором было что-то устрашающее; г. Бери тыкал в какое-нибудь яркое пятнышко или фон, гости вглядывались, ничего не понимая. Что остается делать публике, перед которой разыгрывают такую комедию? Публика сражена заранее. Тщеславие зрителя задето, и он попадает на приманку собственной глупости. Конечно, зритель ничего не понимает; но ни за что не покажет этого: вдруг заметит сосед. Ему нельзя не быть знатоком, и вот он, как знаток, роняет ни к чему не обязывающее замечание, оглядывается по сторонам. Художник в этот момент улыбается... Художник улыбнулся! Публика попала. Она будет рассказывать об этой улыбке и о картине. Особенно об улыбке. Замечание, которое мы обронили, оказалось таким верным.

Художник властвует над этими ротозеями, он здесь, и у него в руках палка. И к тому же его видят за работой; этот, по крайней мере, работает!

Писатель проводит ночи и ночи в труде над книгой. Публика покупает книгу за два франка семьдесят пять сантимов. Публика открывает книгу одна, совсем одна, поймите это; она никого не боится. Она может бросить книгу в корзину, если захочет и когда захочет. Читатель — человек свободный. Он не боится ни соседа, ни палки в руках творца искусства. Он может быть глупым в свое удовольствие, он может стукнуть кулаком по желтому томику ценою в два франка семьдесят пять сантимов, как гувернантка, кото-

рая — только отвернешься — изо всех сил ушипнет раскричавшегося малыша и назовет его «чертов уродец»!.. Завидую художникам.

*18 сентября.* Я никогда не выберусь из этой дилеммы: я боюсь невзгод, но они меня подстегивают и делают талантливым. Мир же и благополучие, наоборот, парализуют меня. И так, или быть ничтожеством, или вечно быть обремененным заботами. Надо выбирать.

Предпочитаю иметь неприятности, говорю я.

Но мне было бы очень неприятно, если бы меня поймали на слове.

*24 сентября.* Начал «Обермана» Сенанкура. Никак не читается. Нет, в жизни не дочитаю до конца. Бессмысленный культ скуки. До чего же идиотская выдумка этот их «туман в душе». Душа, конечно, не бог весть что, но вот эта школа умела превращать ее в ничто.

*25 сентября.* Читаю роман за романом, полон ими, начитался до краев, по уши, потом пресыщаюсь банальностью, назойливыми повторами, условностью, однообразными приемами и сознаю, что могу писать иначе.

*28 сентября.* Ты говоришь, что еще не совсем созрел. Чего же ты дожидаться? Пока не сгниешь?

*30 сентября.* Читал другу. — Ах, друг мой, ты был очень жесток! Вспоминаю твое лицо. Нет, лучше не вспоминать. Я говорил тебе: «Хочешь еще немножко?» — «Чего — чаю или стихов?» Я видел, что ты колеблешься.

Я по-настоящему страдал. Смирялся и наливал тебе еще чашку. Затем я снова перелистывал рукопись — с улыбками, с подмигиваниями, чтобы обольстить тебя, подзадорить. Но мы

медленно пили чай, полузакрыв глаза, в облаке пара.

Какие же вы дураки, друзья, какой от вас прок... Я начал складывать рукопись в папку, завязывать ее. Но какими неловкими движениями! Думаю, что даже женщина, которая одевается на глазах возлюбленного, но все еще верит, что желание вновь проснется в нем, не могла бы с большим искусством изображать, что всего труднее на свете попасть рукой в рукав или разгладить складки на рубашке, еще недавно пролетевшей в самый дальний угол комнаты...

Но твое-то желание, мой друг, уснуло крепко. Рукопись вернулась в свою полотняную рубашку. Я с удовольствием швырнул бы тебе в физиономию кипящий чайник. Ах, друзья, дорогие друзья, кричите: «Это прекрасно, действительно прекрасно! Просим! Просим еще!» Вам ведь так просто сказать это, а мы — когда вы этого не говорите — мы так огорчаемся и так надолго!

\* В зале для фехтования: куча маркизов, графов. Эти люди живут за счет своих имен. Они производят на меня сильное впечатление. Плебей, сын крестьянина, я считаю их всех болванами. Однако они мне импонируют, и когда, проходя мимо, я вижу их голые жалкие тела, я застенчиво говорю: «Извините!»

*6 октября.* В один прекрасный день в часы вставят фонограф. Вместо того чтобы звонить, они будут объявлять время: «Пять часов, восемь часов». Им возразят: «Вы опаздываете», или: «Вы спешите!» Мы будем беседовать с временем. Оно остановится, чтобы поболтать, как простая консьержка или служанка в лавочке.

*21 октября.* Лабрюйером в нынешнем стиле — вот кем следовало бы быть.

\* Когда я держу в объятиях женщину, я прекрасно сознаю, что и тут еще я занимаюсь литературой. Я произношу такое-то слово потому, что должен его произнести, и потому, что оно литературно. Даже и в эти минуты я не могу быть естественным. Я не знаю английского, но я сказал бы охотнее «я люблю вас» по-английски, чем просто «я люблю вас».

\* Что может быть хуже новелл Бальзака? Для него это слишком узко. Впрочем, когда у него возникала идея, он писал роман.

\* Хорошенькая женщина обязана быть опрятной и кокетливой с самого утра и в хозяйственных хлопотах блистать, как новая монета среди кучи мусора.

*5 ноября.* Ах, если бы у меня был секретарь для сновидений! Какие замечательные вещи он записал бы!

Днем я зажигаю свою мысль, но часто она тускла, как огонь, который не хочет разгораться. Когда же я засыпаю, она начинает пылать. Мой мозг — фабрика, работающая по ночам.

*9 ноября.* Моряки и морские сюжеты сейчас в чести. Я тоже люблю моряков и море; но вот увидите, заговорю я о них только тогда, когда они уже у всех навязнут в зубах, как Эйфелева башня, износятся до самого якоря, когда веера их шкиперских бород будут не менее популярны, чем серп луны, когда при одном взгляде на них будет начинаться морская болезнь.

*14 ноября.* Вчера вечером, 13-го, на первом собрании Плеяды в кафе «Франсе» видел странные лица. А я-то думал, что длинные волосы уже отжили свой век. Мне казалось, что я попал в



зверинец. Их было семеро. Был Кур. Он так и остался коротким<sup>1</sup>, и хотя я не видел его пять лет, а то и больше, мне показалось, что он не успел за это время сменить ни воротничка, ни зубов. Валлет меня представил. Мы все знали друг друга по имени. Все вежливо поднялись, ибо я один из главных пайщиков. Я уже чувствую какие-то неприятные веяния. Расселись по местам, и я начал заносить заметки в записную книжку. Ну и волосы! Один там был похож на Человека, который смеется, но смеялся он скверно, потому что на нижней губе у него был большой гнойный прыщ. Можно было бы сосчитать волосы в его бороде, но мне было не до того.

Его шевелюра меня пленила. Его мягкая шляпа, его офицерский, в обтяжку, мундир, а главное, монокль, который все время выпадал, взлетал, блестел, как-то меня тревожили...

В а л л е т: Можно ли рассматривать журнал как юридическое лицо? Вот в чем вопрос.

— А! О! Да!

— Потому что, если наложат взыскание...

Начали совещаться. Конечно, с них еще никогда ничего не взыскивали. И все-таки рождалось беспокойство. Сам термин пугал. Каждый уже видел себя в тюрьме, сидящим на скамье среди маленьких корзиночек с провизией, которую принесли друзья.

— Позвольте, но если с журнала взыскивают, как с юридического лица, то, значит, он лицо малопочтенное.

Кажется, я сам сказал эти слова. Ну и глупость. Успеха они не имели, и я побагровел, как стекло в луче рефлектора.

---

<sup>1</sup> Кур — от французского court — короткий.

Опасность взыскания, казалось, миновала.

Валлет, главный редактор, взглянул на листок бумаги, исписанный карандашом, и продолжал:

— Сначала название... Сохраняем ли мы название «Плеяда»?

Я не смел ничего возразить, но я считал немного устаревшим это астрономическое название в стиле Марпона-Фламариона. Почему, в таком случае, не «Скорпион» или «Большая Медведица»? И потом, поэтические группировки уже назывались так при Птолемеи Филадельфе, при Генрихе III, при Людовике XIII... Тем не менее название приняли.

— А какого цвета обложка?

— Кремовая!

— Белая, матовая! — Яблочко-зеленая! Нет! Цвета лошади, которую я видел. Серо-бурая в яблоках. — Нет! Нет!

Валлет никак не мог вспомнить, какую именно лошадь он видел.

— Цвета табака, в который налили молоко.

— А что, если попробовать?

Велели принести стакан молока, но никто не захотел губить свой табак.

Начали перебирать все оттенки, но не хватало слов. Здесь нужен сам Верлен...

За неимением Верлена каждый что-то старался изобразить руками, игрою пальцев, импрессионистскими ухватками, жестами в пленэре, тычками указательного пальца, как бы дырявящего пустоту.

— А вы, Ренар, что скажете?

— Мне все равно.

Я заявил это с равнодушным видом, но в глубине души я обожаю зеленые тона «Скапе-

нов», полежавших в газетных киосках, линиялый оттенок зеленого картона, побывавшего под дождем.

— А вы, Кур?

— Я присоединяюсь к мнению большинства.

— Все присоединяются к мнению большинства. Но где оно?

Оно было за цвет мов. Как красивы занавески такого цвета! И потом «мов» рифмуется с «альков».

От этой ассоциации Орье даже прослезился, — должно быть, у него на примете какая-нибудь великосветская щеголиха.

Валлет продолжает:

— На обороте мы напечатаем названия уже вышедших вещей.

Все молчат.

— И работ, которые выйдут в свет.

Тут все заговорили разом.

О р ь е. «Старик».

В а л л е т. «Святой Вавила».

Д ю м ю р. «Альбер».

И список растет, громко звучат имена, как будто речь идет об участниках крестового похода.

— А вы, Ренар?

— У меня ничего звучного в запасе. Ах, вспомнил, у меня есть готовая рукопись.

Получается, что у других нет рукописей. Все смотрят на меня косо.

— Теперь о формате, — говорит Валлет, — пожалуй, с этого и следовало начинать.

— Да все равно... Плевать...

— Простите, — говорит Орье, — нужно побольше воздуха, поля пошире, нужно, чтобы тексту было просторно на бумаге.

— Но это стоит денег. Ах, ах! — Я высказываюсь за формат in 18, имея в виду свою библиотеку.

— Слишком мелко получится. — Похоже будет на счета от прачки. — Да, но зато удобно переплетать и можно сохранить набор для роскошного издания. Так, например, я лично... — Но у нас дело общее.

— Теперь перейдем к содержанию. В первом номере должны участвовать все.

— Нам будет тесно, как сельдям в бочке.

Решили разрезать журнал на ломти.

— Отлично, я возьму десять, даю за них тридцать франков.

Наконец все устраиваются, как пассажиры в дилижансе.

*19 ноября.* (У Валлета) ... Дюбюс позирует, разглагольствует, замолкает, провозглашает парадоксы, старые, как соборы: скучные, убийственные теории о женщине.

Опять теории! Не хватит ли подобных теорий?.. Отвратительная оригинальность Дюбюса. Кажется, будто ешь что-то в сотый раз...

Обычный прием Рашильд — заставить их поверить, что они куда умнее ее. «Ведь вы делаете искусство!» Да, да, они его делают, они его слишком много делают, они провоняли искусством, эти господа! Нет! Довольно! Хватит искусства, которое приедается! Смыть его с себя, целую Маринетту и Фантека.

*20 ноября.* Дюбюс — невозмутимому собеседнику: «Я, мосье, я, когда работаю, могу работать только при свете лампы. Я завел у себя двойные ставни. Днем я их закрываю и зажигаю лампу. Вот! А вы?» — «О, я, мосье, я буржуазен, как орел! Мне достаточно солнца, я не боюсь солнца».

*23 ноября.* Сегодня прочитал в «Ревю Блэ» статью о Барресе. Баррес сейчас в моде. Как писателя Барреса лучше всего определяют слова, сказанные Риваролем о Лорагэ: «Его мысли похожи на сложенные в ящике стекла — каждое стекло в отдельности прозрачно, но все вместе — темны».

*25 ноября.* Я люблю людей больше или меньше в зависимости от того, больше или меньше дают они материала для записных книжек.

*20 декабря.* Он старательно записывал имена тех, кто прославился поздно, и радовался, когда узнавал, что такому-то великому современнику, оказывается, уже за сорок. Он говорил себе: «И я еще не опоздал».

*26 декабря.* Фраза, к которой прикасаешься, затаив дыхание, как к заряженному пистолету.

*28 декабря.* Написать диалог между горожанином на даче, которому деревня знакома по Жорж Санд, и старым крестьянином, очень простым и отнюдь не мечтательным.

Горожанин спрашивает крестьянина об «орудиях пахаря», о его «хижинке». Сухие ответы разрушают все иллюзии господина писателя.

---

## 1890

*2 января.* Можно быть поэтом и носить короткие волосы.

Можно быть поэтом и платить за квартиру. Хоть ты и поэт, но можешь спать с собственной женой.

И поэт иногда может писать по-французски.

*23 января.* А не кажется ли вам, дорогой мосье Тайад, что можно обладать талантом и не обзывать при этом одного литератора кретином, а другого зубодером.

*24 января.* Вчера вечером кто-то отметил оригинальную черту «Меркюр де Франс». Печатающиеся там поэты пока еще не твердят о своих лирах.

\* Нашим орудием должна быть не ассоциация идей, а их диссоциация. Ассоциация, как правило, банальна. Диссоциация разлагает привычные сочетания и обнажает скрытые сходства.

*28 января.* Буржуа — это только не мы с вами.

*1 февраля.* Написать роман и, забегаая вперед, изобразить в нем смерть какого-нибудь современника.

*8 февраля.* Этот гений — орел, скудоумный, как гусак.

*14 февраля.* Эдуард Род все еще делает различие между внешним наблюдением и наблюдени-

ем внутренним, или интуитивизмом. Как будто в психологии давным-давно не доказано, что любое наблюдение — внутреннее.

\* Я всегда так жадно стремился все узнать, не отстать от жизни, что в конце концов полюбил тоненькие книжки, которые легко читать, с крупной печатью, с большими отступами, а главное, их можно тут же отправить обратно на библиотечную полку и взяться за следующий томик.

*15 февраля.* Приступаешь к чтению книги с таким чувством, с какимходишь в вагон, нерешительно бросая назад расстроенные взгляды, досадуя на то, что приходится покидать насиженные места и привычные мысли. Каким-то еще окажется путешествие? Какой-то еще окажется книга?

\* Мадемуазель Бланш, весь бюджет которой составляет тридцать франков в месяц, завела себе приемные дни и очень обижается, когда не приходят на ее журфиксы! И продолжает устраивать их, хотя никто ими не интересуется. Ах, этот страх перед старостью и эти неловкие попытки цепляться за все и вся, это желание быть кем-то в жизни других, и горечь сознания, что «уже ничего не получается» и что всему пришел конец, что ты просто-напросто старая, никому не нужная брюзга и что пора тебе умирать!

Сделать из этого в ближайшее время новеллу.

Чета молодоженов живет в деревне. Им скучно. Они, не подумавши, приглашают к себе мадемуазель Бланш. Ее приезд. Первое время — все очень мило, затем все меняется. Старушонка становится день ото дня все докучливее. От нее

житься нету. Но как от нее отвязаться? Они ведь стгоряча пригласили ее поселиться у них навсегда; ведь так приятно делать добро! А она тем временем растеряла свою маленькую клиентуру. Не могут же они отослать ее обратно. Впрочем, она ничего не замечает. Ее прямота приводит их в отчаяние. По ее мнению, ребенок плохо воспитан, и она берется его исправить. Отец и мать в ярости, особенно мать: «Не желаю, чтобы она трогала моего ребенка». Наконец на горизонте затеплилась надежда, увы! ненадолго. Старуха заболела, но поправилась. Молодой супруг понимает, что семейный мир нарушен, что этой попытке не видно конца, что старушка вовсе не собирается умирать. Он хладнокровно замышляет убийство. (Вариант: она сама решает покончить с собой). Жена непричастна к убийству, но она догадывается обо всем. Это преступление должно выглядеть очень убедительно и очень зловеще.

Жена боится.

— Ну кто нас заподозрит? — успокаивает ее муж.

И в самом деле, их никто не подозревает. Снова начинается счастливая жизнь без малейших угрызений совести. Так как старушка очень пуглива, муж разводит над ее комнатой целое стадо крыс. В один прекрасный день он сажает ей в спальню филина. Старушка не собирается уезжать. Она считает, что из чувства благодарности не имеет права покидать молодую чету.

Новелла должна быть очень тщательным, холодным и жестоким исследованием.

\* — Ваш последний рассказ мне не нравится. Он отвечает:

— А мне, мне лично не нравится ваша откровенность — неуместная и самого дурного вкуса.



\* Ноздри ее опадают, как страницы захлопнутой книги. По ее пергаментной коже пятнами проступает бледность, и она жалобно вскрикивает: «Ой, ой!», как ребенок, которого ни с того ни с сего ударили по пальцам линейкой. Молодая чета терпит ее сначала из прежних дружеских чувств, от которых уже почти ничего не осталось, потом из жалости, потом по обязанности, а потом просто не выносит. В первое время они говорили: «Мы должны ей все прощать. Она такая добрая!» Потом: «До чего же она нам надоела! Да где ее хваленые достоинства, скажите на милость?»

\* Жеманство мадемуазель Бланш, которая щеголяет в венках из васильков и полевых цветочков, как юная девица. Сначала над ней подсмеиваются, потом обзывают про себя шутихой.

*16 февраля.* Неприятное чувство от того, что прошел мимо скамейки, где сидят люди. И в самом деле, сидящий на скамейке чувствует себя неуязвимым. Он может разглядывать прохожих, может преспокойно смеяться над ними, может делать по их адресу любые замечания. Он-то отлично знает, что прохожим всего этого не дано, не могут же они, в самом деле, останавливаться, глазеть и высмеивать сидящих.

*19 февраля.* Женщина, величественно и высокомерно исповедующая свою добродетель.

*20 февраля.* Искательный взгляд, которым актер обводит все вокруг, даже когда он серьезно озабочен, — лишь бы убедиться, что его заметили и узнали.

*21 февраля.* «Необходимо обладать широтой взглядов», — заявили мне вчера вечером, другими словами это, видимо, означает — делать вид, что все понимаешь, и быть существом универ-

сальным, как «прислуга за все»; короче, быть таким, чтобы мамыши, имеющие дочек на выданье, вздыхали, глядя на вас: «Какое же у него разностороннее образование!» Широта взглядов и емкая совесть... Так и кажется, что речь идет о вместительных карманах, где заботливо и со всеми удобствами хранят всякую мелкую гадость.

\* Тем хуже. Да, да! Музыка мне осточертела. Живопись, где она? А скульптура радует меня не больше, чем, скажем, восковой манекен в парикмахерской. Да что там! Манекен, тот хоть движется, кажется, что он живой. Он медленно вращается на винте, упрямо и методично поднимает и опускает парик, как председатель судебной палаты.

Могут сказать: все это потому, что вам не хватает одного чувства. Из психологии мне уже известно, что у меня их пять. Одним больше, одним меньше, не все ли равно: лишь бы у меня оставалось чувство здравого смысла.

\* Иной раз критическая статья не любимого нами критика приводит к тому, что начинаешь любить раскритикованную им книгу.

\* Право критика отречься от любых своих статей, а долг критика — не иметь никаких предубеждений.

*22 февраля.* Невыносимо, как разговор о «божественном Вергилии». Вот она, традиция, вся тут! Чти отца твоего, и мать твою, и Вергилия.

*1 марта.* Он своего добьется, он в этом уверен, но не сразу, не молниеносно. В конце концов его имя займет свое место среди тысяч других вполне солидных имен. И слава его будет подобна не сразу вспыхивающему стогу

соломы, а сырым дровам, долго-долго тлеющим в печи.

*12 марта.* Вчера вечером обед у Кола, мудреный обед, где крепкие напитки перемежались острыми блюдами; обед неосновательный, а на десерт спор о социализме, и тут господин Клеман, который жрал, не переставая, целых два часа подряд, показался мне жирным боровом, который раскидывает рылом шелудивых собак.

*13 марта.* Народу столь же полезно бояться войны, как отдельному индивидууму — смерти.

*14 марта.* Прочел «Потребность любви» Поля Алексиса. Новеллы тяжеловесные, бессодержательные, фраза бесцветная. Бог с ним, с этим господином. Он видит вещи, как близорукий, то есть хорошо видит вблизи всякую мелочь и полагает поэтому, что у него острый и верный глаз.

\* Пьер начал ходить. Шагов десять он делает без посторонней помощи, потом шлепается на попку, хохочет и бежит, когда до маминых колен уже недалеко,

\* Мы непрерывно и настойчиво проявляем свои пороки и все-таки успеваем презирать всех ближних.

*17 марта.* Я переживаю отвратительный период. Все книги мне противны. Я ничего не делаю. Больше чем когда-либо мне ясно, что я ни к чему не пригоден. Чувствую, что ничего не добьюсь, и строки, которые пишу, кажутся мне ребяческими, нелепыми, а главное, совершенно ненужными. Как выйти из этого? Остается одно — притворяться. Я запираюсь на целые часы, и все думают, что я работаю... Возможно, меня жалеют, кое-кто мной восхищается, а мне скучно, я зеваю, в глазах мелькают желтые отсветы,

желтушные отсветы моей библиотеки. У меня жена — сильное, нежное, жизнерадостное существо, младенец, которого можно показывать на выставках, а я не способен наслаждаться всем этим. Я отлично знаю, что такое состояние души не может долго длиться. Вновь я обрету надежды, мужество, вновь сделаю над собой усилие... Если бы только эти признания послужили мне на пользу! Если бы я сделался великим психологом, великим, как Бурже! Но я не верю, чтобы во мне было заложено столько жизненных сил. Я умру до срока или сдамся и превращусь в алкоголика, опьяняющегося грезами. Лучше уж тесать камни на дороге, пахать землю. Значит, вся жизнь, долгая ли, короткая ли, пройдет в разговорах о том, что лучше было бы заняться другим? К чему эта мертвая зыбь в душе, эта толчея страстей? Наши надежды точно морские волны: отступая, они обнажают уйму тошнотворного — грязных ракушек и крабов, вонючих крабов морали, которые боком, ползком тянутся за волнами. Как бесплодна жизнь неудавшегося литератора! Я умен, господи, умнее других! Это очевидно, ведь я могу прочесть «Искушение св. Антония» и не заснуть. Но мой ум подобен потоку, который мчится, бесполезный, никому не ведомый, там, где мельница еще не поставлена. Да, это так, я еще не нашел своей мельницы. Да и найду ли когда-нибудь?

*18 марта.* Педант — это тот, кто страдает несварением ума.

\* Люди обычно стараются повыгоднее помещать свои похвалы, как помещают деньги, — с расчетом на проценты.

\* Целыми часами он копается во Флобере, ищет блох и ляпсусов и в конце концов решает,

что «Флобер был вовсе не такой уж великий писатель».

*21 марта.* Еще не научившись наблюдать, он уже полюбил все грандиозное и напыщенное.

*4 апреля.* Вчера мадемуазель Бланш принесла от мадам пасхальное яйцо в виде маленькой, расшитой шелками не то сумочки, не то корзиночки, наполненной до завязок конфетами от Фуке. Скажет слово и посмотрит в мою сторону. В течение двух последних недель она нас видела во сне четыре раза, особенно меня. Один раз я наговорил ей глупостей. Другой раз был с ней очаровательно мил. Она просит у меня книгу, журнал «Меркюр». Я не отвечаю или отвечаю грубо. Все это невыносимо и мучительно. Люди, которые не хотят вас понять, только напрасно себя терзают. Мне хотелось бы сказать ей что-нибудь приятное, а на язык наворачиваются лишь шутки весьма дурного тона, например, о ее облысевшем лбе или о гнойном прыще у рта. Я стараюсь проглотить свои шутки, как кусок сала, который никак не лезет в глотку. Маринетта хохочет. Мадам Б..., желая мне угодить, не без коварства сыплет остротами, которые так же похожи на настоящие остроты, как осколок стекла на бриллиант. Пусть не воображают, что быть добрым так уж легко. И в продолжение всего этого скучнейшего вечера мадемуазель Бланш улыбается невпопад, прислушивается, — не сказал ли я чего-нибудь? — цедит фразы, как и подобает хорошо воспитанной гувернантке, — о желудочных болезнях, о том, что жиры плохо перевариваются, о белом мясе, которое, что бы ни говорили, ничуть не лучше для пищеварения, чем обычное мясо; дает советы насчет режима питания; и хотя я совсем забился в кресло, сунул

руки в карманы и сию застегнутый на все пуговицы с благородным и холодным видом богача средней руки, у которого нищий кланчит копейку, я все равно чувствую, как два искательных глаза старой барышни шарят по моему лицу, два ее о чем-то умоляющих глаза. Я опускаю глаза, закрываю их, но вижу ее суетливые движения, как будто сквозь плотный слой воды. Это и нелепо и горестно. Я сержусь на себя. Обзываю себя бессердечным, жалким субъектом, но ничего не могу с собой поделать, и еще раз убеждаюсь, что мы прощаем лишь того, кого нам выгодно простить. И на черную доску человеческих подлостей я заносу еще одно очко в пользу сатаны.

*9 апреля.* Прочсть «Фанни» Фейдо, единственное, что у него стоит прочсть.

В «Фанни» есть лишь один оригинальный мотив: любовник восхищается мужем.

\* В двадцать шесть лет так стремишься ко всему новому и так опасаясь впасть в повторения, что никогда не прибегаешь к своим записям.

\* Двадцатилетний юноша, влюбленный в сорокалетнюю женщину, на каждом шагу твердит ей: «Я люблю вас, как отец!» Эта фраза звучит возвышенно и гротескно. Вставить ее в пьесу — и весь зал будет хохотать до упаду.

*11 апреля.* Написать книгу «Нигилизм». Рассказать в экспериментальном стиле, то есть привлекая сравнения из обыденной жизни, по параграфам современную философию, показать мышление, мало-помалу обращающееся само на себя, ставящее проблемы познания с той заинтересованностью, с какой буржуа обделывает свои делишки, а там понемногу прийти к

Кантовой критике чистого разума, отбросив его мораль, как нечто слишком преднамеренное и искусственное. Словом, сделать книгу, которая относилась бы к истории современной мысли, как относится какой-нибудь роман Золя к его натуралистическим теориям. Приложить философию к жизни.

*12 апреля.* Не все ли равно, что я делаю. Спросите, что я думаю.

*13 апреля.* Если верить ренановскому «Будущему науки», то господин М. должен был стать ловким и удачливым коммерсантом, дабы его богатая дочка могла выйти замуж за бедного литератора, а тот, человек, разумеется, неглупый, но в общем-то ничем не примечательный, родил бы сына, которого направлял, воспитывал, растил и создал бы из него гения нашей нации.

*15 апреля.* — Мы с Ломбаром будем выпускать газету, — говорит Мариус Андре. — У нас хватит денег на два года.

— Ну, значит, два месяца вы продержитесь!

*17 апреля.* Оба Дюма опрокинули общепринятую теорию бережливости. Отец был расточителем, а сын — скупец.

*28 апреля.* Со стороны кажется, что я живу изо дня в день, «растрепанно», и, однако, у меня есть вполне определенная и прямая линия поведения: по возможности обеспечить материально жену и ребенка, лично довольствоваться малым и добиться того, чтобы мое имя прозвучало хотя бы как медный бубенчик.

*29 апреля.* Написать любовную идиллию двух металлов. Сперва они пассивны и холодны в руках сводника-ученого, затем, под действием огня, они сплавляются, смешиваются друг с

другом, становятся тождественны друг другу, в совершенном слиянии, какого никогда не узнает самая яростная любовь. Один уже поддается, уже начинает таять, расплываясь беловатыми потрескивающими каплями.

\* Глупый ветер, который, дуя во всю мочь, гнал перед собой два-три облачка, похожие на кроликов.

*30 апреля.* Метемпсихоз, как мера наказания: душа Бисмарка, перешедшая в мимозу.

*3 мая.* У меня есть идея романа, но она мне представляется в виде ежа, оттого что я не смею к ней прикоснуться.

*27 мая.* Возможно, Гонкурам не хватает именно искусства подавать свои остроумные замечания, языковые курьезы, выкладывать их на витрину, на обозрение зевакам. Замечаешь, что они умны — и необыкновенно умны, — лишь при втором или третьем чтении. Но какой же порядочный человек будет читать дважды одну и ту же книгу?

*28 мая.* Смех, печальный, как клоун в черной одежде.

*30 мая.* Восковая богородица под стеклянным колпаком, с золотым яблоком на голове, неподвижная, как будто ожидающая выстрела Вильгельма Телля.

\* Стояла такая глубокая тишина, что мне показалось, будто я оглох.

\* Поставить эпиграфом к «Мокрицам» фразу Флобера (см. Дневник Гонкуров, том 1): «Мой замысел сводится к тому, чтобы передать некий оттенок, цвет плесени, которым окрашено существование мокриц».

\* Реализм! Реализм! Дайте мне прекрасную действительность, и я буду работать, следуя ей.



2 июня. Я построил себе столь прекрасные замки, что с меня хватило бы их развалин.

4 июня. Перечел «Сельского священника». Смерть госпожи Граслэн великолепна. Тем не менее мне кажется, что этот жанр романа умер, по крайней мере для подлинно талантливых людей. Это — обман зрения. Это производит большое впечатление, но ненадолго и лишь вызывает улыбку. Я хочу сказать, что Бальзак здесь становится каким-то талантливым Монтепеном, если угодно — даже гениальным. И я думаю, что подлинно одаренные писатели не смогут больше писать всерьез такие книги.

7 июня. Возможно, мы доживем еще до той поры, когда через все моря пройдут дороги и несчастные наши рыбаки превратятся в буржуа, чуть ли не в любителей, и будут рыбачить в пиджаках из синего молетона, в домашних туфлях и при газовом освещении!

10 июня. Шквал спокойствия!

\* В своих «Крестьянах» Бальзак делает крестьянина болтуном, а я, напротив, считаю, что он отнюдь не болтлив.

У Бальзака слишком мощный гений: избытком его он делится со своими персонажами — крестьянами.

21 июня. Художник — это человек, носящий берет.

\* Если вам очень хочется смеяться, вы сочтите меня остроумным.

\* Лодка движется за своим парусом, как древний воин за своим щитом.

27 июня. Высокомерная белиберда Барбе д'Оревильи.

7 июля. Запись, заметка для меня нечто

безнадёжно мертвое, чем я при всем своем желании не могу пользоваться.

*18 июля.* Экзотическое растение раскрывает свои листья, похожие на веера из бритв.

*12 августа.* Мериме, пожалуй, будут читать дольше, чем кого-либо другого. В самом деле, он меньше, чем прочие, пользуется образами, то есть тем, что ведет к увяданию стиля. Будущее принадлежит писателям сухим, сдержанным.

*19 августа.* Произведения Бурже: от них все-таки слишком несет парфюмерией.

*27 августа.* — Удивляюсь, — дружески говорит мне Трезеник, — что Жюльен не поместил вашей статьи. У него сейчас совершенно нет материала.

*3 сентября.* Валлет так определяет Флобера: совершенство таланта, но только таланта.

\* Просто удивительно, как это литераторы могут любить друг друга, так друг друга понося.

\* Он обрушил на меня удары своих комплиментов.

*4 сентября.* Битый фарфор живет дольше целого фарфора.

*5 сентября.* Недалек тот день, когда фотографирование будет производиться с воздушных змеев.

*12 сентября.* Вчера вечером долго беседовал с Валлетом. Св. Вавила — это он сам, человек, с которым никогда ничего не случается, человек грустный, удрученный, каким он и останется навеки, чья жизнь, хотя и окончена, все еще длится, и он сам не знает зачем. У него множество замыслов — роман о дочери штабного офицера, о человеке, женившемся на холодной женщине. Это жанр серого романа, романа о маленьких людях, к которым Валлет питает жалость.

Он не решается заглянуть к себе в душу: боится себя. Он рассказал мне тему своих «Слепых», и, все еще трепеща смертным трепетом, мы говорим о жизни, о ее нелепостях. Он сказал мне:

— Мы себя сделали, а вы все еще такой, каким родились.

\* Завтра я буду сводить свою фразу к подлежащему, сказуемому и определению.

24 сентября. Мы не знаем Потустороннего, ибо неведение — условие *sine qua non*<sup>1</sup> нашего существования. Подобно тому как лед может познать пламя только при том условии, что он растопится, исчезнет.

9 октября. Риотор рассказывал вчера, что редакция «Тан» назначает на годичный срок семью, которая должна отбирать романы для напечатания. Отец, мать и сын. Семья представляет подробные отчеты о прочитанном, по этим отчетам отвергается или принимается материал.

\* Стих Хосе-Мария Эредиа или Леконта де Лиля: как будто ступает рабочая лошадь.

4 ноября. «Сикстина» Реми де Гурмона — водичка, но ловко сделано. Полно тусклых красок и рассуждающих, но не живых людей. Даже имена и те изысканны, претенциозны. Тот же Баррес, но поглупей. Кроме того, он не может забыть латинских оборотов и каждому слову дает какой-нибудь эпитет. Он придает непомерное значение декартовскому *cogito*<sup>2</sup> и забывает, что это обыкновенная банальность, а может статься, просто игра слов. Пафосу хоть отбавляй. Уж поверьте мне, мы возвращаемся прямо к маде-

---

<sup>1</sup> Необходимое (лат.).

<sup>2</sup> Мыслью (лат.).

муазель де Скюдери. Через всю книгу красной нитью проходит кантовская идея. Зато единственное, что превосходно в этой книге, — так это признание роли Вилье де Лиль-Адана.

*5 ноября.* Вы только вообразите себе, «Сикстина» кончается смертью зонтика!

*29 ноября.* Не следует медлить с созданием шедевра, пока еще веришь в литературу; долго эта вера не продержится.

*30 ноября.* Психология. Когда человек произносит это слово, кажется, что он подсвистывает собаку.

*1 декабря.* Когда читаешь «Сикстину», кажется, будто проводишь пальцем по бархату, где натканы булавки. Бархата не чувствуешь. Булавки колются.

*2 декабря.* Целая орава молодых людей занята одним: все они в данный момент «пишут что-то для Свободного театра».

\* Маленькая картинка. Свинья и свинарь, который норовит своим деревянным сабо наподдать в ее розовый девичий зад. Но ей все нипочем! Она только еле поводит своими розовыми ушами.

*10 декабря.* Видел сегодня утром Альфонса Доде. При нашем свидании присутствовал Боннетэ. Доде поднялся, поглядел на меня при свете и сказал: «Узнаю Рыжика». Прекрасная голова, совсем такая, как в витринах, борода с проседью. Настоящий южанин, уходившийся годами, старый, полукалека, передвигается, опираясь на палку с резиновым наконечником. Наговорил мне кучу самых лестных комплиментов. Я не знал, как ответить. Называть ли его «мосье» или «дорогой мэтр»? Он говорит обо всем на свете, без особого блеска, но в его словах чувствуется

широта, здоровая мысль. Говорит, что разгла-гольствования Ренана довели Гонкуров до желу-дочных колик. Рассказывает о Бринн'Гобасте, преподавателе своего сына Люсьена, и о грязной истории с украденной рукописью «Писем с моей мельницы». Доде сказал Бринн'Гобасту: «Вы вполне способны поступить как герой «Битвы за жизнь», вы за три франка убьете человека».

И еще:

— В первый и последний раз в жизни я решил поиграть на волынке, чтобы развлечь своих двоюродных сестер, и издал непристой-ный звук; да, да, хотел посильнее надуть щеки и издал чудовищно громкий звук. Когда я думаю о нынешних молодых писателях, мне вспомина-ется эта плачевная история.

---

## 1891

*13 января.* С твоих ресниц свисают капли сна.

*3 февраля.* Вчера вечером обед у символистов. Десятки тостов, приготовленных заранее, символизированных на месте, прочитанных по бумажке, промямленных. Афоризм Барреса: «Все мы носим в глубинах сердца антисимволистскую бомбу». Баррес показался мне каким-то студенистым...

*4 февраля.* Да! Я говорил с ними, со звездами, говорил изысканно, возможно, даже в стихах и, сложив на груди руки, стал ждать ответа.

Но лишь псы, тощие псы, усевшиеся в кружок, ответили мне заунывным воем.

*13 февраля.* Рассказ почти очень хороший, нечто вроде подшедевра.

\* Ах, эта литературная жизнь. Вчера вечером был в книжной лавке Лемерра. Хожу туда нечасто, стесняюсь. На витрине ни одного экземпляра моих «Натянутых улыбок». Тотчас же мне приходит в голову дурацкая мысль, что вся тысяча экземпляров разошлась. Когда я входил, у меня слегка забилося сердце.

Леммер меня даже не узнал.

*23 февраля.* Жорж Санд — бретонская корова от литературы.

\* Мы проходим подчас через такие странные

физические состояния, будто смерть дружески покивала нам головой.

*25 февраля.* Утром хороший полуторачасовой разговор с Альфонсом Доде. Сегодня ему лучше, ходит почти легко, весел. Гонкур ему сказал: «Передайте «Натянутым улыбкам», что я его не забываю и что я ему напишу, как только покончу с «Элизой». Нельзя сказать, что Гонкур выше маленьких горестей литературной жизни. Злая статья Боньера в «Фигаро» глубоко его задела. Он долго нервничал. А между тем статья могла бы его рассмешить: в ней сказано, что все, что здесь хорошо у Гонкура, быть может, вставлено Ажальбером.

— Вы были знакомы с Виктором Гюго?

— Да, я не раз с ним обедал. Он считал меня весельчаком. Я выпивал не меньше его, но я никогда не преподносил ему свои книги. Я говорил ему: «Вы ведь не станете их читать, дорогой мэтр, и вместо вас мне напишет по вашему поручению какая-нибудь дама из тех, что за вами увиваются». Я упрямо выдерживал эту роль, и Гюго так и умер, не узнав, что я пишу. Мадам Доде вела себя за столом у Гюго как маленькая девочка. Она боялась сказать слово, чтобы ее не причислили к тем вздорным дамам, которые постоянно окружали мэтра. В сущности, это была не застенчивость, а гордость.

Каждое воскресенье я бываю у Гонкура, хотя это мне дается нелегко. Он так одинок, всеми покинут! Это я основал его «Чердак».

Моментальный снимок может дать только ложное изображение. Снимите падающего человека, вам удастся дать один из моментов падения, но не само падение.

Я взял себе за привычку записывать все, что

приходит в голову. Мне нравится отмечать свою мысль на лету, пусть она будет вредоносна или даже преступна. Ясно, что в этих заметках я не всегда таков, каков я на самом деле. Мы не ответственны за все причуды нашего мозга. Мы можем отгонять безнравственные и нелепые мысли, но не можем помешать их возникновению.

Как-то я записал, что неизгладимы только первые наши впечатления. Все прочее лишь повторение, просто привычка. Утром я обнаружил на этой странице след ногтя. Оказалось, что мадам Доде потихоньку от меня прочла это место и сделала на сей счет краткое, казалось бы, несложное заключение: «Он говорил «я люблю тебя» не только мне, но и другим женщинам. Я появилась после них. Так можно ли считать искренним это любовное признание?»

Жизнь — это ящик, полный колющих и режущих инструментов. Всякий час мы калечим себе руки до крови.

Я женился молодым, имея сорок тысяч франков долга, по любви и по расчету, из страха перед разгульной жизнью и случайными связями. У моей жены была сотня тысяч франков. Мы сначала заплатили мои долги, а потом пришлось заложить бриллианты мадам Доде. Она вела наши счета, как хорошая хозяйка, но боялась слова «ломбард» и в своей прихода-расходной книге писала: «там».

Однажды приезжает к нам Глатиньи: «Я у тебя завтракаю», — говорит он. Отвечаю: «Я счастлив, что ты опоздал, потому что у меня был только хлебец, ценой в одно су, и, веришь, — мне еле-еле хватило». Глатиньи потащил меня к Банвиллю, у которого мы взяли займы сорок су.



Банвиль — человек, которого я еще не знаю. Он не слушает других, он не любит «перелистывать» чей-нибудь ум и, как покупатель в разговоре с приказчиком, улавливает только те слова, на которые нужно отвечать. Этот человек начинен анекдотами, очень хорошо их рассказывает, и это лучшая сторона его таланта, но я еще не имел случая насладиться его рассказами. А ведь мы знакомы с тысяча восемьсот пятьдесят шестого года.

Не думайте о семье! Никогда вы ее не удовлетворите. Отец однажды слушал мою пьесу. Какой-то господин, сидевший рядом с ним, сказал: «Скука», — и мой добрый отец сейчас же признал это суждение окончательным, и потом уже ни успех пьесы, ни статьи в газетах, ничто не смогло изменить это мнение, которым он был обязан какому-то глупцу... А однажды мой сын провел вечер в обществе нескольких моих врагов, которые, нисколько не стесняясь, меня ругали. Он мне потом наговорил такого... Я все это записал в свою книжку, и когда-нибудь он, мой бедный мальчик, узнает, что я о нем думал в тот вечер. Эта тетрадь — для него, и я не хочу, чтобы ее когда-либо опубликовали. Он прочтет это после моей смерти.

Вы добьетесь своего, Ренар. Я в этом уверен, и вы будете зарабатывать деньги, но для этого нужно все-таки, чтобы вы время от времени давали себе пинка в зад!..

Символисты, — что за нелепые и жалкие люди! Не говорите мне о них! Никакой мистики нет. Всякий одаренный человек пробивается, и я фанатически верю, что каждое усилие будет вознаграждено.

Я горячо пожал руку Доде и сказал ему: «Дорогой мэтр, теперь я заряжен надолго».

*3 марта.* Пытаться очистить авгиевы конюшни с помощью зубной щетки.

*5 марта.* Вчера у Доде: Гонкур, Рони, Каррьер, Жеффруа, супруги Тудуз и супруги Роденбах. Почему я вышел оттуда с чувством омерзения? Должно быть, раньше я считал, что Гонкур не такой, как все мы, грешные. Неужели старики так же мелки, как и молодые? Не довольно ли мудрить над бедным Золя? Они обвиняют его теперь в склонности к символизму... А Банвиль, «этот старый верблюд», как его зовет Доде, все еще острит, и на сей раз довольно удачно. «Если бы я строил, — говорит он, — генеалогическое древо Золя, я бы повесился в один прекрасный день на этом древе».

Гонкур похож на толстого военного в отставке. Я не заметил его остроумия, он, очевидно, приберегает его на следующий раз. По первому впечатлению, это мастер повторений, которые мне претят и в творчестве Гонкуров. Рони — ученый болтун, ему доставляет удовольствие цитировать Шатобриана, особенно «Загробные записки».

Роденбах — поэт, который находит, что нам не хватает наивности, который принял всерьез статью Рейно о Мореасе и который не узнает себя больше в иронических замечаниях Барреса. Его просили что-нибудь прочесть. Он начал ломаться. Мы настаивали. Он сделал вид, что вспоминает стихи; но о просьбе забыли, заговорили о чем-то другом, а он так и не прочел своих стихов.

Скверный был вчера день. В «Эко де Пари» нашли, что моя новелла «Незадачливый скульп-

птор» слишком тонка, а я вот не нашел слишком тонкими наших великих людей. Новеллу не приняли.

У них есть альбомчик, который мадам Дардуаз подарила Люсьену, младшему сыну Доде: всех прибывших просят написать что-нибудь. Я написал вот что:

«Луч солнца скользит по паркету. Ребенок замечает его и наклоняется, надеясь схватить. Но только ломает ногти. Он отчаянно кричит: «Хочу солнечный луч!» — и начинает плакать, гневно топая ножками.

Но солнечный луч исчезает...»

Что я хотел этим сказать — сам не знаю.

Мадам Дардуаз. Теперь любовь к юности и жизни можно обнаружить только у очень пожилых женщин.

Роденбах рассказывает, что Шарль Морис, представляясь господину Перрэнну, издателю «Ревю Блё», заявил: «Сударь, мне нужно сказать так много. Так много нужно сказать именно сейчас». После чего вытащил из кармана клочок бумажки: 1. Символизм. 2. Расин, мой обожаемый Расин (здесь эффектная пауза). 3. Природа и символ. 4. Символ и природа. Это ведь не одно и то же. Всего будет тридцать шесть статей».

Доде говорит:

— Школы — это специальность французов... Я имел бы куда больше успеха, если бы открыл лавочку напротив лавочки Золя. Но по какому-то равнодушию мы с ним не объединились, и сейчас вся пресса говорит только о Золя. Слава принадлежит только ему.

Потом он заговорил о романе Банвиля «Марсель Рабль». Нападал на него за то, что тот хочет

делать роман, не опираясь на документы. Гонкур замечает:

— Я лично еще не решаюсь погрузиться в это густое тесто.

Роденбах сказал:

— Так как поколение Анатоля Франса его не признает, он обратился к молодым и заявил им: «Знайте, я — ваш».

*7 марта.* Мозг не знает стыда.

«Призраки». Сюжет, который Ольмес рассказал Мендесу, а Мендес — Швобу, чтобы тот написал новеллу. Швоб заявил, что ничего из этого сделать не может.

Англичанин хочет вступить во владение купленной фермой. Являются призраки прежних хозяев, толпятся вокруг очага. Англичанин говорит им: убирайтесь вон. Призраки отказываются уйти. Фермер зовет полицейского, потом пастора, который кропит комнаты святой водой. Призраки не хотят уходить. Является представитель власти и читает им договор об аренде: призраки уходят.

*8 марта.* Был сегодня у Доде, от него мы должны были пойти к Родену, потом к Гонкуру. Я имел, несомненно, великое несчастье не понравиться Доде. Не знаю, впрочем, что это такое на меня нашло: мне бы следовало сказать ему хотя бы два-три комплимента по поводу его книг, которых я не читал. Он строго поклонился, был вежлив как раз настолько, насколько полагается, ни граном больше; ни звука о том, чтобы бывать у него, ни одного слова приветия от его жены моей жене и ребенку. Милый мой, ты, по-видимому, провалился! Ох, как наступает нам на ноги жизнь... Доде рассказывает нам о щегольстве своего сына Люсьена, о своем со-

бственном наплевательском отношении ко всему, что касается туалетов... о каких-то особых туфлях-носках, которые он себе заказал... И мы уходим.

\* У Родена откровение и волшебство — это его «Врата ада» и «Вечный кумир». Маленькая вещица, размером в ладонь: мужчина, заложив руки за спину, побежденный, целует женщину ниже груди, прильнув губами к ее телу, а женщина кажется очень грустной. «Старая женщина» — бронза, вещь страшной красоты. Я с трудом отрываюсь от нее. У старухи плоские груди, истерзанный живот и все еще прекрасная голова. Затем сплетение тел, переплетение рук, «Первородный грех»: женщина, впившаяся в Адама, тянет его к себе всем своим существом; женщина в объятиях Сатира: он раздирает ее, одна его рука у нее между ног, и всюду контрасты мускулистых мужских икр и женских ног. Господи, дай мне силы восхищаться всем этим!

Во дворе глыбы мрамора, еще не ожившие, поражают своей формой, можно сказать, своим желанием жить. Забавно: я как будто берусь открывать Родена.

Роден, с внешностью пастора, резцом передающий муки сладострастия, наивно советуется с Доде, спрашивает, как ему назвать свои ошеломляющие творения. Ему самому приходят на ум только шаблонные названия, например, из мифологии. Голый Виктор Гюго в гипсе... То есть что-то совершенно нелепое.

У Гонкура музей от крыши до подвала. Но как я ни стараюсь, ничего не вижу. Ничего не замечаю. Гонкур здесь в своей стихии: тип старого коллекционера, равнодушного ко всему, что не относится к его страсти. Я рассматриваю

нескольких Домье. Гонкур сам подхватывает альбом, который чуть не вываливается у меня из рук: «Так, знаете ли, можно испортить». Он говорит мне:

— Если вам неинтересно, не обязательно это рассматривать.

Дом какой-то непрочный. Дверь «Чердака» плохо закрывается, беспрестанно хлопает, и, насмотревшись на все эти чудеса, вы начинаете чувствовать себя как в самом пышном павильоне Всемирной выставки.

*9 марта.* Писать так, как Роден лепит.

Когда мне показывают рисунок, я разглядываю его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы придумать отзыв.

*11 марта.* Вчера у меня обедал Альсид Герен. Вот что значит приглашать авторов статей! Лысенький господинчик с лицом еврея-ханжи. Говорят, что он только и делает, что молится, ходит к обедне, причащается, постится по пятницам. Когда он разглагольствует об отчизне, он тут же произносит слова «душевное прискорбие» с каким-то горловым бульканьем, чуть ли не воркуя.

Голос кастрата...

Он говорит: «Я-то лично, я ничто, и всегда буду ничтожеством». Сказав, ждет, чтобы присутствующие запротестовали, но все молчат, и его лицемерие вынуждено уползать, как мерзкий слизняк в раковину.

Мы спорим с Рейно о Малларме. Я говорю: «Какая глупость». Он говорит: «Какая прелесть». И наш спор как две капли воды похож на любую литературную дискуссию.

*23 марта.* Бальзак, пожалуй, единственный, кто имеет право писать плохо.

*24 марта.* Символизм. Похоже на классическую фразу путешественников, отъезжающих в одно и то же время: «Значит, едем вместе». А по прибытии расходятся в разные стороны.

*7 апреля.* Стиль — это забвение всех стилей.

*13 апреля.* Один из сотни существующих приемов отвечать на комплимент: «Ваши слова мне особенно дороги, поскольку я знаю — вы человек независимо мыслящий!»

*15 апреля.* Доде, в ударе, рассказывает нам о сборах Гогена, который решил ехать на Таити, чтобы не видеть людей, и никак не мог собраться. Он до того тянул, что даже лучшие его друзья говорили: «Пора вам уезжать, голубчик, пора уезжать!»

\* Критик — это ботаник. А я — садовник.

*17 апреля.* Верно, я сказал, что у вас есть талант, но я отнюдь не настаиваю на этом.

*21 апреля.* Новый поворот: ребенок рыдал, как взрослый мужчина.

\* Все-таки мы раскаиваемся в непоправимых обидах, обидах, которые нанесли людям, ныне уже покойным.

*22 апреля.* Посетил сегодня выставку Эжена Каррьера. Мучительное безумие девочек и девушек, в которых есть своя прелесть, пугающая грация развеселившихся истеричек. Болезненные и тоже безумные матери, которые дают уродливую, плохо нарисованную грудь своим младенцам. Младенец, у которого почему-то в голове красные цветы и который похож на противного ваньку-встаньку. Излюбленная поза: голова, подпертая рукой. Прилипшие друг к другу тела. Лица словно из камня высечены. Жеффруа, этот безмолвствующий меланхолик, утверждает, что все эти головы мыслят. Не

думаю: скорее перестали мыслить. Все они полумертвые, вялые, словно после какой-то ужасной катастрофы. «Разве жизнь такая уж забавная штука?» — говорит Жеффруа. К черту все это! Эти люди тянут нас в яму. Они представляют собой определенный интерес. Но что это все значит? Конечно, не так уж трудно настроить себя на восторженный лад. Там, где художник ищет, возможно, лишь эффектную игру света или линий, мы видим реальные вещи. Потустороннее. Мазня, доведенная до шедевра. Пьянеешь, необходимо во что бы то ни стало протрезвиться и обратиться прочь. Великое искусство не здесь.

*24 апреля.* Вечером у Доде. Маленькая девочка, как здесь рассказывают, превратила подаренного ей картонного петушка в полноправного субъекта, окрестила его «Петушком мосье Ренара» и ведет с ним бесконечные беседы. Блистательная Жанна Гюго со своим великолепным, со своим породистым носом, как у Виктора Гюго. Гонкур с добродушной миной, которая кажется мне фальшивой (почему?), говорит о том, что книги его плохо идут, хотя некоторые из них наделали шуму.

Рони без устали болтает о своем жупеле — то бишь о Гюисмансе. До меня доносятся его слова: «Дабы извергнуть время свое, надо сначала это время проглотить. Теперь, в наши дни, каждый мнит себя бунтарем». По этому поводу Доде замечает:

— А я вот отказался вступить в Академию. И никто не счел меня бунтарем. Почему бы это?

Какой-то безволосый господинчик все время говорит со мной о моей книге. Каким несносным болтуном показался бы он мне, если бы говорил о чем-нибудь постороннем!



\* Некто послал даме любовное письмо, оставшееся без ответа. Он старается найти причину молчания. И наконец решает: надо было приложить почтовую марку.

*1 мая.* Что наша фантазия в сравнении с фантазией ребенка, который задумал построить железную дорогу из спаржи!

*7 мая.* Схватить за шиворот ускользящую мысль и ткнуть ее носом в бумагу.

\* Я очень хорошо знаю, что фраза меня замучит. Наступит день, когда я больше не смогу написать ни слова.

Больше всего боюсь превратиться со временем в какого-то безобидного салонного Флопера.

*9 мая.* Прекрасно все. Даже о свинье следовало бы говорить теми же словами, что и о цветке.

*16 мая.* Был вчера на выставке Моне. Эти стога с синеватыми тенями, эти поля, пестрые, как носовой платок в клеточку.

*24 мая.* Путешествие в Шатр, в этот край, где Жорж Санд чтят наравне с богородицей. Там у нее был «свой» мясник, «свой» кондитер, «свой» парикмахер, которого она привозила на месяц в Ноан.

Я путешествовал с Анри Фулье и заставил себя не спрашивать его фамилию, не добиваться, чтобы он спросил мою. Беседовать о литературе с неизвестным тебе человеком — это лучший способ поддерживать добрые литературные отношения.

Она, Жорж Санд, восседает посреди сквера в своей классической позе, как в «Комеди Франсез»...

«В самый разгар работы, — рассказывает на

обратном пути Фукье, — Жорж Санд могла встать из-за письменного стола, потому что ей требовался мужчина. Она писала страницу за страницей, как строгают доски». Ее дочь Соланж, пожалуй, еще более занятная особа. В ней мирно уживаются артистизм, разгул и домовитость: как-то уже в конце бала, в шесть часов утра, она заявила Фукье: «Пойду домой, хочу проверить, что делает прислуга».

*26 мая.* Каждое утро думать о людях, которых надо растить, о комнатных цветах, которые надо поливать.

*28 мая.* Швоб рассказывает: молодой человек приходит просить работу у банкира. Банкир выставляет его за дверь. Проходя через двор, молодой человек подбирает с земли булавку. Банкир велит его вернуть, обзывает вором и снова выгоняет».

Это, пожалуй, человечески понятнее, чем история Лаффита.

\* Не быть никогда довольным: все искусство в этом.

*18 июня.* Не беспокойтесь! Я никогда не забуду услугу, которую вам оказал.

*15 июля.* Я за вами не пойду даже на край света.

*31 июля.* Поверьте мне, и книга обладает своей стыдливостью, так что не нужно слишком много о ней говорить.

*3 августа.* Если сразу узнают мой стиль, то это потому, что я делаю все одно и то же, увы!

*13 октября.* Человек утешает себя, утверждая, что хоть он и мягкосердечен, но при случае, ей-богу, сумеет быть свирепым.

*15 октября.* Дуэль всегда немного похожа на репетицию дуэли.

*18 октября.* В прозе я хотел бы быть поэтом, который умер и оплакивает себя. Проза должна быть стихом, не разбитым на строчки.

*28 октября.* Крестьянскую речь можно передать и не прибегая к орфографическим ошибкам.

*30 октября.* Фраза прочная, словно составленная из свинцовых букв, как на вывеске.

\* Я смеюсь вовсе не вашей остроте, а той, которую сейчас скажу сам.

*2 ноября.* Просто удивительно, как выигрывают литературные знаменитости, когда их изображают в карикатурах!

\* Обычная робость при посещении редакций. Возможно, враги притаились в многочисленных папках, и когда толстый любезный господин, корректор «Приложения», предупредительно подставляет мне стул, мне вдруг начинает казаться, что он просто надо мной издевается, хочет сыграть со мной какую-то шутку.

Вчера получил первые гроши, заработанные на литературном поприще. В данное время один грош так же ценен для меня, как пятьсот тысяч франков.

*25 ноября.* Я подсчитал: литература может прокормить разве что зяблика, воробья.

*30 ноября.* Баррес подчас забывает, что столь презираемый им рассказ куда труднее написать, чем философское рассуждение.

Существуют критики, рассуждающие лишь по поводу книг, которые еще только должны появиться.

*1 декабря.* Идея! А что в ней? Не будь фразы, я бы и пальцем не двинул.

*2 декабря.* Вот уж не стоит стараться понравиться талантливым людям. Какой мертве-

чиной должна бы стать литература, чтобы угодить Барресу!

\* Писатели, за которыми признают талант и которых никогда не читают.

*4 декабря.* Он был так уродлив, что, когда начинал гримасничать, становился миловиднее.

*11 декабря.* Я смиренно признаюсь в своей гордыне.

*12 декабря.* ...Все охотно говорят со мной о моем романе до его выхода в свет, чтобы не говорить о нем, когда он появится.

*14 декабря.* ... Леопольд Лакур говорит Вандерему:

— Я вами восхищаюсь. В вас чувствуется спокойствие и сила. Вы идете прямо к своей цели. Вы всюду вхожи, вы всех знаете, у вас нет врагов. А я, я десять лет чуть не на руках ходил по парижским салонам и ничего не добился. Вы человек осмотрительный, не прыгун, успех вам обеспечен.

*17 декабря.* Чем же, в конце концов, я обязан своей семье? Готовыми романами, неблагодарный!

*23 декабря.* «Ее сердечко». Опять Пьеро, Коломбина, Арлекин, и какой еще Арлекин! Нет! Нет! Закрывать двери! Не пускать! Их в литературе и так полным-полно.

*24 декабря.* Получил сегодня в «Жиль Бласе» двести пятнадцать франков, улыбался бухгалтеру, кассирам, держал себя со всеми просто-таки изысканно.

\* Человек — это даже меньше, чем половина идиота!

---

## 1892

*2 января.* Один поэт-символист прочел другу описание своей возлюбленной.

— Да где же это видано, — воскликнул друг, — так мордовать женщину!

\* Подумать только, что нам придется умирать, что нельзя было не родиться.

\* Юный учитель жизни. Открываешь его папки, а там лишь поздравительные новогодние карточки.

\* Ах, если бы можно было, взобравшись на стул, приложить ухо к луне. Сколько интересного бы она нам порассказала!

*3 января.* Муж говорит жене: «Так что же, в конце концов, сколько у тебя любовников?»

*4 января.* Движения актера, который уходит на цыпочках, прислушиваясь, не аплодируют ли.

*5 января.* Человек озлобленный... собственным успехом.

\* Я работаю много для того, чтобы потом, когда я уйду на покой и поселюсь в нашей деревне, крестьяне уважительно бы со мной раскланивались, если, конечно, я разбогатею на литературном поприще.

*6 января.* Валлет сказал мне:

— Я вижу в вас двух Ренаров: одного Рена-

ра — мастера непосредственного наблюдения, и другого, который любит калечить натуру. Я напишу об этом статью, и когда она будет готова, все будет кончено. Выложу все, что хотел о вас сказать...

Прево сказал обо мне Марселю Буланже: «Он застенчив и немного скрытен. (А видел он меня всего один раз, одну секунду.) К тому же его «Натянутые улыбки» очень плохи. Кончит журнализмом».

*12 января.* Как-то, зайдя в пивную, Бодлер сказал: «Тут пахнет тлением». — «Да нет, — возразили ему, — здесь пахнет кислой капустой и чуть-чуть женским потом». Но Бодлер яростно твердил: «А я вам говорю, здесь пахнет тлением».

*15 января.* Эти вечера у Доде! Вот самое интересное, что можно там услышать.

Г о н к у р: У Мопассана есть сноровка. Ему очень удается бретонская новелла, да и то у Монье есть вещи позабавнее, чем «Эта свинья Морен». Нет, это не великий писатель, это не то, что мы называем художником.

Кто это — мы? Он повторяет: «Это не художник». Смотрит на всех: нет ли возражающих, но никто не возражает.

Д о д е: Его убило, дорогой мой, желание обязательно сделать одной книгой больше, чем другие. Он думал так: «Баррес выпустил книгу, Бурже, Золя — тоже, а я в этом году еще не написал ничего». Это-то его и убило...

*27 января.* Разговор богатого с бедняком:

— Вот вам, друг мой, кусочек хлеба. Один лишь хлеб никогда не приедается.

*30 января.* ...Что спасет нас? Вера? Я не хочу верить и не желаю быть спасенным.

Война бы все устроила по-другому. Возмож-

но. Но если я получу пулю в грудь, тогда действительно все устроится, а если ничего не случится, то выйдет, что и беспокоиться было не к чему.

Раньше хотели создавать красивое, потом жестокое. Жестокое: люди-львы, люди-тигры. Да ведь это смешно! Нам недоступно даже неразумье неразумных скотов!

Эта книга покоробит многих. Меня самого от нее покорило, как будто моя душа из бумаги. Мне кажется, что я здесь неискренен. Я так сильно хотел быть искренним, что это, должно быть, не удалось.

Мои друзья узнают себя в этой книге... Думаю, что я сказал о них достаточно плохого, чтобы им польстить.

И еще вам говорят: «Всматривайтесь в жизнь».

А я смотрел на людей, которые живут.

В конце концов, я не утверждаю, что видел все правильно. Я ведь смотрел невооруженным глазом.

Мне кажется, что, если бы я разошелся, я мог бы написать психологию собаки, психологию ножки стула. Но я убоился скуки.

Все мы несчастные глупцы (говорю о себе, разумеется), неспособные два часа подряд быть добрыми или злыми.

Если бы мы имели мужество себя убить! В сущности, мы к этому совсем не стремимся.

Долг? Нет уж, увольте!

Все это банальщина<sup>1</sup>.

*4 февраля.* Он обхватывал затылок ладонями и тряс голову над чистым листом, словно на-

---

<sup>1</sup> Из чернового наброска предисловия к роману «Паразит».

деясь, что сейчас на бумагу посыплются незрелые слова, те, что никак не оторвешь от ветки.

*22 февраля.* Швоб рассказывает:

— Мендес сказал в присутствии посторонних лиц: «Я нахожу, что «Паразит» Ренара очень хорош. Надо привлечь его к нам. Напечатайте главу из его романа в нашем «Приложении».

**Я:** Какой все-таки талантливый человек этот Мендес.

*29 февраля.* ...Наши «старрики» видели характер, целостный тип... А мы, мы видим тип, лишенный целостности, с его минутами затишья и кризисов, в добрые его минуты и в его минуты злые. Этим стремлением писать правду были одержимы и наши великие писатели, но у нас оно сильнее и крепнет день ото дня. Но приблизились ли мы к правде? Завтра или послезавтра мы будем звучать фальшиво; так будет до тех пор, пока вселенная не утомится собственной своей бесполезностью.

*4 марта.* Мелкие любезности о моем «Паразите»: «Хамская книга», «Оскорбление всех личий».

**Д о д е:** Где это видано, чтобы женщины штопали подштанники в присутствии молодых людей?

**Г о н к у р:** Да нет же, наоборот. Это очень хорошо.

**А н а т о л ь Ф р а н с (Марселю Швобу):** Я нахожу книгу прекрасной, но как, скажите, я могу говорить о ней моим читателям?

*9 марта.* Вчера обед в редакции «Плюм». Редко попадается умное лицо умного человека. Головы нарочито уродливые, вроде набалдашников. Страшен Верлен: мрачный Сократ и



грязный Диоген; смесь собаки и гиены. Весь трясется, падает на стул, заботливо подставленный. О! Этот смех в нос, — у него резко очерченный, как хобот, нос; смеется и бровями и лбом.

При входе Верлена какой-то господин — как оказалось через минуту, просто дурак — воскликнул:

— Слава гению! Я незнаком с ним, но слава гению!

И захолопал в ладоши.

Редакционный юрист сказал:

— Ясно, гений, раз ему наплевать на свою гениальность...

Затем Верлену приносят колбасу, и он жует.

В кафе ему надоедают: «мэтр», «дорогой мэтр!», а он беспокоен, ищет шляпу. Он похож на спившегося бога. От Верлена не осталось ничего, кроме нашего культа Верлена. Сюртук в лохмотьях, желтый галстук, пальто местами, должно быть, прилипло прямо к телу, голова как будто высечена из камня, подобранного на развалинах...

А обед! Грязные руки официанта, грязные тарелки, волокнистая баранина, которую едят с блюдечек...

...Возвращаясь с Рашильд, мы говорим о ней самой, о ее непонятом, непризнанном уме; мы говорим о нашем творческом бесплодии. Странная вещь! Есть книги, которые нам нравятся, увлекают нас, и все же мы не хотели бы писать таких. Потому что незачем писать так. Очень странно!

— Значит, — говорит Ремакль, — вы считаете, что женщина проста?

— Ну да, — говорю я. — Мне хотелось бы написать книгу, где женщина представлена как

существо простое, в противоположность «женщине-лабиринту» новейшей литературы.

Мораль этого обеда: ресторатор заметил, что по крайней мере шестнадцать из нас не заплатили.

— Хорошо быть гениальным писателем, — говорит Дюбюс, — можешь быть свиньей, навязывать другим свои пороки, своих вшей. И все считается естественным...

*14 марта.* Валлет рассказывает, что ребенком он от смущения вытирал ноги, уходя из гостей.

\* — В Верлене, — говорит Швоб, — живет добропорядочный человек, гражданин, патриот, который верит в то, что прожил жизнь с пользой. Он твердит: «Я прославил Францию» — и мечтает об ордене.

*15 марта.* Анализировать книгу! Что сказали бы вы о сотрапезнике, который, вкушая зрелый персик, стал бы вынимать куски изо рта и разглядывать их.

*21 марта.* Снобизм. Живут вдвоем, детей не имеют, решили усыновить чужого ребенка и довели его до кретинизма. Во время обеда он не смеет попроситься в уборную. Чаще всего он слышит одну и ту же фразу: «Жорж, не смей этого делать!» Еще бы, он испортит свой костюмчик, который стоит восемьдесят франков.

Даже когда супруги обедают в одиночестве, мосье требует, чтобы мадам выходила к столу в платье со шлейфом, декольтированная, с цветами на груди. У него есть и другая забота — как бы в Булонском лесу его лошадь не обошли.

Если ему это удалось, весь день он сидел напыжившись.

\* Мне ужасно хочется написать монографию о кроте.

*26 марта.* Ему хотелось бы кормить слона с ладони.

*1 апреля.* Решительно отказаться от длинных фраз, о смысле которых догадываются по началу.

*5 апреля.* Пора покончить с вечными воплями литераторов против литературы. Перестаньте писать — чего проще.

*7 апреля.* Сто тысяч душ — сколько это составляет людей?

\* Рядом со мной завтракает Оскар Уайльд. Оригинальность его в том, что он англичанин. Протягивает вам портсигар, но сигарету выбирает сам. Он не обходит стол: он просто его отодвигает. Лицо у него спесивое, в красных точечках, длинные выщербленные зубы. Он огромный и носит огромную трость. У Швоба все белки испещрены крохотными прожилками. Уайльд говорит:

— Лоти издал свои акварели. Мадам Баррес уродлива. Я ее не видел. Я не вижу того, что уродливо. Я знаю, да, да, знаю, как работает Золя по документам. Как-то один из моих друзей доставил ему два вагона документов. Золя от радости потирает руки, заканчивает книгу, но мой друг пригоняет еще три вагона документов: Золя пришлось ночевать на улице. Триста страниц о войне! Один из моих друзей, вернувшись из Тонкина, сказал мне: «Когда мы побеждаем, мы похожи на ребятишек, играющих в мяч; когда нас побеждают, мы похожи на игроков, играющих засаленными картами в мерзейшей харчевне». Это говорит мне куда больше о войне, чем «Разгром» Золя!

*12 апреля.* Документы. Золя, чтобы написать «Землю», нанимает экипаж и отправляется в Бос.



Иллюстрация художника Гюара  
к роману Жюль Ренара «Паразит»

*23 апреля.* Писатели, которых нельзя узнать, у которых на лице нет носа.

*30 апреля.* Ирония — стыдливость человечества.

*2 мая.* Когда прогуливаешься по лесу с художником, самое главное — это останавливаться перед каждым деревом и спрашивать: «Вы каким его видите? Синим, зеленым, лиловым? — и добавлять: — Я лично вижу его синим».

Особенно если видишь его зеленым.

\* Способ заработать целое состояние: изучить устройство глаза совы и создать такой же, чтобы видеть ночью.

*11 мая.* Биванк, человек прямолинейно честный, говорит:

— Я заметил, Ренар, из ваших писаний, что вам частенько хотелось утопиться.

— Пока я ограничиваюсь сидением с удочкой на берегу.

— «Паразит», — продолжает Биванк, — очень нужная книга.

— Вот этот-то эпитет мы пока еще не нашли, — подхватывает Валлет. — Лично для меня — это юмористическая книга.

— Ничуть! — возражает Биванк. — Я считаю, что она ближе к Мольеру, чем к английской безулыбочной юмористике. Подобно «Тартюфу», «Паразит» вызывает смех трагическими эпизодами.

*12 мая.* Ох, эти разезды из Булонского леса, с бегов, эти грустные лица, эти бледные кучера, эти господа, которые молча, серьезно глядят друг на друга, забившись в уголок кареты, этот жест кучера, подымающего руку, чтобы предупредить кучера заднего экипажа! Самые веселые здесь лошади, бодро поматывающие головой.

Старики, сожительствовавшие со своими дочерьми. А шлюхи! И эти люди веселились!

*13 мая.* Никогда ничего не делать, как другие, в искусстве; в области морали делать только то, что другие.

*11 июня.* Талант — это как деньги: вовсе не обязательно его иметь, чтобы о нем говорить.

Я уже приобрел врагов, потому что никак не могу обнаружить таланта в тех, кто говорит, что я на редкость талантлив.

\* Он вышел за пределы своей природы и ключ унес с собой.

\* Хозяйка прислуге: «Вы слишком много спите, милая. Вы спите не меньше меня».

\* Подумайте только, если я овдовею, мне придется ездить обедать в ресторан.

\* При виде жирафов начинаешь верить в существование дьявола.

\* Есть и такой вид мужества — сказать парикмахеру: «Не надо мне одеколону!»

\* Серебро луны упало в цене.

*14 июня.* Неповторимая индивидуальность капли воды.

*30 июня.* Разве доказывает что-нибудь успех? Нужно ли приводить имена людей непонятых, пьес провалившихся, книг отвергнутых?

И, кроме того, может случиться, что в один прекрасный день у вас окажется талант.

*9 июля.* Писать прокаленными словами.

*11 июля.* Быть ясным? Но мы еле способны сделать над собой усилие, чтобы понять других.

\* Поискать мемуары, автор которых не старался бы все время сойти за независимого.

*12 июля.* Когда она благоразумно приняла решение экономить, она тут же перестала подавать нищим.

13 июля. Искусство создавать ренту из собственного бескорыстия.

\* Улитки с жирафьими шеями.

\* Яблоньки в белых шапочках, похожие на начальника станции.

\* *Libera nos* от Гектора Мало<sup>1</sup>.

\* Блаженны могущие сказать: «Иду во Французский банк».

20 июля. Расин на столе у Верлена.

— Как-то утром, — рассказывает Швоб, — я зашел к Верлену, в подозрительную гостиницу, не стану вам ее описывать. Отворяю дверь. Кровать деревянная с железной спинкой. Железный ночной горшок, до краев полный, вонь. Верлен лежит на кровати. Виден лишь клочок волос, борода и часть лица, желтого, помятого, воскового.

— Вы больны, мэтр?

— Угу!

— Вы поздно возвратились?

— Угу!

Он повернулся ко мне. Восковой шар стал виден весь, со всей своей грязью, нижняя челюсть вот-вот отвалится...

Верлен протянул мне кончик пальца. Он лежал одетый. Грязные ботинки торчали из-под простыни. Он отвернулся к стене. «Угу». На ночном столике лежала книга: это был Расин.

26 июля. У него был попугайчик, жирный, как кенар, который сидел у хозяина на плече и выщипывал у него волосы. Потому-то он и облысел.

27 июля. Опавшие листья стиля.

3 августа. Если вдохновение действительно

---

<sup>1</sup> Избави нас (лат.).

существует, не следует его ждать; если оно приходит — гнать его, как собаку.

\* Хорошо бы переписать «Мокриц» от первого лица! Я буду говорить: «мой отец», «мой брат», «моя сестра». Я буду персонажем, который наблюдает; у меня не будет определенной роли, но я буду видеть все. Замечу, что служанка раздалась в талии. Скажу: «Что же будет?» Буду всматриваться в лица. Скажу: «Ого, теперь мама хочет ее выгнать!» Историю Луизы вывести из истории Анетты, подробностями оснащу сам. Это будут воспоминания «несносного ребенка». Напишу: «Я получил затрещину, зато посмеялся». Сделать это очень веселым на поверхности и очень трагичным под спудом. Моя мать ничего не замечает. Она болтает с утра до вечера.

Так у меня будет «Рыжик» — или детство, «Мокрицы» — отрочество и «Паразит» — юность. Превратить их в интимную сатиру. Я приманиваю: «кис-кис».

*5 августа.* На минуту представьте себе, что он умер, и вы увидите, как он талантлив.

*24 августа.* Достаточно было мухе сесть на лист чистой бумаги, чтобы он разрешил себе лениться. Он тут же бросал писать из страха потревожить муху.

*8 сентября.* Всякий раз, когда в трубе завывает ветер, Рыжик вспоминает детство.

*19 сентября.* Быть мальчишкой и играть в одиночку под ярким солнцем на площади какого-нибудь провинциального городка.

*22 сентября.* Обед в «Журналь». Все приглашенные имеют договор (где, кстати сказать, наш договор с Россией?), по которому каждому обеспечено место в первой колонке на первой странице. Искусный калькулятор высчитал, что если



бы собрать все эти заметки только за один год и разложить их, они от дверей ресторана протянулись бы до ворот Константинополя.

*3 октября.* Эрнест Ренан умер, и теперь некоторыми молодыми людьми овладевает беспокойство. У них нет веры — обходятся без этого. Я хотел бы видеть человека, который страдал бы от сомнений, как страдают от костоеды, и кричал бы от боли. Тогда я поверю в нравственные страдания.

И я тоже пошел посмотреть на Ренана.

*7 октября.* Благосклонный ко всему человечеству и страшный в отношении к отдельной личности.

\* Ясный стиль — вежливость литератора.

*10 октября.* Да, да, Верлен — это Сократ, на редкость неопрятный. Входит, распространяя запах абсента. Ванье дает ему под расписку сто су, и Верлен не уходит, что-то бормочет, говорит больше жестами, хмурит брови, морщит кожу черепа, шевелит жидкими прядями волос, разевает рот, похожий на логово кабана, говорит с помощью своей шляпы и галстука, выуженного из помойной ямы. Говорит о Расине, о Корнеле, «который уже не тот». Он говорит:

— У меня есть талант, гениальность. Я могу быть симпатичным и антипатичным.

Возмущается, когда я говорю:

— А дело Ремакля, значит, не движется?

Спрашивает, выпрямляя торс:

— Почему? Я хочу знать — почему?

Обзывает меня любопытным, инквизитором и требует, чтобы ему «дали покой, этот разнесчастный и сволочной покой». Улыбается мне, говорит о своих элегиях, о Викторе Гюго, о Теннисоне — великом поэте — и поясняет мне:

— Я пишу стихи, которые должны переходить из уст в уста. Я говорю стихами. Элегия — это нечто прекрасное, нечто простое. Она не имеет формы. Не хочу больше формы, презираю ее. Если бы я решил написать сонет, я написал бы их два. — Спрашивает меня:

— Стало быть, мосье богат?

Кланяется чуть ли не до земли. Предлагает проводить меня до угла, глядит на свой абсент глазами, которые наделены даром речи, смотрит на питье, как на море красок, и, когда я расплачиваюсь, говорит:

— Сегодня я беден. Деньги у меня будут завтра.

Крепко зажимает в ладони монету в сто су, которую ему дал Ванье, говорит, как послушный ребенок:

— Я образумлюсь, буду работать. Моя женушка придет меня поцеловать. Пусть я сижу в дерьме, лишь бы она могла есть омаров.

Что-то лопочущий, отвратительный, цепляющийся за что попало. С болезненным видом пристукивает ногой, желая убедиться, что стоит на ногах, обожает Ванье.

— Зря меня натравили на него. На мне он много не зарабатывает.

Когда Ванье отходит, показывает ему вслед кулак:

— Издатель чертов! Я для Ванье дойная корова!

Страшная нищета. Я заказываю себе хинную настойку, он говорит:

— Кто пьет хинную, тому хана.

И хрипло скрежещет, словно гиена захохотала.

И вдруг целая речь по поводу: «Родриго,

хватит ли тебе отваги», а также «Финикий, не забудь великолепье этой ночи».

*13 октября.* Я не пишу стихов, потому что так люблю короткие фразы, что любой стих кажется мне чересчур длинным.

*20 октября.* Мои представления о сельских священниках. Добренькие старички!.. Но ведь они же глупы, как сутана, из которой вытряхнули попа.

*21 октября.* Он никогда не слышал пенья птиц. И не стыдился в этом признаваться.

*24 октября.* Какое глупое заблуждение — пытаться быть единственным верным другом.

*26 октября.* По-настоящему знаменит тот писатель, которого знают и никогда его не читали. «Фанфары славы» прогремели нам лишь его имя.

\* О нем скажут, что он был первым среди маленьких писателей.

*28 октября.* Морис Баррес, узнав, что Блуа готовит о нем разносную статью, которая может ему сильно повредить в провинции, пришел к Швобу спросить, не знает ли он Блуа в лицо.

— Видите ли, — сказал он, — я найму людей, заплачу им, чтобы они избили Блуа до появления статьи.

*24 ноября.* Молнии, похожие на след невидимого когтя.

*2 декабря.* Жестокое теперь в такой моде, что стало приторным.

*12 декабря.* Вы невинно забавляетесь, пытаетесь угадать, что останется от них через сто лет. Но, голубчик, что от вас-то уже сейчас осталось?

*14 декабря.* — Золя, — говорит Клодель, — пишет не фразами, а страницами.

*31 декабря.* Зеленые зимние луны.

---

## 1893

*5 января.* Особенно характерны были жесты. Он доставал слова прямо изо рта и, вынимая их, мгновение медлил, так что они сверкали между пальцев, точно перстни.

*16 января.* Он принимал только критиков и каждому говорил: «Вы один меня понимаете».

\* — А как здоровье мадам?

— Спасибо, хорошо... Ох, да что я такое говорю! Она умерла.

\* Глядя на его бороду, можно было представить себе, какой бы он был уродливый без бороды.

*22 января.* Берегись улыбаться, когда торговец бумагой, с которым ты имеешь дело, рискнет сосричь насчет поэзии.

\* Очень известный в прошлом году писатель.

\* Журналисты. Знаете, те самые господа, которые едят, чтобы получить бесплатный проезд по железной дороге.

\* Он был счастлив, и всякий раз, когда блаженно вздыхал, край стола и его живот приходили в соприкосновение.

\* Боль уснула и храпит.

\* Удивительный портрет: кажется, что он никогда не заговорит.

\* Рассеянный человек. Он заметил, что охва-

чен пламенем, только тогда, когда закричал от страшной боли.

\* Один говорит:

— Я продаю себя, значит, у меня есть талант.

Другой:

— Я не продаю себя, значит, у меня есть талант.

*24 января.* Писать о своем друге, — значит, рассориться с ним навеки.

\* Он приготовился было сказать: «Я пришел к вам от имени господина такого-то», — но увидел такую хмурую физиономию, что, так и не сев на стул, надел шляпу и, повернувшись к хозяину спиной, бросил: «Ухожу от имени господина такого-то».

\* Убийца вымыл руки и стал пускать мыльные пузыри.

\* Всю свою жизнь он просидел на приставном стуле.

\* Мир мне испортил зрение, и я становлюсь слепым.

*1 февраля.* Хотя у него уже есть ученики, нельзя называть Жюля Ренара «дорогим мэтром». Он слишком молод. Он родился 22 февраля 1864 года, учился в разных лицеях и даже успел забыть в каких. Его планы? У него их нет. Он оппортунист в литературе. Его методы работы? Каждое утро он садится за стол и ждет, чтобы оно пришло. Он уверяет, что оно всегда приходит.

Одни говорят: «Он черствый человек», другие: «Он чувствительный человек, но старается казаться жестоким», третьи: «Я его знаю — он добряк», или: «Ах, какой он негодяй! Я не думал, что он такой!»

Жизнь забавляет его по утрам, надоедает по вечерам.

Какой-то господин, мой «горячий поклонник», спрашивает у меня, не я ли написал «Пугало». Я удивлен.

— Да, да, — говорит он. — Там бедняк сначала крадет у пугала одежду, а потом, охваченный угрызениями совести, одевает его в свое платье.

\* Слить самую обыденную реальность с самой неистовой выдумкой.

*13 февраля.* Я люблю Мопассана потому, что мне всякий раз кажется, что пишет он для меня, а не для себя. Он почти никогда не исповедуется. Никогда не говорит: «Смотрите, вот мое сердце» или: «Из моего колодца выйдет истина». Его книги веселят или нагоняют скуку. Их закрываешь без тревожного раздумья: «Великое ли это искусство, среднее, малое?» Буйные быстровоспламеняющиеся эстеты презирают его имя, которое «ничего им не говорит».

Может статься, что, когда Мопассана прочтут всего до конца, перечитывать его не станут.

Но тех, кто хочет, чтобы их перечитывали, вовсе не будут читать.

*16 марта.* *Nulla dies sine linea*<sup>1</sup>. И он писал по строчке в день, не больше.

\* Почему Клодель пишет в одном роде «Золотую голову» и «Город» и в другом роде те сочинения, которые должны ему дать место вице-консула в Нью-Йорке? Художник должен всегда оставаться самим собой — и когда он молится, и когда обедает.

*17 марта.* Давайте будем изматывать себя, чтобы жить быстро и умереть скорее.

---

<sup>1</sup> Ни дня без строки (*лат.*).

*24 марта.* Он носил свой лавровый венок набекрень.

*27 марта.* Сегодня утром пошел посмотреть, как Папон косит люцерну. Увидев меня, он ни за что не бросит работу. Ему около семидесяти лет.

— Будьте уверены. Если бы меня хорошенько подкормить, я бы еще протянул!

Он откладывает в сторону косу, берет с земли бутылку с водой, прикрытую блузой, отхлебывает и говорит мне:

— Если бы я время от времени выпивал литр вина, я бы не так-то скоро подох!

— Ну и что?

А я только потому, что у меня есть немножко денег, потому, что я прочел много книг и даже пишу сам, потому, что я моюсь каждый день, а вечером люблюсь звездами, я жалею этого человека, и он смотрит на меня снизу вверх. Ах, ведь я стою не больше и не меньше его!

*30 марта.* Сатирические комедии надо писать ясно, как Бомарше, и полнокровно, как Рабле.

*5 апреля.* Список, составленный Капюсом. Двадцать книг, которые следует взять с собой на необитаемый остров: 1) «Кандид» Вольтера, 2) Мольер «Брак поневоле», три-четыре веселых фарса, 3) «Севильский цирюльник», «Свадьба Фигаро», 4) «Робинзон Крузо», 5) «Гулливер», 6) «Всемирная история» Боссюэ, 7) «Разбойники» Шиллера, 8) «Фальстаф» Шекспира, 9) «Госпожа Бовари», 10) «Евгения Гранде», «Жизнь холостяка», 11) Мюссе. 12) «Легенда веков», 13) «Очерки современной истории» Мишле, 14) том Дюма, 15) том Лабиша, том Ожье, 16) ренановский перевод «Екклезиаста», 17) том Жюль Вер-

на, 18) «Происхождение видов», 19) Нечитанное, для сюрприза, 20) басни Лафонтена.

*20 апреля.* Критика в упадке просто потому, что людям надоело говорить о других.

\* Теперь очень модно расписать человека самыми черными красками, а к концу разговора сказать:

— Впрочем, он очень мил.

*26 апреля.* Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.

*28 апреля.* Когда я хочу стать человеком действия, я читаю «Жизнь Бальзака», написанную Теофилом Готье. Мне этого хватает. Целый час меня бьет лихорадка и жажда величия. Я тогда — как скаковая лошадь, и ничто не в силах сдержать мои необузданные порывы. Потом я успокаиваюсь, не думаю об этом, и тут кончается моя карьера человека действия.

\* Да, я знаю. Всех великих людей сначала не признавали; но я не великий человек, и я предпочел бы, чтобы меня признали сразу.

*29 апреля.* Надо бы работать только по вечерам, когда уже накоплено возбуждение целого дня.

*1 мая.* Он стареет. Он уже старается походить на Вольтера.

*4 мая.* Природа волнует меня, потому что я не боюсь выглядеть глупым, когда ею люблюсь.

*19 мая.* Когда я позволил себе подшутить над д'Эспарбесом, он сказал мне:

— По-моему, ты лучший писатель нашего времени.

И тотчас же я ему поверил и пожалел о своих шуточках.

\* Молодые люди лет по двадцати сказали мне:



— Вы сильнее Лафонтена.

Когда я рассказываю это, я добавляю:

— Они молоды, наивны, но необычайно умны для своего возраста.

*25 мая.* Доде сказал мне:

— Вы сделали удивительные успехи во французском языке. Теперь у вас каждое слово выверено.

*27 мая.* — То, что называют гением Клоделя, — говорит Бернар Лазар, — это только афазия. Он произносит с силой какие-то звуки, из них одни верны, другие непонятны. Он наполняет наш слух шумом, имеющим иногда смысл. Гений должен владеть композицией. Если этого нет, талант лучше гения.

Как преувеличение, это не преувеличено.

\* Следовало бы возродиться, чтобы прожить одну жизнь ради живописи, другую ради музыки и т. д. И тогда лет за триста — четырехста можно бы восполнить недостающее.

*31 мая.* Социализм в театре — это примерно то же самое, как если бы мы, желая вернуть себе Эльзас, пригласили бы германского императора на военные маневры в Венсене.

\* Если в фразе есть слово «задница», публика, как бы она ни была изысканна, услышит только это слово.

\* Сколько людей, выходя с гауптмановских «Ткачей», говорят: «А теперь идем ужинать!» Нам нужно, чтобы нас волновала чужая бедность. Это хорошо, это освежает. Чувствуешь себя лучше, выше, как-то необычно; но вот раскошелиться на два су...

\* — Я голоден, — говоришь ты.

А я хоть и не голоден, но моя жизнь не дороже твоей. Только потому, что ты голоден, ты

считаешь себя интереснее меня: ты кичишься этим.

\* Ты не любишь бедных из смирения. Ты не снисходишь до них, ты поднимаешь их до себя. И тут ты говоришь: «Мы братья». Но бедняк может тебе ответить:

— Что общего между моими несчастьями и теми маленькими неприятностями, которые бывают в твоей жизни? Тебе немного скучно. Сегодня тебя рассердила жена. Редактор встретил тебя и не улыбнулся. Ты думаешь, что ты страдаешь. Но если говорить всерьез, что общего между мной и тобой?

*15 июня.* Он был до того грязен, что когда его лизала собака, то казалось, она хочет его обмыть.

*8 июля.* О пользе морских приливов. Море набегает на берег, чтобы заткнуть те ямки в песке, которые выкапывают дети на пляже.

*13 июля.* Один Виктор Гюго *говорил*; все остальные *бормочут*. Можно походить на него бородой, широким лбом, жесткими, ломающими ножницы волосами, которые приводят в ужас парикмахеров, можно, в подражание ему, усердно разыгрывать из себя дедушку или политического деятеля. Но стоит мне открыть любую книгу Виктора Гюго, наугад, так как выбирать невозможно, и я теряюсь. Тогда он — гора, море, все, что угодно, но только не то, с чем могут идти в сравнение другие люди.

*9 августа.* Какую прекрасную роль мог бы играть сейчас Малерб. «Мощь слов нам показал, стоящих на своем месте!» И в мусорный ящик все другие слова, дряблые, как мертвые медузы!

*25 августа.* Некто бросается в пропасть, оставив на краю ее туфлю, чтобы себя обессмертить.

Но этой туфли так и не обнаружили.

\* Я был спасен, должно быть, оса ужалила перст моей судьбы.

И мгновенно судьба отдернула от меня свой перст.

*5 сентября.* И все же я видел, видел, как пронеслось мимо меня счастье, там, на горизонте, в экспрессе.

\* Как передать то неяснейшее, что происходит, когда радужная муха садится на цветок? Слова тяжелы и обрушиваются на образ, как хищные птицы.

\* Показать, что, в сущности, для того, чтобы преуспеть в бакалейном деле, нужно не меньше ума, чем для успешных занятий литературой.

\* От заходящего солнца, перерезанного морем, остается сначала кардинальская шапка, потом розовый огрызок ногтя.

\* Нужное слово — вот что такое стиль. Все остальное — не важно.

*6 сентября.* Государственному деятелю объявили:

— Ваша супруга скончалась.

Он спросил:

— Это из официальных источников?

\* — Если я выйду замуж за плешивого, — говорит молодая девушка, — я буду целовать его повсюду, только не в темечко.

\* Кажется, что между нами навалена целая куча иголок. Каждую минуту мы на них натываемся. Это не слишком больно, но кровь все-таки выступает.

\* Как мы счастливы, если у нас есть такая семья, где мы можем пожаловаться на свою семью.

\* Если уж иметь иллюзии, то пожирнее, — по крайней мере, легче их прокормить.

*15 сентября.* Сжимайте, сжимайте крепче ваше перо. Стилль выскальзывает. Фраза вырывается, как бешеная. Она вас опрокинет.

*19 сентября.* Критики достойны снисхождения — они все время говорят о других, о них же никто не говорит.

\* Пишущие для тех, у кого нет словаря Ларусса.

*21 сентября.* Стилль — это то, что заставляет редактора сказать об авторе: «О! Это, конечно, он!»

*30 сентября.* Уголок мира. Видел открытый хлев. Там было темно. Должно быть; заброшенный. Соломенная подстилка превратилась просто в навоз. Корова ушла и бродит одна по полям.

Видел бедную старуху. Она сидела у порога, уставилась в одну точку незрячими бельмами. Не слышно было не только жалобы, но и дыхания. Она не шевелилась, и все-таки руки казались еще более неподвижными, чем все тело.

Видел кошку, которая одним прыжком пересекала дорогу. То есть говорю, что видел кошку, но не совсем уверен: слишком уж грязным и помятым показался мне этот зверь.

Дым не подымался из труб, не хлопала ни одна дверь.

Видел раскидистый орешник. Он тихонько шелестел под ветром. Иной раз два-три листка — при полном молчании прочих — что-то шептали друг другу, и вдруг заговорила вся листва. Кто знает, уж не вобрал ли в себя этот орешник все живое дыхание деревушки, пото-

му что лишь он один чувствовал, потому что ему одному было свойственно чувство глухого ужаса или тоски.

Если он и лишен мысли, он мыслит все-таки больше, чем люди.

*9 октября.* Верлен называет правкой корректур вычеркивание запятых, вообще, поиски блох в тексте.

*10 октября.* Вчера вечером Швоб и я были в отчаянии. И мне на одно мгновение показалось, что мы сейчас вылетим из окна, как две летучие мыши.

Мы не можем ни написать романа, ни заниматься журналистикой. Успех, которого мы достойны, у нас уже был. Неужели снова и без конца успех? Похвалы, которые были нам приятны, теперь оставляют нас холодными. Если бы нам сказали: «Вот деньги: удалитесь куда-нибудь года на три и создайте шедевр, — а вы можете создать, если захотите», — мы не захотели бы. Так что же? Неужели нам так и топтаться на месте до восьмидесяти лет?

Этот разговор чуть было не поверг нас в черную меланхолию.

Швоб поднялся и сказал, что уходит. И он сказал также, что на свете реже всего встречается доброта.

— Уважаемый господин редактор, — сказал он, — если вы все еще не решаетесь взять мою статью, вообразите на минуточку, что я умер.

Швоб рассказывает: Анри Монье был приглашен на похороны. Он опоздал, вошел в пустую уже комнату покойного и, надевая перчатки, спросил слугу: «Итак, никакой надежды?»

И еще:

Какой-то господин, участник похоронной процессии, обратился с вопросом к соседу:

— Вы не скажете, кто покойник?

— Точно не знаю. Думаю, что как раз тот, что едет в передней карете.

Использовать где-нибудь остроу Демерсона, который после пятидневной самовольной отлучки, чуть было не объявленный дезертиром, толкнул меня ночью в бок и осведомился: «Кто-нибудь заметил мое отсутствие?»

Д'Эспарбес:

— Я-то человек сильный! У меня-то вон какие мускулы! Я-то человек грубый! Я-то не интеллигент какой-нибудь! Но у меня нюх, инстинкт, и я, сам того не ведая, пишу прекрасные вещи.

— А что поделявает Луи де Робер?

Докуа:

— С тех пор как он старается не подражать вам, ровно ничего хорошего он не написал. В ожидании лучших дней он сервирует десяток новелл и хочет выпустить их отдельной книгой под названием «Нежный».

*14 октября.* Зачем говорить: у него есть талант, у него нет таланта? Что бы ни говорили, *доказательств все равно не существует.*

Но как все сразу находят общий язык и как все воодушевляются, когда, вместо того чтобы говорить об искусстве, начинают говорить о доходах, которые оно приносит.

Кто-то рассказывает, что Золя зарабатывает четыреста тысяч франков в год, и что одна газета предложила ему десять тысяч франков за статью раз в неделю, и что Доде, вероятно, взбешен, и что Вандерем, вышколенный Ка-

плюсом, теперь уже может зарабатывать сколько захочет. Вот это ясно и увлекательно!

15 октября. «Рыжик» — драматические диалоги.

Первый акт: Рыжик уходит.

Эжени:

— Но я так счастлива. Скажи, Рыжик, ты молился?

Рыжик:

— Нет.

Эжени:

— А я молилась. Я обедала и т. д. И я счастлива.

Рыжик:

— А что для тебя важнее — молиться или обедать?

Действие первого акта происходит во дворе.

На лестнице появляется мадам Лепик:

— Что это за разговоры?

— Мама, Рыжик хочет уйти.

— Пусть убирается!

Родители уходят. Рыжик говорит: «Ну и черт с ними! Наконец-то я свободен. Ухожу! Ухожу!»

Второй акт.

Рыжик, хмельной от счастья, встречает мальчишек.

— Я свободен! Свободен!

Мальчишки собираются идти за ним.

— Нет, не надо! Не ходите за мной! Вы ведь не свободны.

Встречает крестьянина, тот хочет отвести его обратно к матери, встречает нищего, который отказывается поделиться с ним краюхой хлеба, встречает собаку, которая хочет его укусить. Встречает отца.

— Уж лучше собака.

Господин Лепик:

— Не видали вы, дядюшка, моего сына?

Крестьянин:

— Вашего сына, господин Лепик? Вы его, значит, потеряли? Да он где-нибудь здесь гуляет.

*26 октября.* Составить сборник новелл, чтобы каждая последующая была короче предыдущей, и назвать его «Воронка».

*27 октября.* Какой нужно иметь талант, чтобы писать в газетах!

*3 ноября.* Эти кусочки льда, которые наши отцы именовали «сладострастной живописью».

— Но все-таки, все-таки...

— Да, да, все-таки.

*4 ноября.* Гонкур жалуется на нынешние времена.

— Сейчас надо делать по крайней мере по шедевр в год, чтобы публика тебя не забыла. Вот я и решил переиздать отрывки из своего «Дневника», но не те, что касаются меня лично, хотя это было бы очень интересно. Приходите ко мне в воскресенье. Я буду весьма рад!

Мы прощаемся, и, так как нам обоим надо идти в одном направлении, мы идем каждый по своей стороне тротуара, и, боясь, что мы все-таки еще раз встретимся, я жду, чтобы пропустить мэтра вперед, а ходит он не быстро. В наши дни старые и молодые разделены мрамором.

*7 ноября.* Ее скорбь уже вызывала во мне жалость, но она вдруг вскинула руки и закричала:

— Я проклята!

И снова я стал холоден.

\* Мозг должен быть чистым, как воздух в холодный зимний день.

*8 ноября.* Судьба, нельзя ли без резкостей? Бери меня добром. Меня можно исправить даже



самыми мягкими мерами. Я способен понимать твои полуупреки с полуслова. Не надо злиться, брось. Прибереги свои лучшие удары для тех, у кого голова покрепче моей.

*11 ноября.* Тайад бросал свои увядшие шуточки о семье Доде, о Сарсе, о русских и, ничем не рискуя, щеголял своей храбростью; волосатый Руанар кричал: «Гнусные буржуа»; бледный Карэр, наш молодой интересный трибун, восклицал: «О ты, опьяненный народ!» — и, двигая рукой, как плавником, призывал вселенную к спокойствию. И все говорили: «Вот это, по крайней мере, искусство!»

Слово «свобода» возбуждает всех этих рабов, и они кричат: «Да здравствует анархия! Да здравствует социализм!», «Да здравствуют избранные!» (Какие это избранные? Должно быть, мы, избранные зрители.) Но среди них нет ни одного, кто, выйдя на улицу, мог бы пройти мимо полицейского без вежливой дрожи.

*12 ноября.* Тристан Бернар встретил похоронные дроги:

— Эй, свободен?

*22 ноября.* Дуэль двух рассеянных.

Так как не виделись они давно и уже забыли, по какому поводу возникла мысль о дуэли, они кидаются друг к другу, осведомляются о здоровье, жмут друг другу руки и, бросив секундантов, медленно скрываются в лесу, не переставая болтать.

\* Я не рассуждаю: я только смотрю, пускай сами предметы касаются моих глаз.

*4 декабря.* — По мнению Гурмона, — сказал мне Швоб, — вам следовало бы все, что вы печатаете в «Ревю Бланш», озаглавить «Блошные скальпы».

*7 декабря.* Человек черствый совершает героический поступок. Он покупает виноград и мандарины, чтобы отнести больной. По дороге к ней он рассуждает про себя: «Как же она обрадуется! Ведь плоды, исходящие от меня, — это золотые плоды!» Он поднимается по лестнице, ему открывает любовник. Любовник рыдает, слезы льются у него ручьем. Он молчит. Черствый человек угадывает все. Не произнося ни слова, он удаляется и уносит пакет с фруктами. (Предчувствие. Подруга Швоба скончалась в ночь на седьмое, и депеша мне от Швоба и мои фрукты, посланные больной, встретились в пути.)

\* Когда он начинает говорить, мне вспоминается лошадь, бьющая оземь копытом, — с места она не двигается, зато удали хоть отбавляй.

\* Вы гораздо талантливее меня, но зато я гораздо лучше, чем вы, чувствую, что следует и чего не следует делать.

\* Сколько раз я замечал, что стоит кому-нибудь сказать: «Я ведь, в сущности, только делец», — как его немедленно облапошит тот, кто заявляет: «Я-то в делах ровно ничего не смыслю».

*18 декабря.* ...Птичка исчезает в зарослях, как ярко раскрашенная конфета в мохнатых устах бородача.

*19 декабря.* Одноактная пьеса. На склоне лет он делает ей признание. Как-то очень давно молодая женщина, хотевшая иметь ребенка, бросилась ему на шею. Он обладал ею: «На твоей же постели, мамочка». Никогда он ей об этом не рассказывал. Он дал жене славу, богатство, счастье, но облачко, пришедшее неизвестно откуда, упорно держалось на горизонте. Наконец он решил признаться во всем жене.

— Ты на меня сердишься?

— Нет, не сержусь, — говорит она, — потому что я тоже...

И она рассказывает мужу выдуманное любовное приключение. Теперь наступает его очередь мучиться.

— Я солгала, — говорит она. — Это неправда. Мне просто хотелось, чтобы ты понял, как ты мне сделал больно. Я просто решила немножко тебе отомстить, и побыстрее. Теперь все конечно. Давай посмеемся.

Но они глубокие старики; вместо смеха у них получается жалкое подобие улыбки.

\* Лежа на спине, мы намечаем себе два облачка и стараемся угадать, чье придет первым.

22 декабря. Вовсе я не желаю знать множество вещей: я хочу знать только те, что люблю.

\* Туча, с которой скатываются струйки, как с морды пьющего воду быка...

\* — А вот эти коротенькие строчки тоже идут в счет?

— Какие?

— Ну, вот эта, например: правда?

— Да, тоже.

Крестьянин взял перо, чернильницу, похожую на банку из-под ваксы, и написал с трудом в уголке газеты детским почерком слово «правда».

— Значит, — сказал он, выпрямляясь, — напиши я только вот это слово, и я уже заработал бы пять су?

— Да, — ответил я.

Он ничего не сказал и поглядел на меня в упор. На его лице было удивление, зависть и гнев.

26 декабря. Христос теперь уже только модный литературный сюжет.

---

## 1894

*3 января.* Отмахиваясь от надоедливых ос:

— Да идите лучше собирать мед.

\* Изобразить безобидный анархизм в мелочах. Идя на обед в светское общество, анархист отказывается надевать белый галстук, не желает говорить комплиментов девице, мило пропевшей за пианино романс, и т. д. и т. п. Прежде чем попать существующие законы, он для начала попирает существующие обычаи. Прижать анархизм к стенке, доведя его до абсурда.

\* — Вы, Ренар, — говорит Анри Сепар, — напоминаете мне господина, который больше всего озабочен тем, как бы ему не подсунули монету в десять су вместо двенадцати.

*9 января.* Вроде того человека, который, когда ему в ухо забрался жучок и производил там невероятный шум, спрашивал всех подряд: «Слышите? Слышите?» — и очень удивлялся тому, что они ровно ничего не слышат.

*10 января.* Он отсылал обратно полученные им визитные карточки с собственноручной надписью: «Прочтено и одобрено».

*11 января.* Дождь стекает по водосточным трубам с таким звуком, будто кто-то жует резину.

\* Взгляды, как тепловые молнии.

\* Он был человек педантичный: завтракая, он жевал правой стороной, а обедая — левой.

\* Лошадь заиграла и понесла, а паровоз, испугавшись, сошел с рельсов.

\* — Папа, — спрашивает Фантек, — как это часы могут ходить ночью, ведь ночью не видно?

\* Почему вы так упорно стремитесь переехать в Париж? Вы будете вполне на месте в любом провинциальном борделе.

*12 января.* Удивительно, как это людям хочется, чтобы ими интересовались!..

\* О, если бы можно было поехать в свадебное путешествие одному!

*15 января.* Д'Эспарбес, получив академические пальмы, раздумывал на днях с каким-то испугом ясновидца, о чем могли разговаривать в Веймаре Гете и Наполеон.

Сначала они поздоровались, а затем:

— Рад с вами познакомиться.

— И я в равной мере.

— О вас часто приходится слышать.

— В армии, как и везде, есть храбрые люди.

А вы чем порадуете нас?

— Да так, готовлю тут одну штучку... в стихах, а может быть в прозе.

И можно поручиться, что после этого они сказали друг другу:

— Буду счастлив повидать вас еще как-нибудь.

*18 января.* Поэт? Нет. В жизни не касался лиры.

Будь он поэтом, ему потребовалась бы не простая башня из слоновой кости, а Эйфелева.

*25 января.* Говорят, Баррес не переносит писаний Швоба.

— Это просто ненависть тощих к жирным, — замечает Лоррен.

\* По сути дела, не следует смешивать точ-

ную аналитическую, геометрическую, обоснованную в каждой детали фантастику Эдгара По и фантастику тех, кто подражает самым слабым сторонам его творчества, ужасам (Лоррен), — например, нагоняет на нас страх видом босых ног, торчащих из-под двери, или занавесью, раздвинутою невидимой рукой, или свежееотрубленными руками женщины, валяющимися на подножке вагона; есть еще истории (Швоб) о каких-то людях, накладывающих под покровом лондонского тумана на лицо прохожего маску из липкого вара, — они душат его, тащат за собой, а свидетели этой сцены переговариваются между собой: «Еще одного пьяного повели!» Фантастика, которая, по существу, является плодом расстроенного и обезжиренного воображения, — не имеет ничего общего с фантастикой По. Жизнь может себе позволить роскошь обойтись без логики, литература — никогда.

\* — Мосье нет дома.

— Вы можете говорить мне, что его нет дома, но все же скажите ему, что я здесь и что я хочу его видеть.

*26 января.* Мне передавали, будто в газетах имеются специальные сотрудники, нечто вроде поваров, чья обязанность делать пакости людям талантливым, вычеркивать из их рукописей то или иное слово, вставлять новое, вымарывать фразы, перекраивать рукопись. Мне передавали, а я не верю.

*27 января.* Я выезжаю в свет, только когда мне приходит желание не развлекаться.

\* Говорить по двадцати пяти афоризмов в день и к каждому из них добавлять: «В этом вся суть».

\* Ее ноги оставляли на песке следы, похожие на скрипки в миниатюре.

\* Конечно, сейчас мы друзья, но попробуйте, начните первым! А ну, скажите или напишите обо мне что-нибудь неприятное, и вы увидите, как я вам сумею ответить и какая, оказывается, сила взаимной ненависти зреет в наших душах.

*30 января.* Больше всего меня волнует чтение железнодорожных расписаний.

*1 февраля.* Он никогда не спорил. Он только говорил негромко и сухо: «Это мне нравится... Это мне не нравится».

*2 февраля.* В наши дни писатели сразу снимают копии со своих писем, дабы потомство без особых хлопот могло собрать их переписку.

*4 февраля.* Он вполне довольствовался двумя друзьями и одним недругом, именно тем количеством, которое требуется, чтобы драться на дуэли.

*20 февраля.* Читать я люблю так, как курица пьет, часто поднимая голову, чтобы втекало струйкой.

*22 февраля.* Я люблю тебя, как фразу, которую я выдумал во сне и, проснувшись, не могу припомнить.

\* «Слова, покрытые пылью дорог», — говорит Тристан Бернар.

*23 февраля.* Если вы обо мне хорошего мнения, то выскажите его скорее, а то оно, сами понимаете, продержится недолго.

*1 марта.* Слышно, как возятся уже улегшиеся на ночлег гуси. Они болтают гортанными голосами. Приподымают чуть-чуть крылья, чтобы уложить их поудобнее. Жмутся друг к другу,

совсем как светские дамы, когда, шурша шелками, они окружают рассказчика, который обещал им интересную историю.

А он, когда они уже увлечены сверх меры, имеет еще наглость пококетничать:

— Да уж стоит ли продолжать, сударыни?

\* Холодный беспорядок Гюстава Доре.

*2 марта.* — Стараются, — говорит Бодевекс, — сделать из Христа человека, а из Наполеона — бога.

*20 марта.* Вкус настолько дурной, что это только вкус.

\* Вчерашняя слава не в счет: сегодняшняя — это слишком пошло, и я хочу себе завтрашней славы.

*24 марта.* Вчера видел Анатоля Франса. Говорил о «Паразите», который ему очень-очень нравится.

Всегда приятно слышать, когда тебя хвалят ни за что. Спрашиваю, почему он назвал меня «самым искренним из натуралистов»?

— Под натуралистом я подразумеваю, — говорит он, — того, кто любит природу.

Все в порядке. Впрочем, это не важно. Ему еще придется говорить обо мне, и он спохватится, как и все прочие.

Говорю ему:

— Мой метод очень прост. Мне интересно то, что я делаю, и я стараюсь заинтересовать других.

И Франс, повернув как будто на шарнирах свою голову к Веберу, говорит:

— Хорошо сказано. Очень хорошо.

*29 марта.* — Вы верите всем этим рассказам? — говорит Верлен. — Я, сударь, напиваюсь, только чтобы поддержать репутацию, рабом



которой я стал. Я напиваюсь только тогда, когда бываю в свете.

*2 апреля.* Оригинальность мне претит.

*5 апреля.* Некоторые, как, например, Марсель Швоб, любят иностранных писателей, все равно каких, из любви к чужому. Я же сторонюсь их из любви к своему, домашнему. Для того чтобы я признал за ними талант, надо, чтобы они были вдвойне талантливы. Я читал вчера в первый раз Марка Твена. Мне это показалось гораздо хуже Алле и, кроме того, слишком длинно. Я терплю теперь только намек на шутку. Не будьте навязчивы. Кроме того, это перевод, то есть плод преступления, совершаемого бесчестными людьми, которые, не зная ни того, ни другого языка, имеют дерзость заменять один другим.

*9 апреля.* Весь день я пичкал себя грустью.

*15 апреля.* Гонкур громоздит на каминную решетку в стиле Людовика XV щипцами в стиле Людовика XVI дымящиеся поленья, которые почему-то все время падают.

*18 апреля.* Пещеры театральных лож, которые кишат глупостью.

*19 апреля.* Написать новеллу о кредите и дебете дружбы.

\* Не доверяй своей фантазии.

\* Я люблю лишь те пирожные, которые хоть чуточку напоминают вкусом обыкновенный хлеб.

\* Мертвенная бледность стен в грозовую погоду, и синеватые оконные стекла, словно испорченные зубы.

*21 апреля.* Люблю дождь, который зарядит на целый день; я лишь тогда чувствую себя по-настоящему в деревне, когда я весь заляпан грязью.

*23 апреля.* Впал в зрелый возраст.

*24 апреля.* Мысли едва ворочаются, как раздавленные крабы.

*25 апреля.* Время от времени он приходил меня проведать, но не слишком часто, а просто, чтобы вдохнуть немного едких глотков горечи.

\* Не следует путать людей умных и людей талантливых.

\* Он всегда был сентиментальным: деликатный голубой цветок пустил в нем корни крепче дубовых. Самым свирепым бурям не удавалось вырвать этот цветок. Он лишь чуть прикрывал венчик и тут же раскрывался, как только буря проносилась мимо.

*7 мая.* Прелестное замечание Сен-Поль-Ру о том, что деревья обмениваются птицами, как словами.

*11 мая.* Нужно, чтобы дневник, который мы ведем, не был только болтовней, как это слишком часто чувствуется в «Дневнике» Гонкуров. Нужно, чтобы он помог нам формировать характер, непрерывно его исправлял, выпрямлял.

*17 мая.* Руссо ведет беседу со своей душой, а Гонкур — со всеми скудоумными соседями. Жан-Жак чувствует себя стариком, но, как он ни дряхл, он считает, что он лучше, чем молодые здоровяки.

\* Мои книги — это как бы письма самому себе, которые я позволяю читать другим.

*21 мая.* Листья расцвели дождевыми каплями.

\* Голубь сел на подоконник и вспорхнул, хлопнув крыльями, как накрахмаленной салфеткой.

*26 мая.* Если бы вы только знали, как я хорошо чувствую себя в одиночестве, в каких я всегда добрых с собой отношениях.

\* Француз колет эпиграммами того, кем хотел бы быть: депутата, и то, что хотел бы получить: орденскую ленточку.

29 мая. — Я вымыл руки, — говорит Фантек. — Они такие белые, что можно подумать, будто меня только что купили.

4 июня. Я заметил на стенке вырезанную ножом дату. И спросил хозяйку, что здесь увековечено: день свадьбы, именин или рождения?

— Да нет, — сказала она. — Это мы отметили тот день, когда водили корову к быку. С тех пор прошло ровно шесть с половиной месяцев, и что-то, по-моему, она не слишком раздулась, как раз сейчас я щупала ей живот.

5 июня. Монография о лени. Описать день и показать, что мозг подобен большому цветку, за которым надо ухаживать все утро, чтобы он распустился к вечеру. А так как в Париже вечером большей частью уходишь куда-нибудь, мозг так никогда и не достигает полной зрелости. Только в деревне он может раскрыться вполне. Утром перелистывать газеты, книги, схватывать мысли других, делать на лету заметки, распознавать, откуда сегодня ветер, доводить свой мозг до такой точки, когда ему становится необходимым создавать; развивать эту систему тренировки и нагрева словами легкими, языком не ученым, не тарабарским.

\* Где бы мне было особенно уютно?

Меж двух полок гардероба в стопке чистого белья.

14 июня. Мне хотелось бы иметь такой рабочий кабинет, чтобы окно его непременно выходило прямо на ферму. Я смотрел бы, как солнце нагревает кофейную жижу луж, смотрел бы, как ковыляют вперевалку утки и как гуси тянут

свои головы с крохотными, словно игольное ушко, ушами. Поглядев на скотный двор, где громко дышат коровы, я сказал бы: «Нам, людям, следовало бы занять место этих солидных животных. Ну почему ударом рога в зад они не опрокинут наземь пастуха, когда он, усевшись на скамеечку, доит их и опустошает попарно их соски таким жестом, будто подтягивается вверх по веревке? А когда их хочешь погладить, они шарахаются. Впрочем, и сам пастух не сознает своей силы, своего человеческого превосходства. Я, один лишь я взволнован — мне кажется, что я все понимаю и над всем господствую. Я ведь приехал сюда, в этот хлев, издалека. А пастух здесь родился».

И я заказал бы себе фуражку с надписью золотыми буквами «Толмач природы».

\* Все животные говорят, кроме говорящего попугая.

\* В глазах его зажегся керосин.

*30 июня.* Она семенит так быстро и так легко, что кажется, будто у нее не одна пара ног, а больше.

\* Мизантроп: солнце существует лишь для того, чтобы плодить мух, сосущих мою кровь.

*1 июля.* Когда утром я открываю окно — точно любимая омыла мои глаза свежей водой.

\* Маленькие белые облачка поднимаются от земли, точно кто-то стрижет на ее спине шерсть.

Петухи мальчишескими и строгими голосами бросают приказания, как молодые или старые вожди краснокожих.

Хорошо!.. Дальний поезд.

И голос голубки, — будто хозяйка выскребает деревянной ложкой из кастрюли остатки крема или, вернее, будто кто-то беспрерывно

открывает и закрывает дверь, чтобы испытать дверные петли.

И вот подала голос курица, будто ей удалось короткими ударами по наковальне выстучать наконец яйцо.

И муха, жужжа, пролетает, как будто звенит железная проволока.

И три первых медленных удара колокола, за ними вторые три, а за ними перезвон, — веселый и легкий.

И голос уток — будто подпрыгивают на замерзшем ручейке камешки.

Но люди еще не сказали ни слова.

Первое, что они скажут: «Закрой окно и ложись досыпать!»

*2 июля.* По ночам нам гораздо страшнее, чем детям.

*3 июля.* Чтобы преуспеть в жизни, надо разбавлять свое вино водой до тех пор, пока вина совсем не останется.

*4 июля.* Он сохранял невозмутимость, которая пристала лишь великой нации.

\* Посоветовал ему читать каждый день хронике происшествий, дабы ценить свое благополучие.

\* Прочтите мне что-нибудь покороче, чтобы я не опоздал на поезд.

\* Его душа то и дело трещит. Она ему не впору, как узкие перчатки.

*6 июля.* «Попугай, — сказал Вебер, — это птица, нарисованная ребенком».

*9 июля.* Лучший интервьюер тот, кто пишет, что у меня орлиный взгляд и грива, как у льва.

*10 июля.* Когда она поняла, что никогда не увидит господ бога, она начала рыдать, как будто потеряла близкое существо.

\* Она сказала: «Как? Что? Вы хотите со мной переспать? Пожалуйста! С тех пор как у меня на глазах умер мой бедный брат, я никому ни в чем не отказываю».

\* Я напишу книгу, которая удивит моих друзей. Я не собираюсь ставить себя выше всех прочих, как Гонкур. Не могу говорить о себе плохо в расчете на прощение людей, как Руссо. Я только попытаюсь видеть ясно, осветить себя внутри для других и для себя самого. Мне тридцать лет. Как я жил до сих пор? И что я буду делать дальше? Буду жить, как живется? Попытаюсь стать полезным?

Думаю, что если ко мне приглядеться, то забыть меня уже нельзя. Я сам дивлюсь своему тщеславию, когда очередной его приступ уже кончился. Если Париж решит увенчать меня на официальном торжестве лаврами, как некогда увенчали Петрарку, я не удивлюсь и сумею оправдать такую награду.

Мне хотелось бы зарабатывать много денег ради удовольствия вынуть из кармана, как носовой платок, и высыпать на стол целую кучу золота и скомканных кредиток и сказать: «Возьмите сколько нужно!» То я требую полной справедливости и, расщедрившись, подаю бедным два су, то я решаю бороться за своих бедняков.

Мои страхи. Как повел бы я себя на дуэли? Отвечать на письма: сначала мне хочется послать всех к черту, потом я пеняю на себя за то, что огорчил их. И к чему создавать себе врагов? Они увидят, что я умею написать как надо.

*11 июля.* Как ведет себя птица во время бури? Она не цепляется за ветку; она следует за бурей.

*12 июля.* Вот что выводит из себя:

— Смотри-ка, нам с тобой одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Когда-то я уже написал нечто подобное.

\* Его башня из слоновой кости: задняя комната при лавчонке.

\* Упорно скалывать лед, который образуется в мозгу. Всячески препятствовать обледенению.

17 июля. Воображения у меня ни на грош. Я не способен выдумать даже подписи под лубочной картинкой.

22 июля. Жюль Ренар — это карманный Мопассан.

23 июля. С мизинец чистой воды в наперстке из хрусталя.

\* Время от времени выбираться прочь из своих писаний, влезать повыше, чтобы вдохнуть чистого воздуха и окинуть взором то, что внизу.

\* Мозг у меня как свежий орех, и я жду, когда ударом молотка разобьют его скорлупу...

\* По словам Мориса Швоба, в Нанте нельзя издавать утреннюю газету потому, что там слишком узкие тротуары и жители Нанта не смогут ее читать на ходу, отправляясь по делам.

25 июля. Все-таки я выиграл шесть лет счастья со времени моей женитьбы в 1888 году.

26 июля. Байи и Фантек не хотят, чтобы им покупали одинаковые игрушки, а то они не смогут завидовать друг другу и подымать спор и крики.

\* Когда страница дается мне с трудом, я верю, что она написана хорошо...

Я не мог удержаться и сказал газетчице:

— Это моя книжка, вон та, — маленькая.

— А-а! — сказала она. — У меня ее еще не спрашивали...

\* Крестьянин любит деньги. Говорить-то легко, а вот посмотрел бы я, каковы были бы вы на его месте.

*18 августа.* В восторгах поклонников Верлена я угадываю немалую долю жалости к нему, как к завсегдатаю больниц.

*30 августа.* Возвращение в Париж. Не доезжая нескольких лье до Парижа, я полон решимости его завоевать, но, очутившись там, снова начинаю робеть.

*31 августа.* Во время свадьбы Рейно церковь св. Лаврентия, забитая неуклюжими полицейскими в штатском, с только что выбритыми физиономиями, напоминала каторгу с ее обитателями, принарядившимися ради воскресного дня.

*10 сентября.* Написал Швобу: «Ни одна из двух моих книг — я имею в виду «Рыжика» и «Виноградаря в своем винограднике» — меня не удовлетворяет. Особенно «Рыжик». Это малоаппетитная смесь, которая, к сожалению, не приносит мне былых радостей. Это не литература, а выставление напоказ некоего лоскутного мира, где всего понемножку: и жалости, и злобы, и уже говоренного прежде, и плохого вкуса. Само собой разумеется, я имею в виду мое последнее впечатление. Чтобы хоть немного приободриться, я вспоминаю Ваше ценное письмо по поводу «Кошки».

Ладно, не будем об этом говорить. Я сужу себя не только чистосердечно, но и сурово. Только Вы один не сомневаетесь в этом. Неприятно и то, что я не обновляюсь и не способен к обновлению. Я родился связанным и ничто не в силах развязать узел. Вы сказали как-то Биванку: «...жизнь должна дать ему хороший мораль-



ный толчок, дабы его талант освободился от оков, которые он сам на себя накладывает». Но даже этого было бы недостаточно. Возможно также, я злюсь потому, что отдал «Рыжика» в печать слишком быстро, заканчивал книгу на скорую руку, чтобы получить срочно немного денег. Возможно, что и так. Тяжелые нынче времена для тех, кто стремится к совершенству...»

\* Паркет был до того хорошо натерт, что она невольно приподняла юбку, как будто ей предстояло пройти по воде и она побоялась замочить подол.

*21 сентября.* «Рыжик» — плохая книга, неполная, плохо построенная, потому что она приходила рывками.

\* Никогда мы не бываем счастливы: наше счастье — это лишь молчание несчастья.

*27 сентября.* «Рыжика» можно, при желании, или сократить, или продолжить. «Рыжик» — это просто известный склад ума.

*29 сентября.* Гонкуры сказали то, что нужно было сказать о других, но они не сказали того, что следовало сказать о себе.

*1 октября.* Рассказать о нашей деревне, как рассказал Сент-Бев о Шатобриане и его времени. Передать все через заметки, маленькие драмы или немые картины, — все, вплоть до вечерних страхов. Докопаться до самых глубин, дать древо истины и все его корни.

Память, принеси мне мой родной край, положи его передо мной сюда, на стол. Досадно, что, прежде чем вспомнить, обязательно надо побывать в том краю, помесить тамошнюю грязь собственными ногами.

*9 октября.* Мне хочется беспристрастно по-

размыслить о себе самом и познать суть того существа, которым являюсь я, которое растёт целых тридцать лет. Я гляжу на себя не без удивления. И, главное, что поражает меня — это моя ненужность, и все-таки мне не удастся убедить себя, что я никогда ничего не добьюсь.

*13 октября.* У него свой собственный стиль, которого никто себе не пожелает.

*17 октября.* Я называю «классиками» людей, для которых литература ещё не была ремеслом.

\* Связать все, что я пишу, с моей родной деревней. Применить к её описанию все, что я люблю в литературе.

\* Мозг, за которым хорошо ухаживают, не устает никогда.

*23 октября.* «Рыжик». Когда домашние портнихи Мари и Анжель приходили к нам шить, они обедали за одним столом с нами и боялись проглотить лишний кусок. Быть может, они нас стесняли? Напротив, ради них мадам Лепик не скупилась на расходы, и Рыжик благословлял обеих портних. Он мог есть чуть побольше, чем обычно, и мадам Лепик этого не замечала; она за ним не следила. Но портнихи, не подозревая, что они являются причиной семейного умиротворения, спешили поскорее встать из-за стола, подымались обе разом, одинаковыми движениями, и выходили на двор подышать.

\* В день появления романа гулять по улицам, искоса посматривать на груды книг в витринах, опасаясь, что продавец с презрением смотрит на тебя; видеть смертельного врага в книгопродавце, не выставившем твою книжку на витрине, — на самом же деле он просто не получил её, — страдать, как человек, с которого содрана кожа. Да, книги превращаются в бруски мыла! Я слы-

шал, как продавец в книжной лавке Фламариона выкрикивал: «Один «Рыжик»! Два «Рыжика»! Три «Рыжика!»

Говорят, что если писатель хорош с Ашилем, — продавцом в книжной лавке издательства Кальман-Леви на Итальянском бульваре, — то ему обеспечена продажа ста экземпляров; но только этот господин непокладист, у него свои заскоки. Обычного подношения экземпляра с авторским посвящением здесь маловато. Он даже покупателей выставляет за дверь. Словом, оригинал, который, очевидно, здорово презирает литературную братию.

*3 ноября.* Я как стенные часы, чей маятник без устали качается — от гордыни до самоуничтожения; но я просто стою на ногах, я сохраняю равновесие и держусь прямо.

*6 ноября.* Вчера в Эвр давали «Анабеллу, или Как жаль, что она проститутка!» — пьеса Форда, перевод Метерлинка, вступительное слово Марселя Швоба.

...Рашильд в бешенстве, потому что я сказал, что актеры ниже всякой критики. Куртелин считает, что все они здорово кривляются. Леон Доде утверждает, что все человечество покоится на подозрительной основе. Метерлинк с видом преуспевающего, всем довольного плотника разгуливает по фойе. Фавн Малларме кротко скользит между парочками и дрожит от ужаса, что вдруг его поймут. Бородач Жорж Гюго носит на своей мощной груди невидимый знак прославленного имени. Мадам Вилли, с толстенной, как канат, косой, поглядывает на нежного Жюлиа и хохочет. Бауэр выступает словно бык величиной с лягушку, а мой друг Швоб, который раньше брил голову чуть ли не до крови, завел себе

этакую плакучую иву, спускает на лоб плоскую черную челку, что вполне соответствует теперешнему состоянию его грустной души.

*8 ноября.* Нынче вечером пришел Бернар и примирил меня с самим собою. Он сказал: «Все ваши друзья считают, что «Рыжик» лучшее, что вы сделали. Пожалуй, никто так остро, как я, не ощущает человечности вашего маленького героя. Тулуз-Лотрек хочет вас повидать... По моему мнению, «Рыжик», если не считать главы «Краснощечка», принадлежит к тем книгам, откуда позднее будут черпать темы «для сочинений по немецкому языку».

И вот я уже ликую, раздуваюсь, как картофелина, твержу: «Какое трудное наше ремесло! Ах, как дорого приходится нам платить за славу, но нет на свете ничего более завидного».

И вот мне уже чудится, что я окружен друзьями, и я даю советы насчет стойкости и честности, и напутствую каждого, как умирающий со смертного одра.

*12 ноября.* Больше всего я хотел бы быть учителем в сельской школе, посылать статейки в местную газету, коротенькие корреспонденции в стиле Сарсе, оставаясь недоступным для скептических взглядов.

\* «Рыжик». Поставить девиз:

«Отец и мать всем обязаны ребенку. Ребенок им не обязан ничем. Ж. Р.».

*15 ноября.* Чтобы преуспеть, надо творить подлости или шедевры. На что из двух вы более способны?

*22 ноября.* Точное слово! Точное слово! Сколько можно было бы сбечь бумаги, если бы закон обязывал писателей пользоваться только точными выражениями.

\* Маленький цветочек, которого никто никогда не видит и который на высокой скале в пучке травы ждет, чтобы кто-нибудь наклонился и вдохнул его аромат.

*26 ноября.* Она принадлежала к тем хрупким, маленьким женщинам, которые предпочитают любить, а не заниматься любовью.

*28 ноября.* «Трава». К описанию деревни применить стиль Паскаля или Сен-Симона.

Я брожу, я вдыхаю запахи, я слушаю, и мне чуточку стыдно, потому что я не знаю, как называют всех этих птиц, которых я потревожил. Это вовсе не щеголихи, расцветенные тысячью колеров. У этих две-три краски, а у других всего-то одна.

\* Валлотон рассказал мне, что одна дама, прочитав моего «Паразита», горько заплакала, так она была оскорблена в своем женском достоинстве.

\* Мне очень нравится ваша книга, потому что я ясно вижу ее недостатки.

*29 ноября.* Всюду неудачи. Я отошел от «Жиль Бласа», от «Ревю Эбдомадер», от «Эко де Пари», от «Журналь», от «Фигаро», от «Ревю де Пари» и т. д. и т. д. Ни одна моя книга не выходит вторым изданием. Я зарабатываю в среднем двадцать пять франков в месяц. Если дома мир, то только потому, что жена у меня суший ангел. Друзья мне быстро надоедают. Когда я их слиш-ком люблю, я на них сержусь за это, а когда они меня перестают любить, я их презираю. Я не гожусь ни в хозяева, ни в благотворители. Теперь о моем таланте. Достаточно мне прочитать страницу из Сен-Симона или Флобера, и я краснею. Мое воображение — как бутылка, как донышко уже пустой фляги. Любой репортер,

при небольшом навыке, достигнет того, что я самодовольно называю своим стилем...

*4 декабря.* Устаревшие сравнения кажутся нам сносными только у иностранных писателей.

*9 декабря.* Вчера вместе с Тристаном Бернаром посетили Тулуз-Лотрека. Прямо с улицы, где льет проливной дождь, входим в удушающе жаркую мастерскую. Низенький Лотрек, в одной рубашке, со сползающими панталонами, в шляпе, как у лабазника, открывает нам дверь. И первое, что я вижу в глубине мастерской на софе, — двух голых женщин: одна демонстрирует свой живот, вторая — ягодицы... Бернар здоровается с ними за руку: «Добрый день, барышни». Я от смущения не смею смотреть на натурщиц. Ищу, куда бы пристроить свою шляпу, пальто и зонтик, с которого каплет вода.

— Надеюсь, мы не помешаем вам работать? — говорит Бернар.

— Мы уже кончили, — отвечает Лотрек, — можете одеваться, сударыни.

И, нашарив десятифранковую монету, кладет ее на стол. Натурщицы одеваются, чуть зайдя за полотно, и время от времени я, осмелев, кошусь в их сторону, но ничего не успеваю разглядеть; и всякий раз мне кажется, будто мои помаргивающие глаза встречаются с их вызывающими взглядами. Наконец они уходят. Мне удалось разглядеть только матовые ягодицы, что-то отвислое, рыжие волосы, желтый пушок.

Лотрек показывает нам свои этюды небезызвестных «домов», свои юношеские работы: он сразу начал писать смело и неаппетитно.

Мне кажется, что больше всего его интересует искусство. Не уверен, что все, что он делает, хорошо, знаю одно, что он любит редкостное,

что он настоящий художник. Пусть Лотрек-коротышка величает трость «моей палочкой» и, безусловно, страдает из-за своего маленького роста, — это тонко чувствующий человек, и он заслужил свой талант.

*12 декабря.* Я был рожден для газетных успехов, для ежедневной славы, для литературной плодовитости: чтение великих писателей все это изменило. Отсюда все несчастья моей жизни.

*16 декабря.* Альфонс Доде сказал мне:

— Как я ни восхищаюсь «Рыжиком», еще сильнее мне нравятся такие ваши вещи, как «Драгоценность», «Часы» и «Виноградарь в своем винограднике». Ничего более совершенного я не знаю во всей французской литературе. Вы можете создавать шедевры на кончике ногтя.

Вы человек семнадцатого века. Вот если бы в вашем распоряжении была казна короля или какого-нибудь важного вельможи, а то ведь никто не в состоянии оплатить то, что вы пишете, и вы такой особенный, такой «сам по себе», что, думаю, ничего другого делать бы вы и не могли. Я представляю вас в садике, площадью в один квадратный метр, и на полном содержании у государства. Почему вы не пишете, как Сear, который зарабатывает у Карнавале пять тысяч франков, как Анри Февр, который вообще не знает, что пишет! И не ждите пока вы истощитесь. Теперь самое время. Сейчас вы на виду. Все ваши почитатели, и я первый, — мы готовы для вас в лепешку расшибиться, я это говорю не на ветер. Это не дружеская шутка. Просите что угодно, ну, скажем, луну, и мы ее для вас добудем.

— Вот так же, — сказал я, — молодым людям, вступившим на литературное поприще, совету-

ют сначала поступить на службу. А ведь, возможно, надо начинать с литературы, чтобы без труда получить место.

С тех пор я просыпаюсь каждое утро со счастливым сознанием, что мне не надо идти на службу.

*18 декабря.* Что это такое — новая литература человечества? Разве сегодня мы стали лучше, чем были вчера? Итак, изобрели тысячный сюжет для романа: человечество. Выходит, до сего времени им не особенно занимались. Можно подумать, что такой темы вообще не существовало и никто за нее не брался. А о чем же, по-вашему, говорили наши отцы?..

Вчера мы с Леоном Доде рассуждали о памфлете, может ли он в наши дни иметь успех. Пришлось бы разить наотмашь дубинкой. А способны ли мы на это? Баррес быстро выдыхается. Дальше панамской аферы он не идет. И, напротив, до чего же виртуозен Рошфор! В его распоряжении сотни способов обозвать человека вором. Он всякий раз бьет кувалдой, но всегда по-новому. Он умеет разнообразить свои «ух»! Нынче для того, чтобы сделаться памфлетистом, надо быть сначала великим лириком. Эпоха булавочных уколов миновала. Читатель позабавится лишь в том случае, если мы будем швырять друг другу в голову целые дома.

*21 декабря.* — Если бы я жил совсем один в мансарде, — говорит Леон Доде, — я бы за три года сделал что-нибудь стоящее!

*26 декабря.* «Трава». Мой замысел проникнуть в этой книге до самого сердца нашей деревни, то есть до сердца Мари Пьерри, ибо священник и учитель — нездешние, они тут временно. Мне хотелось бы заслужить их дове-



рие, но мне это не удастся. Они меня сторонятся. Я слишком много знаю. Я слишком вырос. Я не могу уже дотянуться до своих корней. Сначала они говорили о моей молодой жене: «Она не гордая». А потом, так как ей нравилось говорить с ними о своем доме, о своей спальне, о том, сколько стоят занавески, мебель, они изменили свое мнение: «Слишком она богатая». И они стали ее презирать за то, что, имея возможность хорошо одеваться и нанять несколько слуг, она держит всего одну служанку и скромно одевается.

*31 декабря.* А что, если бы, вместо того чтобы зарабатывать большие деньги на жизнь, мы старались бы жить на небольшие деньги?

---

1 8 9 5

*1 января.* Исповедь. Недостаточно работал: слишком сдерживал себя. Хотя в жизни я скорее расточителен и слишком расходую себя, — в литературе я, стоит мне взяться за перо, колеблюсь, становлюсь чересчур совестливым. Я вижу не прекрасную книгу, а ту дурную страницу, которая может эту прекрасную книгу испортить, и это мешает мне писать. Повторять себе, что литература — спорт, что здесь все зависит от метода, который теперь называют тренировкой. Не беспокойся, рекордов ты не поставишь.

Недостаточно бывал на людях, следует видеть людей, чтобы расставить их по местам сообразно с заслугами. Слишком презирал журналистику, мелкие неприятности, шелчки судьбы. Недостаточно читал греческую литературу, недостаточно — латинскую. Недостаточно занимался фехтованием или велосипедом: заниматься ими до одурения. После этого умственная работа кажется чем-то вроде спасения в монастыре, где можно спокойно умереть.

Все больше и больше становлюсь эгоистом: ничего не поделаешь. Соблюдать условности. Стараться искать счастья в том, чтобы делать счастливыми других. Не смел восхищаться кни-

гами или поступками. Что за мания изощряться в остроумии перед теми самыми людьми, которых хочется обнять! Слишком добивался, и добивался лицемерно, от друзей похвал «Рыжику»...

Слишком много ел, слишком много спал, слишком трусил в грозу. Слишком много расходовал денег: дело не в том, чтобы много зарабатывать, а в том, чтобы мало тратить.

Слишком пренебрегал мнением других в важных вопросах, слишком часто спрашивал совета по пустякам.

— Надеть ли пальто? Взять ли шляпу?

Будет дождь, но я не беру с собой зонтика, хочу пощеголять красивой тростью.

Слишком упивался своим сочувствием несчастьем других. Разыгрывал уверенного в себе человека. Притворялся маленьким мальчиком в присутствии мэтров; перед теми, кто моложе, изображал добряка и великого человека, который не виноват в том, что он гений.

Слишком интересовался киосками, в надежде увидеть там свои книги, слишком присматривался к газетам, надеясь найти там свое имя. Слишком часто дарил и посвящал книги, прощая, во внезапном наплыве нежности, некоторых критиков, которые благодетельствовали меня тем, что не сказали о моих книгах ни хорошего, ни дурного.

...Слишком много говорил о себе. О да, слишком, слишком! Слишком много говорил о Паскале, Монтене, Шекспире и недостаточно читал Шекспира, Монтеня и Паскаля.

В театре слишком вертелся направо и налево, как снегирь, чтобы подзадорить свою еще такую юную славу. Всегда слишком быстро от-

казывался от своих первых впечатлений. Слишком часто читал статьи Коппе, с намерением доказать себе, что я поумнее его.

И я бью себя в грудь, говорю: «Войдите!» — и встречаю себя очень приветливо, уже совсем прощенного. Слишком хвалил тонкие журналы, хотя никогда их не открывал, и слишком презирал газеты, хотя прочитывал их ежедневно по четыре-пять штук. Слишком много разглагольствовал о моем поколении и слишком тщательно скрывал свой возраст. Слишком много говорил о Барресе и недостаточно часто *писал* его имя.

Слишком много пил шартреза.

Слишком часто говорил: «добро, о котором я думаю», вместо: «зло, о котором я думаю».

*15 января.* Был вчера в Зоологическом саду.

Тюлени неуклюже тычут лапами, совсем как овернские крестьяне в гостях. Их маленькие, плотно прижатые к черепу ушки, их розовые пасти с черными корешками зубов.

И маленькие попугайчики, похожие на вдруг запевшие булавки для галстука.

Меховые жакетки гамадрил, их манера очищать холодную вареную картошку и их внезапный и бесконечный рев из широко разверстой пасти.

*1 февраля.* До чего был бы однообразен снег, если бы господь бог не сотворил ворон!

*4 февраля.* «Трава». Хочу попытаться уместить в своей книге деревню, уместить ее всю целиком, начиная с мэра и кончая свиньей. И только те поймут всю прелесть заглавия, кто слышал, как говорит крестьянин: «Трава растет», или: «Сейчас для травы самое время», или: «Трава сошла».

\* Я купил себе этот дом, чтобы быть счастливым. Встретив меня на дороге, Папон сказал:

— А у вас вид-то счастливый.

И я ему ответил:

— Добрый мой Папон, не вид у меня счастливый, а я сам счастливый.

— Это потому, что вам повезло, — сказал он. — Вам посчастливилось.

И он ушел. Если бы он был прав! Если бы мне только посчастливилось, мне, который — по крайней мере по моему мнению, — сам создал свое счастье, собственным прилежанием, упорством, практичностью и, разрешите добавить, умом!

Если бы только посчастливилось!

Издали, друзья мои, вершу свой суд над вами. Вот ты, ты хочешь заработать побольше денег; ты по-ребячески жаждешь господства и целых пудов славы; ты держишься в стороне, но так, чтобы все видели, что ты в стороне; а ты, ты бичуешь в своих творениях светское общество, а сам не можешь и дня прожить без него. О, вы, вы все замечательные люди. Вы умники, но цели-то ваши просто смехотворны, и я хохочу над вами из своего угла.

Хорошо только то, что строго необходимо, и нельзя от этого отклоняться ни вовне, ни внутри себя: вовне потому, что это глупость, внутри потому, что это гордыня.

Меня избрали мэром, и я твержу себе: «Возле меня живет сто человек. Я могу сделать их счастливыми. Берите же пример с меня. Пусть каждый из вас поступит так же. Я начинаю». Главный персонаж моей книги, ее герой — это счастье...

Из моего окна я вижу канал, речку, лес. Я не

хочу ничем пренебрегать, и будь я в силах добросовестно заниматься политикой, клянусь, дорогой мой Баррес, я бы ею занялся.

*13 февраля.* ...Да, рассказ, который я пишу, уже существует, он с предельным совершенством написан где-то в воздухе. Все дело в том, чтобы найти его и списать.

\* Мой Элуа: нечто вроде комнатного Дон-Кихота.

\* Исцелиться от недуга писательства можно только одним-единственным способом — заболеть вполне реальным смертельным недугом и умереть.

*14 февраля.* В литературе настоящее от мнимого отличается тем же, чем настоящие цветы — от искусственных: только особым, неповторимым запахом.

*23 февраля.* Для того, чтобы хоть как-то заполнить этот непомерно огромный салон, следовало бы ввести туда двух-трех небольших слонов, и пускай бы они расхаживали по комнате взад и вперед.

*2 марта.* Вчера вечером банкет у Эдмона Гонкура. — Вообще говоря, можно извиниться телеграммой. Экономия — двенадцать франков, кроме того, телеграмму огласят за десертом. Таким образом выделяешься из толпы.

При входе наткнулся на красивого юношу, ловкого, накрахмаленного, напомаженного, на румяненного и напудренного: «Это Люсьен Доде». Говорит тоненьким, каким-то карманным голоском. Жан Лоррен с белыми прядями, одно веко у него парализовано. Марсель Швоб, который в последнее время усиленно заботится о своей наружности, отрастил себе волосы, те, которые согласились отрасти. Но на макушке у

него проплешины. Похож на героя своих новелл...

— Что-то вы редко заглядываете, — говорит Гонкур.

— Дорогой мэтр, просто не решаюсь беспокоить.

— Как глупо!

Вот это хорошо сказано. Он просто восхищен, наш старик хозяин Гонкур. Он взволнован, и, когда пожимаешь его руку, чувствуешь, какая она мягкая, дрожащая, словно вся налита водой его эмоций.

Перед ним на столе великолепный пирог, похожий на Гонкуровскую Академию в миниатюре, воплощенную в песочном тесте.

Как! Значит, вот этот господин, который вещает что-то прерывистым голосом, засунув одну руку в карман, значит, он и есть великий Клемансо? Видно, этим скальпелем взрезали еще сонные артерии мамонтов! Господи! До чего же далеки от нас все эти люди! «Хороший рабочий»... «Социальная республика»... К дьяволу! К дьяволу! Сударь, ведь вы находитесь в обществе писателей, а решили, что перед вами избиратели! Неужели вы не чувствуете нашего разочарования и, если хотите, презрения? Кое-кто из ваших друзей уверяет, что вы импровизируете...

Очень неплох Пуанкаре со своей костистой и волевой физиономией, со своим государственным челом. Он говорит точными формулами. Он скромнен. Он старается принизить государство ради литературы. И, благодаря этому, молодой тридцатипятилетний министр может восседать по правую руку нашего хозяина, которому больше семидесяти и который лишь в этом возрасте

добился своего места в первом ряду, — восседать и не быть смешным, не вызывать с нашей стороны протеста.

*7 марта.* Я говорю ему, что он опьяняется образами и что не следует смешивать прекрасный, но неопределенный образ с образом точным, который всегда выше прекрасного.

*13 марта.* Клодель — автор «Золотой головы» и «Города», которого мы считали гениальным и который служит вице-консулом в Нью-Йорке, в Бостоне, в Китае и т. д., сидит в своем кабинете по обязанности; пишет доклады по обязанности: он пишет их, даже когда их у него не просят.

— Мне платят, — говорит он. — Я и стараюсь отработать.

\* Сегодня в цирке дрессировщик демонстрировал одновременно кур, лисиц и собак. Лисицы дружески подходят к курам: это прогресс. У кур вид был не особенно-то уверенный: это рутина. Но благодаря собакам-примирительницам все сошло благополучно: это цивилизация.

*15 марта.* Легкая дрожь — предвестница прекрасной фразы.

*19 марта.* ...А роман? Кто из нас решится написать роман, в котором будут лишившиеся смысла слова «люблю тебя» и «любовь»? Мы способны только сочинить книгу, то есть написать тетрадь и опустошить чернильницу ради умственной гигиены.

\* Шекспир! Ты все время твердишь: Шекспир! Шекспир в тебе, найди его.

\* Бывать иногда в свете, чтобы проглотить стаканчик желчи.

*27 марта.* ...Потешер повел меня к Гонкуру. Дом как будто вырос. Нам открыла Элали, кажется, она в очках. Она похожа на важную



даму, у которой дочь выходит за писателя. Появляется Гонкур, отдохавший в своей комнате; он весь как-то осел. Жалуется на инфлюэнцу... Описание инфлюэнцы... Никто не знает, что это... Описание огня в камине, потушенного Элали и ее дочерью... Превосходство дровяного отопления над всяким иным... Недавно на обеде у Золя он замерз. Впрочем, обед был очень хороший.

*2 апреля.* Что за встреча! Да, да, мы встречаемся, угрожающе выставив рога, совсем как две козы в басне Лафонтена, столкнувшиеся лбами на узенькой жердочке.

\* ...Как писатель, я пытаюсь *научиться ограничивать себя*. Как читатель, я себя не ограничиваю. Я люблю, поверьте мне, множество такого, о чем нельзя догадаться, читая мои книги. Я испытал сильное влияние поэзии, и в особенности чудесного словесного изобилия Виктора Гюго. Быть может, это реакция? Возможно, но скорее — самоограничение. Вне этого я чувствую себя не в своей тарелке и прощаю себе, говоря, что писать хорошо я могу только тогда, когда пишу мало и когда пишу мелочи. Но, подняв голову от своего верстака, над которым я, по вашему мнению, корплю, я, будьте уверены, не презираю никого и без опаски восхищаюсь великими. И я даю себе волю...

*13 апреля.* Писать — это особый способ разговаривать: говоришь, и тебя не перебивают.

*30 апреля.* — Да, дорогой друг, — говорит Куртелин. — Она присутствовала на генеральной репетиции пантомимы; ничего не поняла и сказала соседке: «Сегодня только генеральная репетиция, а заговорят они завтра, на премьере».

*8 мая.* Малларме. Он до того ясен в разговоре,

по сравнению со своей поэзией, что кажется даже банальным. Говорит о Бодлере и о моих книгах. Несмотря на все усилия, я весь как ледяная глыба. Не могу выдавить из себя ни одного любезного слова. Если бы он был мохнатый, как фавн, я бы мог хоть погладить его.

Зоологический сад. Глаза розовых фламинго, как пуговики на мужской сорочке.

Казуар в каске, а перья у него как шерсть на кабане.

Вздернутое вверх седло страуса.

Бизон, весь точно вырезанный из камня, за исключением непрерывно жующих челюстей.

Русак старается слить свою шерсть с молодой травкой.

Солидный баран — словно возвращающийся с поля жнец, закинувший за плечи не один, а два серпа.

Черная с белым крольчиха моргает носом, как веками, и уши у нее болтаются, как концы развязавшегося галстука.

*29 июля.* Вся наша критика сводится к упреку ближнему за то, что он не обладает достоинствами, которые мы приписываем себе.

*27 августа.* Тристан Бернар человек смелый, настоящий парижанин. У него хватает мужества слезть с велосипеда, купить винограда во фруктовой лавочке и съесть его тут же на тротуаре, на глазах у местных привратниц.

*28 августа.* Я часто недоволен тем, что написал. Я никогда не бываю недоволен тем, что я пишу, ибо, будь я недоволен, я не стал бы этого писать.

*7 сентября.* Мой мозг зажилел от литературы и раздулся, как гусяная печенка.

*9 сентября.* Каждую минуту Рыжик является

ко мне. Так мы и живем вместе, и я надеюсь, что умру раньше его.

*10 сентября.* Белка, ее бормотание с закрытым ртом.

*19 сентября.* «Естественные истории». Бюффон описывал животных, чтобы доставить удовольствие людям. Я хотел бы доставить удовольствие самим животным. Я хотел бы, чтобы мои маленькие «Естественные истории» вызвали у них улыбку, если бы они могли их прочитать.

*22 сентября.* Перечитывай, перечитывай. То, что ты не понял вчера, поймешь, к своему удивлению, сегодня. Именно так я люблю Мериме.

\* Я запряг Пегаса в плуг. Напрасно он бил копытом: пусть идет медленно, шагом, и обрабатывает мое поле. Он фыркал, метал пламя из ноздрей, бил копытом землю и чуть не подставлял мне круп, готовясь взлететь.

— Все это прекрасно, — сказал я ему. — Но приблизься ко мне.

Он хотел умчаться в небеса, но лемех плуга глубоко ушел в землю и удержал Пегаса.

\* Рая не существует, но давайте попытаемся заслужить этот дар — существование рая.

\* Нельзя заглянуть в глубь моего сердца: из-за недостатка свежего воздуха свеча там медленно гаснет.

\* Я уже чувствую себя стариком, не способным ни на что большее. Если мне суждено прожить еще двадцать лет, чем я сумею заполнить эти годы?

*28 сентября.* Из моего окна я вечно вижу ее за работой. Иной раз она громко беседует с вещами. По утрам, убирая комнаты, она надевает перчатки. Это старая девушка, которой при-

шлось выехать из прежнего дома потому, что его разрушили. Здесь она поселилась пятнадцать лет тому назад. Только в этих двух домах она и жила. Ее приходит навешать друг. Ночевать он никогда не остается, только изредка по воскресеньям завтракает. Оба они седенькие, — так что кажется, будто волосы у них напудрены, — и чистенькие и вежливые-вежливые. Они часто уезжают путешествовать и перед отъездом платят за квартиру. Он вдовец, отец семейства. У его детей есть дети. Боясь сделать им неприятность, она никогда не соглашалась выйти за него замуж. Глядя на эту чету, начинаешь любить жизнь. Никогда она ничего не требует от своей хозяйки, лишь раз попросила переклеить обои, да и то за свой счет. Со всеми в добрых отношениях. Она старенькая, но вид у нее молодой. Нетрудно представить ее себе возлюбленной — любимой и влюбленной.

\* Чтобы жить в дружбе с теми, с кем живешь постоянно, надо вести себя с ними так, будто вы видите с ними всего раз в три месяца.

*30 сентября.* Вся твоя жизнь уйдет на то, чтобы пробить свою раковину.

\* Терпение! Вода моего крохотного ручейка рано или поздно доберется до моря.

\* Хочу, чтобы мое ухо было как раковина, хранящая все шумы природы.

\* И когда вдруг один-единственный лист, который казался укрытым от ветра, начинает трепетать, безумствовать (да, да, именно безумствовать), а соседние листья даже не шелохнуться, нет ли в этом какой-то тайны?

*2 октября.* Не стройте же себе иллюзий! Родись вы двадцатью годами раньше, вы, как и все прочие, ударились бы в натурализм.

\* Просто удивительно, почему это писатели-холостяки, не имеющие ребят, уделяют столько внимания проблеме ребенка!

*3 октября.* Тот, кто любит литературу, не любит ни денег, ни картин, ни дорогих безделушек, ни всего прочего. В сущности, Бальзак не любил литературы.

Бальзак правдив в основном, но не в деталях.

*4 октября.* Газета, которая гарантировала себя от моего сотрудничества.

*6 октября.* До чего же мне безразлично, что некоторые идилии Феокрита написаны на ионическом диалекте! Сделать из современных, вполне реальных пастухов то, что он сделал из своих пастухов сиракузских.

*8 октября.* Они живут в гостинице. У них двадцать тысяч франков, но они их не расходуют, берегут на покупку поместья в Гонфлере. Из Блуа они привезли с собой маленького грума и платят ему пятнадцать франков в месяц, а делать ему нечего. Каждое утро он спрашивает хозяйку: «А что мне сегодня делать?» Никто не знает. Тогда его посылают с письмом к друзьям, которые заведомо отсутствуют, и велят подождать ответа...

\* Писать много, публиковать лишь лучшее.

*16 октября.* Формулы для ответа авторам, присылающим свои книги:

«Вот книга, которая достойна Вас, дорогой друг, и я счастлив Вам это сказать».

«Благодарю Вас. Я увезу Вашу книгу с собой в деревню. Я буду читать ее под деревьями на берегу ручья, в окружении, достойном ее».

*19 октября.* Когда вы краснеете, приятно и грустно смотреть на вас, как на пылающие поленья.

*25 октября.* В каждой коммуне имеется сейчас фельдшерский пункт; к тому же мы раздаем беднякам хлеб. В Шитри есть бедные люди, но нищих нет. Нищим запрещается выходить за пределы их коммуны. Человек кормится куском хлеба и двумя-тремя орехами. Ко мне как раз явились двое из Сен-Реверьена — слепой, которого привела молодая женщина.

— Но неужели, — сказал я, — ваша жена не может работать, вместо того, чтобы водить вас с утра до вечера?

— Ох, господин мэ́р, мы бы заработали меньше.

Я все же дал им одно су и приказал больше не появляться, а то велю их задержать. Потом я смотрел им вслед. Я слышал их смех. Это они смеялись надо мной.

*27 октября.* Нет никакой разницы между настоящей и поддельной жемчужиной. Самое трудное — притвориться огорченным, когда потеряешь или раздавишь жемчужину поддельную.

\* Природа не окончательна: всегда можно к ней что-нибудь добавить.

*31 октября.* «Жюль Ренар, мэ́р деревни Шомо» — это будет хорошо выглядеть на обложке книги.

*1 ноября.* Леон Блюм — безбородый юноша, который девичьим голосом может в течение двух часов читать наизусть Паскаля, Лабрюйера, Сент-Эвремона и прочих.

*16 ноября.* Вчера вечером я заплатил пятьдесят шесть франков пятьдесят сантимов Стейнлену за иллюстрации к «Рыжику». Из застенчивости он оставил деньги на маленьком столике, не посмел взять их сразу, чтобы не показаться

жадным или наглым. Затем мы разговаривали: наступили сумерки, наконец ночь, а когда принесли лампу, денег не оказалось.

Ни я, ни он не посмели заговорить о них.

26 декабря. Ростан упражняется в своей грусти, словно работает гимнастическими гирями.

...Сара Бернар. Ищу эпитет, чтобы подытожить свои впечатления. Нахожу только «мила». Мне не хотелось ее видеть. Теперь я навсегда разбил смешного кумира, которого я сотворил себе из Сары Бернар. Осталась женщина, которую я считал худошавой, а она оказалась толстой; которую я считал уродливой, а она красива, да, красива, как улыбка ребенка.

Когда Ростан сказал: «Познакомьтесь — Жюль Ренар», — она поднялась из-за стола и заговорила веселым ребяческим, очаровательным голосом:

— Ах, как я рада! Он именно такой, каким я себе его представляла, не правда ли, Ростан? Я ваша поклонница, Ренар.

— Мадам, с изумлением узнаю, что вам могли понравиться сочинения (я так и сказал «сочинения») Жюля Ренара.

— А почему? — спросила она. — Вы, значит, считаете меня дурой?

— Ах, я не то сказал...

— Да что вы!

И она стала подкрашивать губы.

Позже, на лестнице, я понял, как надо было сказать:

«Нет, мадам, я считал вас гениальной женщиной, со всеми вытекающими отсюда неудобствами». Но это, вероятно, было бы еще глупее.

— Я мерзну. Чувствуете? — сказала она и положила руку на щеку Ростана, которого она называет «мой поэт», «мой автор».

— В самом деле, рука ледяная, — сказал Ростан.

Не придумаю, что бы такое сказать! Нет, не так-то легко блеснуть! Я очень взволнован, увлечен, я хочу выказать себя мужчиной.

— Что вы делаете, Ренар?

— Мадам, я только что делал нечто прекрасное: я слушал вас.

— Да вы прелесть! Но что же вы все-таки делаете!

— О! Очень немного. Пустячки, рассказы о природе, о животных. Они хуже, чем этот, — говорю я, показывая на великолепного пса, которого она называет, кажется, Джем.

И мой бедный человеческий голос тонет в собачьей шерсти.

— Знаете, — говорит она, — на кого вы похожи? Вам уже говорили?

— Да, на Рошфора...

— Нет, на Альбера Дельпи.

— А вы любили Альбера Дельпи?

— Нет!

— О!

— Но вы мне нравитесь. Дельпи плохо кончил. А вы хорошо кончите. Вы уже не можете пойти по ложному пути.

Все вокруг нас были немного удивлены, что Сара Бернар так много мною занимается. Спрашивали: кто это? Некоторые знали, другие — нет.

Я уже чувствую огромную благодарность к ней, желание ею восхищаться, ее любить и боязнь слишком увлечься. Я развиваю перед Ростаном тощую теориейку насчет того, что она внушала мне недоверие и что мне приятно было убедиться, что она мила, да, именно мила.



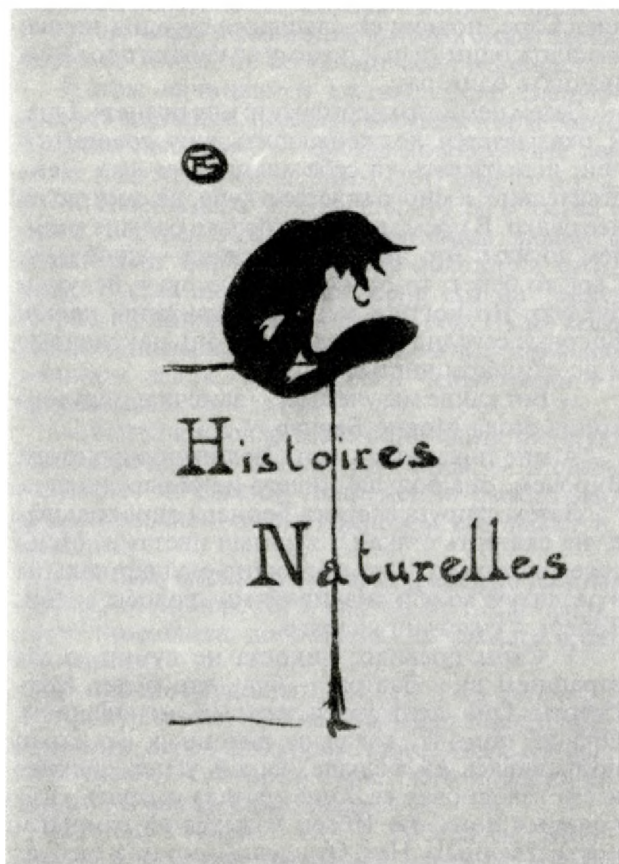
---

## 1896

*1 января.* Я решил, что наступивший год должен быть особенным годом, а начал я его тем, что проснулся поздно, слишком плотно позавтракал и проспал в кресле до трех часов дня.

*2 января.* У Сары Бернар. Она лежит перед монументальным камином на белой медвежьей шкуре. У нее в доме вообще не садятся, а возлежат. Она говорит мне: «Сюда, Ренар!» Куда это сюда? Между ней и госпожой Роестан подушка. Не смею сесть на подушку и становлюсь на колени у ног г-жи Роестан, и ноги мои торчат, как у коленопреклоненного перед исповедальней.

Здесь бояться числа тринадцать. Среди гостей Морис Бернар со своей молодой женой, она беременна. Когда переходят в столовую, Сара берет меня под руку. Я забываю вовремя отодвинуть портьеру. Бросаю Сару у первого же стула, а нужно было, оказывается, вести ее дальше, к большому креслу с балдахином. Я сажусь, справа от нее и много есть не собираюсь. Сара пьет из золотого кубка. Я не решаюсь открыть рот даже для того, чтобы попросить салфетку, которую у меня забрал лакей, и мясо ем вилочкой для фруктов. Вдруг ловлю себя на том, что на подставку для ножей положил обсосанную спаржу. Заинтриговал меня большой стеклянный под-



Обложка книги Жюль Верна  
«Естественные истории» работы Тулуз-Лотрека

нос: туда почему-то клали салат. К счастью, слева от Сары сидел доктор, неизбежный персонаж в романах, пьесах и в жизни. Доктор объясняет Саре, почему ей слышался сегодня ночью двадцать один удар и почему ее собака пролаяла двадцать один раз.

Затем немного хиромантии: моя планета Луна. Я, оказывается, должен любить луну, говорить о ней, испытывать на себе влияние ее фаз. Действительно, я много говорю о луне, но смотрю на нее редко. В моем мизинце гораздо больше воли, чем логики. Это правда. У Ростана — наоборот. Сара то берет, то отпускает мою руку, белую и пухлую. Но ногти у меня подстрижены плохо. Впервые сегодня я заметил, что они некрасивые и не слишком чистые.

— Вот какие мы ученые, — замечает с другого конца стола Морис Бернар.

А мне показалось, что Сара импровизирует. Впрочем, она больше ничего не обнаружила.

Затем супруга Мориса Бернара опрокидывает на скатерть стакан с живыми цветами. Меня сосем затопило. Сара поспешно окунает пальцы в разлитую воду и смачивает мне волосы водой. Теперь я счастлив надолго.

У Сары правило: никогда не думать о завтрашнем дне. Завтра — будь что будет, хоть смерть. Она пользуется каждым мгновением. Она не помнит, какая из виденных ею стран понравилась ей больше, какой успех сильнее всего взволновал ее. Она мечтала сыграть «Кукольный дом», но Ибсен кажется ей слишком искусственным. Нет! От идеального она требует ясности. Она слишком любит Сарду, чтобы любить Ибсена. И я говорю ей, что я о ней подумал, когда посетил ее впервые.

— Вы толстая, красивая и славная.

Сара, которую я знаю по ее триумфам, заполнившим столетия, смущает меня и сбивает с толку; но Сара — женщина, которая сидит здесь, рядом со мною, не особенно меня поражает.

Потом начинаются шутки, вроде следующих: «А вы знаете, почему у лягушек нет хвоста?! Я лично не знаю». — «Когда новобрачные ложатся в постель, кто первым тает? Свеча» и т. д. и т. п. Как-то даже забываешь, что ты в гостях у гения. Потом начинают сравнивать людей с животными. Сара уверена, что похожа на антилопу, Ростан на грызуна, жена его на овцу. Морис на ищейку, жена его на сову. А на кого похож я, не выяснили. Должно быть, у меня лоб слишком велик, и сходства с животными не получается.

— Когда я прочла всего одну-единственную вашу строчку, — говорит мне Сара, — я сразу подумала: он рыжий, непременно рыжий. Но ведь все рыжие — злюки. Впрочем, вы, пожалуй, блондин.

— Я был, мадам, рыжим, откровенно рыжим и злым, но по мере того, как вместе с благоразумием приходила доброта, я из рыжего стал блондином.

И прочие глупости.

Арокур торжественно объявляет о моем преклонении перед Виктором Гюго. «Как он был остроумен», — говорит Сара. Гюго подарил ей кольцо — «слезу Рюи Бласа».

Кстати, говорят, что у Робера де Монтестью в перстне настоящая слеза, и доктор клянется, что Монтестью писал стихи, очень красивые.

Гостиная. Пальмы. Под каждым листом —

электрическая лампочка. Под стеклом — глиняная фигурка девочки, которую Сара долепит, когда вернется. Портреты и уйма музейных вещей. Сара, в которой меньше актерства, чем в других, говорит:

— Я хотела все делать — писать, ваять. О, я знаю, что у меня таланта нет, но мне просто хотелось испробовать все!

Вот у кого нужно бы брать уроки воли.

Вводят одну из пяти пум Сары Бернар. Ее держат на цепи. Она обнюхивает шкуры и наши ноги. У нее ужасно длинные лапы и когти, и понятно, что Арокур закрывает глаза, когда пума, ластаясь, трется о его манишку. Наконец пуму уводят, и всем становится немного легче.

Появляются две огромные собаки с розовыми пористыми носами, каждая из них могла бы съесть ребенка. Они ласково, кротко валяются на полу, их белая шерсть густо липнет к нашей одежде.

Лакей опрокидывает бутылку шампанского. Пробка выскакивает, жидкость попадает прямо в лицо Саре, которая лежит на своей медвежьей шкуре. На миг мне показалось, что и это предусмотрено программой.

Сегодня вечером я, против обыкновения, не искал шляпы, — она была у меня на голове, — но зато преспокойно унес чужую.

*6 января.* Он был до того утончен, что ставил ловушки в клетку собственной канарейке.

\* — Ой, ты наступил на мозоль моей души!

*8 января.*

— Вы так грациозны, что я не могу себе представить вас, как других женщин, в постели: мне кажется, что вы спите на ветке.

\* — У меня неутолимая жажда истины.

— Только не стань пьяницей.

9 января. Похороны Варлена. Верно сказал один академик, похороны возбуждают. Вселяют бодрость. Лепелетье исходит слезами и словами. Он вскричал: «Женщины сгубили Верлена!» Это по меньшей мере неблагодарность по отношению к Верлену. Мореас подтверждает: «Совершенно верно».

У Барреса именно такой голос, какой требуется для произнесения похоронных речей, той звучности, которая отдает гробницей и вороньим карканьем. И в самом деле, он великолепно говорит о молодых, хотя Бобур утверждает, что он присваивает себе чужие заслуги, ибо скорее уж Анатолий Франс создал Верлена. Прежде чем начать речь, Баррес дал подержать свою шляпу Монтеスキю. Была минута, когда мне захотелось аплодировать, и я чуть было не постучал тростью о надгробный камень, но воздержался — а вдруг мертвый воскреснет.

Мендес говорил о лестнице с легкими мраморными ступенями, ведущей среди олеандров к горящим светильникам. Очень поэтический образ, но его можно применить ко всему.

Поэту Коппе начали аплодировать авансом. Но публика охладела, когда он застолбил себе в раю местечко возле Верлена. Нет уж, позвольте!

...Как-то Верлен выступал в Голландии с лекциями. В гостинице ему отвели самый лучший номер. Но он велел позвать управляющего:

— Дайте мне другой номер.

— Но, мэтр, это лучшая наша комната.

— Вот именно потому! Я же вам говорю: дайте мне другую!

С собою он привез чемодан, а в чемодане не было ничего кроме словаря...

В ресторане начались шуточки: взяли столик и заказали поминальный обед по Коппе.

Там был попугай, который сидел, повернувшись к нам задом, и твердил без передышки: «кака, кака». Похоронная физиономия Швоба, мрачное лицо, запавшие глаза, плачевно обвисшие усы, всклокоченные волосы...

*18 января.* Я знал одну птичку, которая, задремавши на ветке, тут же валилась вниз.

\* Животные вызывают у меня, главным образом, чувство удивления, — как, впрочем, и все на свете.

\* Ответ на оскорбление, которое смывается только кровью:

— Это вы сказали нарочно, чтобы меня подразнить.

\* Заметки писателя — это ежедневные гаммы.

\* Аист на своей тростниковой ноге.

\* Дружба опустошает сильнее любви.

\* Если будет война, мне придется все время убеждать себя, будто Вильгельм закатил пощечину лично мне.

\* Почему ты клянчишь билетик в театр у авторов пьесы, раз ты все равно не посмеешь им сказать, что зевал весь вечер?

*23 января.* Ростан. У него такое хрупкое здоровье, что каждый боится не обнаружить в нем таланта.

*24 января.* Одноглазый — это калека, имеющий право только на полсобаки в качестве поводыря.

*25 января.* Первое признание: я не всегда понимаю Шекспира. Второе признание: не всегда люблю Шекспира. Третье признание: Шекспир всегда нагоняет на меня скуку.

*31 января.* Стиль жирный и скользкий, как парижские мостовые в слякоть.

*1 февраля.* Рыжик. Неиспользованные заметки для «Комнаты в погребке». Ему хотелось бы простереть свою дерзость до того, чтобы называть мать «мадам», спорить о родственных чувствах, о театре. «Я был бы ангелом». — «Шею сломаешь», — говорит старший брат Феликс. Мадам Лепик отправляется спать и уносит с собой лампу.

Моя вспышка сыновьих чувств не случайна. Мадам предупреждает мосье<sup>1</sup>, что ложится спать. Возможно, он зашел слишком далеко. Задувая лампу, она говорит ему: «Не воображай, что я буду расходовать на тебя свет!..» Пусть другие уходят, с ним остается мать. Кладовая, кадка. Там можно утолить жажду, не выпив ни капли. Огромные брусья мешают ему выйти и броситься в колодец. Справа, слева, позади храпит семья, и он прислушивается к храпу. Его сны. Просыпается в поту и плачет от радости.

\* Малларме. Его стихи отчасти музыка, как верлибр, — свободный стих, — отчасти рисунок.

*3 февраля.* — У Виктора Гюго, — сказала она, — встречаются довольно миленькие выражения.

\* — Лотрек такой крошечный, — говорит мадам Бернар, — что у меня начинается головокружение.

\* Снег еще лежит отдельными островками, как клочья мыльной пены в ушах после бритья.

\* Мадам де Севинье, говорят, писала свои письма для потомства. И очень хорошо делала.

---

<sup>1</sup> Иронически: имеется в виду сам Рыжик.



А вы предпочли бы читать небрежно написанные черновики?

\* Подлое ощущение в руках, когда приходится аплодировать.

\* Голова его поворачивается на шее медленно, как подсолнечник.

*7 февраля.* Ростан. У него роскошный кабинет. Он там не работает. Работает в спальне, на маленьком шатком столике. Написав «Романтиков», отделал себе чудесную туалетную комнату, ванную и возле ванны — биде. Его свояченица, входя, говорит ему: «Добрый день, дорогой мэтр!..»

Отдаляется от нас все больше и больше. Считает нас фальшивыми, лгунами, злобными и хищными.

Пишет на отдельных листках, а на полях чертит какие-то рисуночки, по словам мадам Ростан, ей-богу же, очень миленькие.

Уверяет, что вполне способен признать талант за молодыми, которых ненавидит или презирает.

— Ходит в скромном полутрауре — в платьице в белый горошек, — говорит Ростан о цесарке.

Откровенно говоря, осталась лишь единственная причина любить Ростана: страх, что он скоро умрет.

— Ну, что вы хотите мне сказать?

Так он встретил меня сегодня вечером, даже не предложив сесть.

— Вы непереносимы! — говорю я. — Я остаюсь молодым и оставляю вас с вашей старостью. Всего доброго!

— Давайте порвем! — говорит он.

Глаза у него маленькие, узкие. Он завивает усы. Очень бледный.

— Ростан, нас теперь связывают лишь две-три ниточки, два-три звена, и я их порву.

— Рвите!

И когда, закрывая за собой дверь, слышу его голос: «Это просто невыносимо!» — я оборачиваюсь, говорю ему «до свидания» и что погода прекрасная.

— Желаю хорошо развлекаться, — говорит он мне.

Я весь дрожу, а у него побелели губы. И, возможно, мы оба испытываем горькую усладу, повернувшись друг к другу спиной.

Одним другом меньше, какое это облегчение!

*10 февраля.* «Саломея» Оскара Уайльда. Впечатление сильное. Но не мешало бы кое-где убрать еще несколько голов Иоканаана. Их положительно слишком много. И сколько зря повторенных криков, и сколько поддельной пышности!

\* Зоологический сад. В одной из клеток маленький зверек, который бегаёт взад и вперед с мрачным упорством. Он не уродливый: просто очень смешной. Я-то знаю, на кого он похож, но не смею даже подумать, что это он и есть, и иду за справкой к сторожу.

— Скажите, пожалуйста, мосье, что это за новый зверек? На его клетке нет надписи.

— Вот этот? Подождите-ка, — отвечает сторож. — Не могу припомнить. На прошлой неделе их было двое, и они гонялись друг за другом по траве. Чертово название! Так и вертится на языке.

Он пытается вспомнить. Мы пытаемся вспомнить вместе.

— Знаю! — вдруг восклицает он. — Вспомнил. Так вот, мосье, это собачка.

\* Есть друзья. Нет настоящих друзей.

\* Сегодня вечером ко мне приходила мадам Ростан, и я сразу же сказал ей, что люблю Ростана, как своего младшего, слабого здоровьем, брата, но что лучше нам не видеться, а то дело у нас непременно кончится мордобоем.

Она знает, все знает. Она только что отправила отцу Ростана отчаянное письмо на тридцати страницах. Что делать? Он решил покончить с собой. Твердит, что хочет пойти в священники. Отрешился ото всего и утверждает, что это и есть начало мудрости. Встает с постели и тут же падает в кресло, и не делает ничего, ровно ничего. Когда к нему приходят, он старается навести в своих бумагах живописный беспорядок: а на этих страницах нет ничего, кроме каких-то рисуночков, и то бессмысленных.

К ним приходил известный врач. Ничего определенного не нашел. Неврастения, астения. Ей хотелось бы, чтобы он заболел по-настоящему. Тогда боролись бы за его жизнь. Спасли бы его. Он исцелился бы. Но так он просто похож на мертвеца.

— А нет ли тут какой-нибудь любовной истории?

Она просто мечтала бы об этом, и знай она хоть одну женщину, которая была бы способна вернуть его к жизни, она сама бы бросила ее в объятия Ростана. И бедняжка заливается слезами. Он играет ножами, оружием, бутылками, стаканами. Не выпускает из рук орудий самоубийства.

— Да, — говорю я. — Если бы он умер, поговорить об этом было бы интересно, но вся беда в том, что он еще жив, хотя вряд ли можно назвать это жизнью, и в таком состоянии он

невыносим. Он ведет себя подло в отношении вас, детей, друзей. Было бы лучше, если бы ему пришлось зарабатывать на прокорм семьи.

— Он не стал бы зарабатывать. Мы все умерли бы с голоду, — я-то знаю, как мало у него энергии и как быстро она убывает. Скоро ее вообще не станет. Периоды упадка становятся все чаще и все продолжительнее. А если он и подымается, то прежней высоты не достигает.

Во всем этом нет ни радости, ни философии. Разве что таинственная грусть и беспричинная скорбь.

— Но почему бы ему не превратить все это в литературу, ведь поступали же так Байрон, Мюссе, Ламартин и прочие.

— Но у него нет даже мелкого тщеславия.

Неужели он умрет, а я буду жалеть, что не успел проникнуть в глубь этой прекрасной смятенной души?

Всегда понимаешь все слишком поздно. Ах, горе счастливым!

И ведь только что я, как хронический идиот, требовал себе наследства. Жалел, что у меня нет билета в тысячу франков и т. д. и т. п. Несчастные безумцы, все, все!

И, думая об этих вещах, я не могу ни читать, ни писать. Мне необходимо подняться с места, походить, встряхнуться, дать роздых нервам, которые мучительно натянуты.

*13 февраля.* Куртелин говорит:

— Если нет иного средства заставить замолчать женщину — ее надо бить. Конечно, очень мило заявлять: «Беру шляпу, трость и ухожу!» Но ведь так никогда не бывает. Днем еще куда ни шло. Днем можно встретиться с друзьями в кафе, поболтать, поиграть; ну, а вечером куда

пойти? Прежде всего, я не могу ночевать в этих отелях, где нет стенных часов. Мне хочется знать, который час, и поэтому я не сплю. И я возвращаюсь домой только ради того, чтобы узнать, сколько времени.

\* — Все это выдумки художников, — говорит Жан Вебер, — что натурщицы их не волнуют. Меня, например, натурщицы страшно волнуют, и это стеснительно.

А я, я так застенчив, что даже не поклонился натурщице, и глядел на нее только украдкой, и чувствовал на себе ее взгляд...

Я не буржуа, но ощущаю в себе кое-какие бжуазные добродетели.

\* Любыми путями — к ясности.

\* Трех из наших королей я никак не могу запомнить: Людовика XVIII, Карла X и Луи-Филиппа. Я их путаю. Невозможно в них разобраться. Иногда, с помощью малого Ларусса, я их расставляю по местам, потом опять хаос. Приходится начинать сначала.

*20 февраля.* Обед у Альфонса Алле. Он — богема, всю свою юность, да и зрелые годы провел в кафе и мебелирашках, и вот, наконец-то, обосновался в квартире, идушей за три тысячи пятьсот франков. Там есть ванная комната с горячей водой в любое время суток. Визитерам достаточно только повернуть кран, чтобы получить ожог. Есть повариха, грум Гаэтан, который приносит на подносе письмо и робко докладывает: «Мадам, кушать подано».

— Потрудись не улыбаться, когда ты зовешь нас обедать, — говорит ему Алле.

Квартира обставлена мебелью, которую он купил в Англии, изящной и хрупкой, «чудесно вписавшейся в антураж», говорит Гандийо, са-

дьясь на стул, который зловеще трещит в ответ. Люстр пока нет, и электрические лампочки светятся в пучках омелы. Омела на всех этажах.

И у меня, у меня тоже была бы богатая квартира, и я бы платил за нее три тысячи пятьсот франков! Но нет: у меня была бы лачуга путевого обходчика. И все здесь из Англии: бокалы, солонки, а также суп, ибо он слишком холодный, и бифштекс, ибо слишком пережарен. Есть у них также укус, который почему-то не совсем закис и который выдают за довольно сносное вино.

\* Мимоза среди цветов то же, что канарейка среди птиц.

*29 февраля.* Когда мы живем слишком напряженной жизнью, мы, без сомнения, отбираем какую-то ее часть у других и тем самым урезаем их жизнь.

*2 марта.* Я был бы безнадежным глупцом, если бы не извлекал из жизни всего, что она дает нам каждый миг! Да, если я встречаю кого-нибудь на бульваре, я не спрашиваю его, как он поживает, мне на него плевать, я читаю ему стих, прочитанный мною или услышанный, сообщаю ему мысль, пришедшую в голову мне или другим; и, таким образом, наша встреча не станет обычным обменом банальностями, а превратится в нечто ценное, редкостное, добавит что-то к моей жизни... А ведь могла бы пройти бесследно! Я как бы открыл окно и вдохнул свежего воздуха.

*10 марта.* Моя родина — это там, где проплывают самые прекрасные облака.

*12 марта.* — В ваших «Естественных историях», — говорит Бернар, — есть первоклассные вещи и есть такие, которые мне не нравятся. «Летучие мыши», «Осел» — это великолепно. А

«Гусеница» мне не нравится по тем причинам, по которым она нравится другим.

— В итоге — неплохо.

— Это рукоделье старой девы, удавшееся лишь потому, что вы, Жюль Ренар, искусный работник, но это фальшиво, надуманно, не просто, без души. Вебер мне сказал: «Тебе не нравится «Гусеница» потому, что ты не любишь деревни». Я ответил Веберу: «Я не люблю «Гусеницу» как раз потому, что люблю деревню, а «Гусеница» — кабинетная, каминная безделушка, нечто глубоко противоположное настоящему животному со своей жизнью и своим запахом»...

— В вас, Ренар, сидит священник. Вы еще не забыли первого причастия. Вы за мораль, чистоту, долг.

— Вы правы. Мне осточертели рогоносцы и ваши мудреные сонеты, которыми полна наша литература.

\* Ревность, ссоры в дружбе — насколько это тоньше, чем любовные ссоры.

*18 марта.* Бойтесь образов, которые восходят ко времени Гомера, как бы они ни были прекрасны.

*1 апреля.* Когда он пьет в кафе с какой-нибудь супружеской четой, он всегда платит, чтобы его сочли за любовника.

*8 апреля.* Не нужно смеяться, пока мы остаемся на поверхности вещей, надо сначала войти в них. Смеяться надо изнутри вещей. Проще говоря, я не над всякой политикой смеюсь, потому что возможна и хорошая политика, которой я не знаю, но я смеюсь над политическими деятелями, которых я знаю, и над политикой, которую они делают у меня на глазах. Пусть смех

будет не легкомыслен, а серьезен и глубок, пусть он имеет свою осмысленную философию! Смеяться над слезами может только тот, кто плакал сам. Смешными вещи бывают только время от времени, но ничто не бывает смешным вполне и навсегда.

Нужно смеяться только над прекрасными вещами, которые можно любить. Банальное не вызывает смеха. Прежде чем смеяться над великими людьми, надо научиться их любить всем сердцем.

Смех неуязвим, потому что он смеется и над самим собой, но он умирает сам по себе, если лица вокруг мрачны и задумчивы.

*17 апреля.* Интересно, что делает глаз, прикрытый веком.

\* В пустыне она попросила бы стул, чтобы присесть.

*21 апреля.* Эредиа в одном салоне, торжественно брызгая слюной, воскликнул:

— Но «Афродита» Люиса — просто чудо! После Флобера не было написано ничего подобного. Это лучший роман за последние пятьдесят лет.

Тотчас же Поль Эрвье и Вандерем вышли из комнаты.

— Удивительные люди эти романисты, — сказал Эредиа. — Нельзя при них похвалить ни одного романа.

Но тут кто-то спросил:

— Скажите, Эредиа, а Пьер Люис писал также и стихи?

— О да, но, между нами говоря, напрасно, потому что стихи его — сама посредственность.

*24 апреля.* Катюлю Мендесу: «Иной раз мне



кажется, что вы хлопаете меня по плечу и говорите мне: «Жюль Ренар, вам следовало бы совершить небольшое путешествие на Луну — это вас освежило бы». И я покорно отвечаю: «Неплохая мысль! Но как?» Нет, мы не способны кружить над собою, заглянуть в свое маленькое узкое существование, где временами стоит такой мрак.

После Корнелей и Расинов, великих людей мечты, пришли Лабрюйеры и Ларошфуко, великие люди действительности.

Нам мерзки шарлатаны, фокусники, лжегении, бахвалы и надутые рожи, которые разыгрывают из себя носителей идеала. Великий человек завтрашнего дня, тот, что завладеет всем нашим сердцем, — это писатель, у которого не хватит мужества написать двести страниц, то и дело не отбрасывая перо с воплем:

— Господи, каким дерьмом я занят! Каким дерьмом!

Больше не будет страстных. Будут развлекающиеся предатели. Страстные в любви! Что такое? В какой любви? Только потому, что кто-то спит с женщиной, со всеми женщинами, нужно воздевать к небесам руки? Вы предлагаете нам бесконечные вариации любовных спазм. Но, будь вы прокляты, прочтите же сначала хоть одну мысль Паскаля, и вы повернетесь спиной к самой распрекрасной голой девке. Никогда не поверю, что эта легкая усталость, пусть даже она возникает снова и снова, пока не доведет нас до могилы, содержит нечто в такой уж степени вдохновляющее.

Что касается меня, то если мне предложат написать «Бургграфов» и дадут необходимые силы, я покачаю головой и откажусь. Возвышен-

ное, повторенное дважды, — а ведь вы имеете в виду шедевр, — становится приторным.

Вы убеждены в нашем бессилии и не хотите видеть нашей усталости и ужасной скуки. О, мы будем продолжать писать! Конечно, писать нужно, но наше перо скользит с цветка на цветок, как пресытившаяся пчела.

Когда вы говорите: «Высокие и пустые химеры», — мы не понимаем. Мы с улыбкой качаем головой, потому что знаем все как свои пять пальцев.

Дорогой мэтр, с Гюго, Ламартином и Шатобрианом гений поднялся слишком высоко. Он переломил себе хребет. Теперь он тащится по дороге, как гусь.

Хватит изучать «половые проблемы». Мы обходим ваши любовные пары, которые в иступлении катаются по земле. И так как вы от них неотделимы, мы обходим и вас. Мы вас обогнали. Наша чистота не заслуга, мы целомудренны из отвращения.

Я слышал, как великий поэт, выбравшись из алькова, воскликнул: «Земля и небеса! Мы любили друг друга, как львы!» Почему обязательно лев? Хватит и самого обыкновенного зверька!

А икота пьяного? Адюльтер? Надоевший самому себе жалкий треугольник? Но у меня нет сил вам отвечать.

О, здоровенные, крепкие самцы! Да и наш господин Золя, который не прочь иногда потрепать за ушко молодежь, — разве не советовал он нам удаляться два-три раза в неделю в ржаное поле с юными красотками? Сжальтесь! Пощадите! А то мы умрем со смеху.

Мы уже выше и дальше вас, потому что вы

еще по уши в этой жизни, а мы приближаемся к смерти.

Вы ждете, чтобы кто-нибудь поднялся? Никто не подыметься: так удобно сидеть. А лежать еще лучше. И кроме того, мы слишком много читали любых авторов: и страстных, и скептиков, включая Жюля Леметра, и шутников. Нам знакомы и остроты, легкие, как струя, и философские системы, высокие, как доходные дома. Мы пресыщены до тошноты, до смерти устали, захлебнулись.

А эти маленькие пакости слишком пахучей любви!»

*Май.* Кровь бросилась в голову розам.

\* И главное: никогда не смешивать печаль со скукой.

\* Путешествие в Шитри. То радость, то печаль в лад с биением сердца, а оно только и делает, что сжимается или расширяется.

И сколько здесь дремлет древней истории.

Поглядеть сначала на эти деревушки, разбросанные на большом расстоянии друг от друга, а потом увидеть их как на карте, где они зябко жмутся друг к дружке.

Все, что жили здесь, родились не в одно время со мной. И мертвые говорят мне: «Торопись жить».

Самое забавное, что в каждой из этих маленьких деревушек жили в средние века по два-три мастера. А в наши дни не найдешь ни одного столяра, способного вырезать голову Республики.

\* Заголовок для книги: «Блохи наших великих людей».

\* Не воображай, что есть непризнанные великие люди.

26 мая. ...Торговля. В лавках Корбиньи ни души, за исключением ярмарочных дней. Есть там только колокольчик, но и он спит. Если его разбудить — он взвизгнет. Из задней комнаты, где дверь открывается в садик, выглядывает чья-то физиономия с разинутым ртом и удивленными глазами. И владелец — мужчина или женщина — не решается выйти. Да кто я такой? Кому это пришло в голову являться беспокоить людей среди недели?

Выйдя замуж, женщина блекнет. Исчезает былая миловидность, кокетство. Она уже не следит за своей наружностью. Одевается именно так, как нужно, чтобы сидеть в комнате за лавкой. Иной раз еще у них сохраняется самое лучшее — зубы, блестящие белые зубы. Одна из них, очень хорошенькая, за четыре года растеряла всю свою привлекательность. Остались лишь волосы, которые упорно продолжают виться.

И товар суют в руки, не заворачивая в бумагу.

— Я не умею заворачивать, — призналась мне хозяйка посудной лавки.

А что вы умеете делать, уважаемая?

\* Жизнь коротка, но как это длинно — от рождения до смерти.

\* На огромном гвозде висят крошечные вещички.

\* Даже выходя из вагона, она была совсем свежая. Она путешествовала, как цветок в корзинке.

\* Папе Лев Толстой известен как социалист, а Лоран Тайад — как анархист с бомбой.

\* Утром, по моем возвращении в деревню, меня приветствовали своей песней жаворонки, которые искрились в воздухе, как огоньки высоких свечей.

\* Совершенно ясно, я ничего не умею делать по вдохновению, силою чистого таланта. Чтобы добиться результата, мне приходится крепко работать, держать себя в руках и быть упорным. Я расплачиваюсь за самую невинную слабость. Нужно запретить себе всякую порывистость, экспромты и шик.

\* И эти долгие дни, когда можно успеть написать всю книгу от начала до конца.

*Июнь.* Эгоист? Безусловно, моя собственная жизнь интересует меня больше, чем жизнь Юлия Цезаря, и соприкасается она со множеством других жизней, как поле, окруженное полями.

\* Подбавь себе в кровь воды.

\* Очевидно, я старею. Встретил вчера Раймона. Когда-то мы с ним вместе играли. Это же развалина! Тоший, сгорбленный, руки у него покрыты какой-то корой, зубы черные, взгляд потухший. Просто старик...

Конечно, говорить легко! Но ведь это изматывает: работать с пяти утра до семи вечера и не есть, чего хотелось бы. Очень мило каждый день есть салат и творог. Сии блюда плюс воздух, здоровый деревенский воздух, — все это и убивает человека в тридцатилетнем возрасте.

А я каждую неделю ищу перед зеркалом седые волосы!

\* Иголка в руках портнихи клюет хлопотливо, как курица.

\* В моей натуре есть запас грубости, что позволяет мне понимать крестьян и глубоко проникать в их жизнь.

*6 июня.* Почему я чувствую себя здесь как в ссылке? Что я здесь делаю?

*9 июня.* Ветер невидимой рукой проводит по листьям.

*11 июня.* Какое зрелище — старик крестьянин нагишом.

\* Я чувствую себя ужасно печальным, как деревенский Верлен.

*16 июня.* Утверждаю, что описание длиннее десяти строк не дает зримого образа.

\* О, разбудить все эти погруженные в сон деревни!

*Июль.* В тени 25 градусов жары, и Филипп, который на самом солнцепеке возит на тачке песок, говорит мне:

— Ей-богу, славненько, тепло!

У него есть, конечно, соломенная шляпа, но так как он встает до зари, он из-за утренней свежести вечно забывает ее надевать.

*9 июля.* Я хотел бы сделать хоть шагок к живой литературе, к жизни в литературе.

\* Рыжий стиль. Если бы литературные произведения могли иметь цвет, я представляю себе: мой был бы рыжий.

\* Тучи, тучи, куда вы бежите? Здесь так хорошо!

\* Рот немного наискось, словно вишня, свисающая с уха.

\* Я не совсем точно знаю, где родился, и это мне немножко мешает. У меня вечно такой вид, как будто я ищу свои корни.

*14 июля.* ...Я создан лишь для того, чтобы слушать и смотреть, как живет земля.

\* Утка — это домашний пингвин.

\* Подбавь немножко луны к твоим писаниям.

\* Соломенная шляпа — от луны.

\* Мне хотелось бы быть одним из тех великих людей, которым было почти нечего сказать и которые высказали это малое в немногих словах.

18 июля. Умер Гонкур. Жалею, что не ходил к нему чаще: был всего только два раза за всю свою жизнь. Думал, что он мог иметь в виду меня, поскольку считал талантливым. Спрашивал себя, отказался бы я или нет, говорил себе, что отказался бы, ибо, по здравому размышлению, не смел надеяться. Радовался, узнав, что завешание может быть опротестовано, что его, быть может, и вовсе нет. И я жду депеши от какого-то друга, жду известия, что я упомянут в завещании. То и дело спрашиваю себя, кто еще. Тот слишком богат, этот, ей-богу, слишком уж неталантлив. Шажу одного лишь Рони. Потом говорю себе, что если мне, неисправимому лентяю, свалится на голову четыре тысячи франков ренты, — это будет просто несправедливо. Постепенно возвращаюсь к более высоким материям. Очень великий и очень бедный — вот идеал.

\* Вопреки тому, что сказано в Нагорной проповеди: если тебя мучит жажда справедливости, тебе никогда не утолить ее.

\* Меня не хватает надолго, — я читаю отрывками, отрывками пишу. Но уверен, что такова участь истинного художника.

Я замечаю смешное в своих поступках лишь много времени спустя. Мои наблюдения не одновременны с течением моей жизни. Возвращаюсь мыслью к подробностям лишь впоследствии.

\* Слава стала чем-то вроде колониального товара.

*Август.* Нет! Не то. Я все еще излишне остроумен.

\* Два петуха дерутся насмерть из-за того, что одновременно закукарекали.

\* Маргаритка: круглый ротик, в котором со всех сторон торчат зубы.

\* Каждый день пиши по странице; но если ты почувствуешь, что она плоха, — остановись. Конечно, жаль, день будет потерян, но лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо.

\* Я люблю театр, — не профессиональных драматургов, а любителей, таких, как Мюссе, Банвиль, Готье. Театру профессионалов — Сарду, Ожье, Дюма — предпочитаю собственную постель.

\* О Верлене... Мы пришли в кафе Сен-Мишель. Хозяйка, которая хорошо знала Верлена, наблюдала за нами насмешливым взглядом. Он много говорил о Расине и ни слова не сказал о Мореасе. Все лицо его собиралось в мелкие складочки.

Всегда смешивают человека и художника под тем предлогом, что случайно они живут в одном теле. Лафонтен писал женщинам бесстыдные письма, что не мешает нам восхищаться им. Это очень просто: у Верлена гениальность божества и сердце свиньи... Но я, скромный читатель в толпе, я знаю только бессмертного поэта. Любить его — для меня счастье. Мой долг простить ему то зло, что он причинил другим...

*14 августа.* В минуты самых живых наших радостей мы резервируем в душе печальный уголок. Это наше убежище на случай внезапной тревоги.

*17 августа.* Мне не хватает лишь одного — вкуса к непонятному, туманному.

*Сентябрь.* Река. Ростник — как штыки затонувшего воинства. Ноздреватые берега, где солнце набирается влаги. Три луча расходятся веером.



\* Буря. Деревья кружатся на своей единственной ноге, размахивая в воздухе руками, как солдаты, сраженные пулей в сердце. Домишки приседают, вздрагивая как корабли на якоре. Флюгер растерянно вертится во все стороны. Такое состояние духа, что единственным удовольствием было бы шагнуть в грозу по лугам. Падают с веток груши. Водой вымывает из земли картофелины. Тополя, с отброшенными набок листьями, зачесывают свои кудри на висок.

\* Заяц. Легчайший шорох падающего листа выводит его из себя. Он начинает нервничать, совсем как мы, когда до нашего слуха доносится скрип стула.

«Буколики». Животные умеют драться спокойно. Два рассвирепевших барана стучаются лбами, принимают за еду, потом снова, на этот раз уже бесстрастно, бросаются друг на друга.

То же самое и петухи.

\* Тот грустный час, когда писатель ищет себе мэтра.

*15 октября.* А ваша бабушка все еще мертва, не правда ли? Я ведь не ошибся?

*18 октября.* «Рыжик», которого я утаил.

Будь я великим писателем, я сумел бы рассказать о нем словами столь точными, что они не показались бы чересчур грубыми.

Мы неумело прикасались губами к губам. Она тоже, как и я, не знала, что в поцелуе может участвовать язык. Поэтому мы довольствовались невыразительным чмоканьем в щеку и в ягодицы. Я щекотал ей зад соломинкой. Потом она меня бросила. Кажется, ее уход не огорчил меня, не помню. Вероятно, наш разрыв был для меня облегчением; уже тогда я не любил жить

реальностью: я предпочитал жить воспоминаниями.

У мадам Лепик была настоящая мания мента ссориться у меня на глазах. Завязывая тесьму на груди, она подымала руки, вытягивала шею. Греясь перед камином, подымала юбки выше колен. Я невольно видел ее ляжки; зевая или просто охватив голову руками, она покачивалась на стуле. Моя мать, о которой я не могу говорить без ужаса, воспламеняла мое воображение.

И этот пламень остался в моих жилах. Днем он спит, ночью просыпается, и мне видятся страшные сны. В присутствии мосье Лепика, читающего газету и даже не глядящего в нашу сторону, я овладеваю своей матерью, она сама открывает мне объятия, и я возвращаюсь в лоно, из которого вышел. Голова моя исчезает у нее во рту. До ужаса сладостное чувство. И какое мучительное пробуждение, и каким грустным буду я весь день! Сразу же после этого мы становимся врагами. Теперь я сильнее. Этими самыми руками, которые страстно обвивались вокруг нее, я бросаю ее на землю; топчу, бросаю лицом вниз, чтобы размозжить о кухонный пол.

Мой отец, ничего не замечая, продолжает читать газету.

Клянусь, если бы я знал, что мне снова приснится такой сон, я не стал бы ложиться, не заснул бы, а убежал бы из дома. Я бродил бы до самой зари, но не упал бы от усталости, страх не дал бы мне упасть и гнал бы вперед, взмокшего от пота. Смешное в трагическом: моя жена и дети зовут меня Рыжиком.

*21 октября.* В веялке осталось одно лишь зернышко, похожее на жемчужину в раковине.

\* Иной раз мне кажется, что я касаюсь жизни пальцами.

*22 октября.* «Моя душа». Э, нет, нет! Я не люблю жену, не люблю детей. Люблю лишь самого себя. Иногда я задаю себе вопрос: «А что я почувствую, если они умрут?» И я не чувствую ничего, по крайней мере заранее, — ничего, ровно ничего.

*28 октября.* «Моя душа». Чувствую, что становлюсь все более и более художником и все менее и менее умным. Некоторые вещи, которые я раньше понимал, я теперь совсем не понимаю, и на каждом шагу меня волнуют вещи, для меня новые.

*1 ноября.* «Моя душа». Меня объявили наблюдателем. А ничто мне так не докучает, как наблюдать. Я стесняюсь смотреть. Каждое новое знакомство меня страшит. Если бы мне сказали: «Идите направо и вы встретите там великолепный человеческий тип», — я в жизни не свернул бы со своего пути. Я переживаю уже виденное, но не ищу его.

*3 ноября.* Стихи, стихи, и хоть бы строчка поэзии!

*7 ноября.* Почитатели. Случается, что вас открывает какой-нибудь критик из провинции и вдруг приходит в восхищение. Он пишет о вас первую статью в местной газете. Вы шлете ему благодарственное письмо по всей форме: «Ах, если бы в Париже было побольше таких критиков, как вы, не приходилось бы ждать славы годами и т. д. и т. п.». Он тут же решает вас прославить, искупить людскую несправедливость. Он просит у вас: 1) вашу фотографию, 2) вашу биографию, 3) полное собрание ваших сочинений, 4) что-нибудь еще не опубликован-

ное. Все это появится в одном крупном международном журнале, с которым он связан.

И он очень удивляется, не получая от вас ответа.

*9 ноября.* Заметки, которые я делаю ежедневно, — это как бы выкидыши, счастливо избавляющие меня от того скверного, что я мог бы написать.

\* Если бы все мои почитатели покупали мои книги, у меня было бы меньше почитателей.

*12 ноября.* В театре «Эвр» Пер-Гюнт. Но в отчаянии — собирается кончать самоубийством. Только не здесь, ради бога! Подождите, пока я уйду. Плох ли он или хорош, наш французский дух, но он все-таки существует. Кто из нас имел бы мужество, — если бы, конечно, мог, — писать такие пьесы, как Ибсен?

Музыка: когда начинают играть очень громко или очень тихо, публика аплодирует. Сколько же еще дураков в музыке!

Какой-то господин в ярости от этих рукоплесканий: «Нет уж, хватит, нет! Чему вы аплодируете?»

Нам ведь тоже иной раз приходит мысль написать нашего «Фауста», но мы удерживаемся. Северяне не удерживаются и превращают дюжинного буржуа в пленника, опьяненного свободой.

Эрнст Лаженес сидит выпрямившись, чтобы заставить всех глядеть на него. Он чувствует, что кто-то из заднего ряда рисует его, и старается не шевелиться: старается повыигрышнее повернуться в профиль.

И я тоже думаю, что на меня глядят. И любовницы наших великих критиков, и все женщины в ложах считают, что на них глядят.

Бедняжки! Если бы слава стала всеобщей и столь же разлитой, как воздух, ее все равно не хватило бы на нас всех.

Французский дух любит великое, но он хочет ясно видеть, к чему клонят. Он доделывает шедевры.

\* О, пусть гений даст мне толчок, даже рискуя разбить мне голову.

\* Именно ценою своих страхов я произвожу на людей впечатление полнейшего благополучия.

*16 ноября.* Верлен. Прочел его письма, опубликованные в «Ревю Бланш» в № 83. Его стиль: распад, осыпь листьев с гниющего дерева.

\* Ученый — это человек, который в чем-то почти уверен.

*17 ноября.* Веселый автор. Я хорошо потрудился, и я доволен своей работой. Кладу перо, потому что уже темнеет.

Мечты в сумерках. Моя жена и дети сидят в соседней комнате, жизнерадостные, веселые. Я здоров, у меня есть успех, денег не слишком много, но достаточно.

Боже, до чего же я все-таки несчастлив.

*20 ноября.* Мне, мне менять что-либо в стиле Лафонтена, Лабрюйера, Мольера! Дураков нет!

\* М е й е р: У меня болит колено.

К а п ю с: Должно быть, мигрень.

*28 ноября.* Встретив сумасшедшего, который думает одинаково со мной, я говорю близким:

— Вот видите! Значит, я не сумасшедший.

*1 декабря.* Я в отчаянии: я не могу больше плохо писать.

\* Дело не в том, чтобы писать по-новому. Дело в том, чтобы написать маленькую брошюр-

ку в пять-шесть страниц и возвестить с криком и руганью, что отныне пишешь по-новому.

\* Не желаю писать критических статей. На каждом шагу я рискую задеть авторов, которые восхищаются мною, хотя я об этом не знаю.

*8 декабря.* Хмурая, дождливая погода, когда хорошо сидеть только на кухне. Поленья, которые занялись лишь посередке, а по краям у них выступают пузырьки пены. Шероховатые балки, угол двери обгрызен мышами. Котел висит, как остановившийся маятник, тряпки грязные, но не сухие, у чугунного котелка одна лишняя ручка, будильник стучит, как задышающееся сердце, разливательная ложка блестит, как митра епископа. Гвозди, с умом вбитые в стену, стол на некрашенных ногах. Щипцы — одни сплошные ножки, лопата, которой приходится жить вниз головой. Корзинка, раздувшаяся на манер кринолина, метелка, похожая на подрумяненную бороду рыжего человека. Глиняная миска, розовая, как мордочка теленка. Мыло как кирпич.

*10 декабря.* ... Да, да, покончим с этим: Сара — это гений.

Она распрямляет меня, как молния.

Представьте себе тупейшего из людей. У него нет таланта. Он это знает и покорился, но иногда подымает голос и говорит с блеском в глазах: «О, если бы Сара пожелала прочитать хоть строчку моих стихов! Завтра я стал бы знаменит. Сара — это гений».

Представьте себе уродливейшего из людей. Ни одна женщина его не полюбит. Он это знает и покорился, но иногда мечтает: «О, если бы я мог жить возле Сары, где-нибудь в уголке. Я бы считал себя самым любимым. Я бы ничего не

просил у других женщин. Другие — это очень мило, очень хорошо, но Сара — это гений».

В толпе, ожидающей вас у выхода из театра, есть богачи, которые ценны только тем, что восхищаются вами, и есть несчастные, которые равны великим мира сего, потому что они видят, как проходит Сара. И есть, быть может, преступник, человек, от которого отступились все, который, быть может, и сам от себя отступился и которого арестуют, как только вы, Сара, пройдете. Но он говорит себе: «Теперь мне безразлична смерть. Перед тем как умереть, я видел Сару. О, Сара — вы гений...»

И каждый вечер есть счастливец, который видит Сару в первый раз.

*12 декабря.* Андре Терье, подлинно посредственный поэт, немало пошагал по Природе, но предварительно завязал себе глаза носовым платком.

\* Какая картина для художника: на морском дне — кладбище затонувших кораблей.

*13 декабря.* Не могу больше перечитывать своих книг, потому что чувствую, что буду еще вычеркивать и вычеркивать.

\* Дерево раскрывает свои ветви, оно все в крыльях — сверху донизу.

\* Тем, которые мне говорят: «Напишите роман», — я отвечаю, что не пишу романов. То, что я создаю, я предлагаю вам в своих книгах. Это годовой урожай, ваше дело сказать, хорош он или плох, но только не говорите, что вы предпочли бы нечто другое.

\* У нас не одинаковые мысли, у нас мысли одного цвета.

\* Ну и хорош этот бог: открыл нам такие пространства, а крыльев не дал!

\* От птичьих лапок остаются на снегу веточки сирени.

*16 декабря.* Моя нравственность мне столь же необходима, как и мой скелет.

\* По одному знаку Сары Бернар я пойду с ней на край света, вместе с моей женой...

\* Руссо. Читая его, я дремлю и мне хочется уничтожить в своих книгах то, что в нем наводит на меня дремоту.

*17 декабря.* Утро такое серое, что птицы снова устраиваются на ночлег.

*19 декабря.* Крепкий сон — как бы репетиция смерти.

*22 декабря.* А я-то считал, что изобрел специально для своего «Паразита» прерывистый диалог, и вот обнаруживаю его в книгах мадам де Сегюр.

*25 декабря.* Стонать надо, но ритмически.

*27 декабря.* Если ты потерял целый день, скажи об этом вслух, и он уже не будет потерянным.

*28 декабря.* Люди, которые во всеуслышание заявляют, что они пресыщены, ничего не испытали: способность восприятия не изнашивается.

\* На земле нет рая. Разве что кусочки его, разбросанные по свету.

\* Дабы облегчить труд читателя, я готов отныне в каждой моей фразе подчеркивать самые важные слова.

*30 декабря.* Предвестники зимы. Все эти листья, которые каждый вечер сгребают граблями. «А на следующий день все приходится начинать сызнова», — сердито говорит садовник. Деревянный петух на колокольне упрямо глядит на север. Погода такая скверная, что нельзя копать картофель.



Сегодня уже стоят голыми те деревни, которые вчера прятались за несколькими жалкими листочками. Один опавший лист открывает весь горизонт.

\* — Вы сломали свою палку о его голову.

— Ну, уж вы скажете! У меня в палку вставлен металлический прут.

\* Он проделал всю кампанию семидесятого года в качестве поставщика.

\* Он дожил бы до ста лет, как и все те, кто умирает в двадцать.

\* Упал так несчастливо, что колесо фортуны проехалось по его хребту.

\* Живописцы могут, по крайней мере, всегда сослаться на неудачное освещение.

\* Я натуралист потому, что люблю натуру, природу; но ведь небеса тоже природа.

\* Построить голубятню вокруг голубя.

\* Книги исчезли так загадочно, как будто сам автор, считая нас недостойными читать его произведения, отобрал их у нас обратно.

\* Жирная добродушная женщина, которая жирно целуется, точно наклеивает почтовые марки.

\* Гроза: мы все счастливо избежали ее. Но нет, не все. Трех ласточек загнало ветром и дождем в каминную трубу. И вот они изжарились. Три ласточки, три живых существа, трижды я.

\* — Верно, Филипп, вы питаетесь не так хорошо, как я, но подумайте, если бы вам пришлось переваривать все, что перевариваю я.

\* Стены провинциальных домов сочатся злобой.

\* Подлинное небо то, которое мы видим отраженным в воде.



Жюль Ренар

\* Воинский сбор. Сент-Бенен д'Ази. Новые названия улиц, местные жители так их и не читают. У меня отбирают мою подушку. Скука, скука... я согласился бы даже читать статьи Клемансо, Жана Лоррена. Вымокшие, изнуренные солдаты, вместо того чтобы спать на своей соломе, имеют еще мужество гулять по улицам до вечера.

Шатийон-ан-Базау. В замке, в комнате для прислуги... Какой-то крестьянин сказал мне: «На вид вы очень старый». И удивился, что у меня нет нашивок за первый срок службы. Сегодня утром меня привлек огонь, ярко пылавший на ферме. Хозяйка с великолепными глазами и пышным бюстом дала мне чашку кофе и супу в оловянной миске, из каких едят батраки. Впрочем, это понятно, сейчас мне и положено быть с ними. Все они со мной вступают в беседу. Им запрещено разговаривать только с офицерами. Так как из моего окошка видны чудесные деревья, я нахожу всех очень милыми. И без конца благодарю.

— Вас позовут, сержант, когда вы понадобится.

— Спасибо, господин лейтенант.

Сегодня утром я прошел вдоль нашей колонны. Я отдавал честь офицерам, и почти все они отвечали на мое приветствие с каким-то презрением. Наконец я заметил, что две пуговицы у меня не застегнуты.

Я люблю все, вплоть до пения сороки. О, эта потеря чувства самого себя. Достаточно солнца и деревьев, и я забываю жену и детей.

Они орут на солдат — солдаты ведь служат только родине, но они приторно любезны с денщиками, которые чистят им платье.

Я боюсь этого слуги: он наверняка предложит мне стаканчик вина.

Единственное решение всех моральных проблем — это покорная печаль. Да, мой дражайший глупец. Вообрази себе, что эта молодая дама в трауре, прогуливающаяся по аллеям парка, прочла твоего «Рыжика». Вообрази, будто она любит автора. Вообрази, будто шагающий с ней рядом лейтенант говорит: «Это Жюль Ренар, наш связной велосипедист, он пишет в газетах». Вообрази, будто, услышав твое имя, она испытывает огромную радость, велит позвать тебя, бросает ради тебя своего лейтенанта. Твое сердце бьется. Ты с трудом удерживаешься, чтобы не выпрыгнуть из окошка.

И, дражайший мой глупец, ты сейчас повезешь на велосипеде приказ командира бригады полковнику 13-го полка, но воображаемая тобой сценка делает тебя счастливым. Лейтенант сам воспользуется дамой и поостережется назвать ей твое имя. Да какое имя-то?

— А ваш велосипедист грамотный? — спрашивает капитан.

Другие, впрочем, уже знали меня наизусть и сейчас же стали называть: мосье Ришар.

Треск выстрелов, словно ломают связку хвоста.

\* Меня провожали на воинский сбор криками: «На Берлин! На Берлин!»

\* Мучиться от одиночества и искать его...

---

## 1897

*1 января.* Сегодня в сумерках мне вдруг запало в голову написать себе в подарок к Новому году книгу под названием, которое мне очень нравится: «Привычки, вкусы, мысли тридцатилетнего». Уверен, что получилась бы прекрасная и нужная книга, которая прославила бы меня.

Но, во-первых, мне уже не тридцать лет. Мне почти тридцать три, но я настаиваю на этом названии и не думаю, чтобы за три года я так далеко ушел вперед.

Ни под каким предлогом я лгать не буду.

Я задаю себе вопрос: что я люблю? Что я собой представляю? Чего я хочу? И я отвечу со всей искренностью, ибо прежде всего я хочу стать ясным себе самому. Я не считаю себя ни человеком низким, ни наивным. И в самом деле, я буду разглядывать себя в лупу.

У меня нет другой потребности, кроме как говорить правду. Полагаю, что никто никогда ее не говорил, не исключая великих. Хорошо ли говорить правду — не важно.

Будет ли правда интересной, увлекательной, ободряющей? Вот уж действительно все равно! Будет ли она полезна? Какое мне дело! Только не воображайте, что, обозвав меня эгоистом, вы

нанесете мне оскорбление! Вы, чего доброго, упрекнете меня в том, что я дышу. Если бы я был знаком с Юлием Цезарем, стал бы я рассказывать о его жизни, а не о своей? Нет, не думаю, или же я сделал бы из него столь же мелкий персонаж, как и я сам. Не желаю себя возвеличивать. Я крепко держу себя в руках и не выпущу, пока не распознаю до конца.

Уж не воображаю ли я себя оригиналом? Мне интересно знать, что такое человек, похожий на всех прочих.

...Другие играют сами с собой. Я устремляю на себя серьезный взгляд, и мне вовсе не хочется смеяться. Но я сумасшедший. Я люблю порядок, и мне не так-то просто подсунуть фальшивую монету.

Если мне случается улизнуть от себя, я вижу себя смутно, кладу перо и жду.

— Вы просто близоруки.

— У меня такое зрение, какое мне дала мать. Тут я бессилён.

— Но вы предложите вашу книгу издателю?

— Да, когда я ее кончу, но пока я не напишу слово «Конец», я не буду думать ни об издателях, ни о деньгах, ни об успехе.

Я не отрекаюсь от честолюбия. Этот огонь горит во мне, тлеет и все-таки не гаснет.

Человеку, влюбленному в правду, нет нужды быть поэтом или великим. Без всяких усилий со своей стороны он и поэт и велик.

Но хватит ли мне — не мужества (мужества хватит!), а каждодневного терпения?

\* Тридцатилетний человек. Не то чтобы я считал этот портрет окончательным. Надеюсь, что в шестьдесят я буду совсем иным и начну писать портрет заново...

Не следует давать физического портрета. Вспышки чего угодно: доброты, таланта, скромности, героизма, жертвенности, и ничего постоянного, кроме подспудного эгоизма.

Не хочу себя ни чернить, ни обелять.

Нет ничего более жгучего, чем то хладнокровие, с каким я пишу эти строки.

У меня хватает мужества выставить себя голого и смотреть в упор, но я отнюдь не красавец и стараюсь глядеть на себя без удовольствия.

Пусть моя книжечка будет руководством для молодых людей, которые ищут себя ощупью! Я даю им идею и метод.

*3 января.* — Я сейчас видел падающую звезду, — говорит Филлип. — Она упала в том конце сада.

\* Писать для детей охотничьи рассказы, от имени зайца.

*4 января.* Завтрак у Ростана. Так как я заметил Бауэру, что мне противны те, кто выступает против мэтров, а прислугу выгоняет, предупредив ее всего за три дня, Бауэр, почуяв намек, возразил, что, не имея широких взглядов, я смешиваю две совершенно различные вещи: жизнь и идеи, что достаточно соблюдать последовательность в идеях и незачем стремиться привести свою жизнь в согласие с идеями. Оно и видно, этим он мне и противен.

\* Обозрел всю современную литературу. Вывод — ни одного писателя, которого стоило бы знать.

*6 января.* Я не особенно люблю Сару Бернар в ролях трагедии: эти букли, круглое лицо... Но, мадам, в пятом действии «Лорензаччо» вы были подлинной царицей иронии, и вы всякий раз

преподаете вашему Жюлю Ренару хороший урок, который идет ему на пользу. Я искал у Рыжика вшей, а теперь мне хочется искать звезды.

*8 января.* Столь же ревнивый в восхищении, как в любви. Если ты не считаешь, что я умею восхищаться тобою лучше, чем все прочие, я вообще перестану тобой восхищаться.

\* Смех Плавта. В нем есть что-то деланное, нервное, не совсем искреннее; таков часто и смех Мольера, какой-то особый смех, искусственный, вымученный, запутывающий следы. Он рождает в нас ответный смех — фальшивый, с подвизгиванием.

*9 января.* «Друзья Верлена просят вас присутствовать на мессе, которая будет отслужена за упокой его души в годовщину смерти 15 января 1897 года в церкви св. Клотильды, в часовне Пречистой Девы, ровно в десять часов, аббатом Мюнье, первым викарием».

Кажется, сказано ясно, а я не понимаю.

Если бы мы умели молиться, позволительно было бы вступить перед богом за Верлена. Но какая нелепая мысль — заставить молиться таких верующих, как мы, за такую душу, как душа Верлена.

— Говорите о себе!

— Ах, оставьте меня в покое!

\* Подняв воротники пальто, они воображают, что сидят в своей башне из слоновой кости.

*13 января.* Обед у Мюльфельда. Так как присутствующие дивятся и пугаются преждевременной зрелости молодых (см. сегодняшний номер «Эко де Пари», где помещен манифест «натуристов» за подписью господ Буэлье, Поля Фора, Андре Жида, Мориса Леблона и Фернана Вандерема), мосье Ванор говорит:



— Талант этих молодых — нечто вроде подражания любителей игре актеров. Может обмануть и ошеломить, но дайте настоящую роль этим подражателям, и ничего не получится. Начинают они как великие революционеры в искусстве, а потом мирно занимаются своей медициной.

\* Как жаль, что, очутившись в свете, я цепенею, забочусь лишь о том, какое произвожу впечатление, вместо того чтобы наблюдать.

\* Мне вечно говорят: «Вот у меня есть дядя, он вам такое сможет рассказать!» — «Я должен познакомить вас с моим кузенком, занятный тип!» Они предлагают мне всех членов своей семьи. А по мне, интереснее обыкновенная корзинка.

*15 января.* Я просто болен желанием попасть на Луну.

*19 января.* Брет Гарт: Калифорнийские рассказы. Лучший из тех, что я прочел: «Счастье ревущего стана». Это как бы Эдгар По для семейного чтения. Очень неплохо. Но в нем слишком высоко ценят малейшие достоинства, как, впрочем, во всех иностранцах.

*21 января.* «Буколики». Издали я умиляюсь судьбе дядюшки Буссара, вблизи он внушает мне отвращение, как нищий богачу. Я стараюсь его избегать. Счастье еще, что у нас в Шомо нет прокаженных! Никогда бы я не смог, по примеру Франциска Ассизского, лобызать их язвы.

*22 января.* ...У меня больше данных быть святым, нежели донжуаном. Моя жизнь, серьезность моей души, мои притязания, мысли — все это приближает меня к святому; но я прекрасно сознаю, что только чудо может сделать

меня святым. Я завишу от любой шлюхи, и это меня пугает.

Вы считаете меня суетным, ибо я говорю, что талантлив. Но что с того, что у меня есть талант. Гениальность — вот что требуется; и как раз из скромности я отчаиваюсь, что не гениален.

Я как дом, который, не имея возможности переменить место, широко распахивает окна, чтобы впустить неведомое; но оно не желает входить, а дом теряет свою прежнюю интимность.

*23 января.* Я ничего о нем не знаю, и я люблю его как брата, ибо в первый же раз, когда я его увидел, даже раньше, чем он обратился ко мне со словами, я услышал крик его таланта.

*25 января.* Темный угол, где спят, свернувшись клубком, наши сокровенные чувства.

*26 января.* Широта ума, узость сердца.

*28 января.* Валери чудесный собеседник. По дороге от «Кафе де ла Пэ» до редакции «Меркюр де Франс» он успевает расточить поразительные интеллектуальные богатства, целые состояния. Он все сводит к математике. Ему хотелось бы создать для литераторов особую логарифмическую таблицу. Поэтому он так интересуется Стефаном Малларме. Ищет у него точный синтаксис. Ему бы хотелось установить происхождение каждой фразы, как это делают со словами. Он презирает интеллект. По его словам, сила имеет право арестовать разум и втолкнуть его в тюрьму. Излишний ум противен.

\* — В нашем краю, в Лангедоке, — сказал мне Робер де Флер, — крестьяне, завещая свое добро, говорят так: «Вот это — Пьеру, это — Полю. А себе я оставляю пятьсот франков». Другими

словами, на пятьсот франков по нем будут служить мессу.

Каждый год там избирают нового Иисуса Христа. Первого попавшегося, но в течение целого года все жители обязаны ему поклоняться.

\* Запомни, только тогда ты сделаешь действительные успехи, когда потеряешь охоту доказывать, что ты талантлив.

*7 февраля.* Офицер. Только потому, что в его распоряжении имеется рота солдат, он воображает, что держит в руках судьбы людей.

\* Остерегайся приятного чувства, наступающего после работы: оно мешает продолжать.

*10 февраля.* Барбюс, который после появления своего сборника «Плакальщицы» вскинул голову, как Ламартин, сообщает мне, что сотрудничает в «Эко де Пари». Он ведает разделом знаменательных дат. Он перелопатил весь справочник Боттена. Собрал рукописей на год вперед. Время от времени предлагает им свои темы.

— Какой же вы высокий! — говорю я ему. — К счастью, мне вы оставляете тротуар. Так мне легче говорить с вами.

Суза́, Моклэр добиваются своего, оба ищут хоть дырочку, хоть маленький уголок и при очередном отказе соглашаются, чтобы уголок был еще меньше.

У Барбюса сохранились еще кое-какие иллюзии насчет «Театр Франсэ». Он написал одноактную пьесу в стихах, которую порекомендует Мендес.

— Если пьесу примут, вам придется ждать три года, — говорю я ему. — Пусть лучше ее сыграют в любом театре, лишь бы сразу.

— Но тогда не будет такого резонанса.

\* «Буколики». Тут и там отдельные травинки зеленее остальных, как будто под воздействием сильного душевного волнения.

*24 февраля.* — Виктор Гюго написал «Рюи Бласа» в девятнадцать дней, — говорил Бернар.

— Да, но он не написал бы и одной главы «Характеров».

В этом разница между прекрасным, даже высоким, и тем, что совершенно. Совершенное всегда в какой-то мере посредственно.

*7 марта.* Вчера вечером слушал, как Ростан читал свою «Самаритянку». Великолепный чтец. Стихи миленькие-миленькие. Самаритянка весьма самобытна, а Иисус Христос напоминает фигуру Христа у Виктора Гюго в «Конце Сатаны». Я, не насилуя себя, говорю Ростану, что он великий поэт, подобно Мюссе, Готье, Банвилю, что он сильнее всех современных поэтов и я хотел бы быть в прозе таким, каков он в поэзии. Словом, я восхищаюсь с полной гарантией и уверен, что не ошибся. Иной раз, восхищаясь, делаешь над собой усилие, и оно близко к сомнениям. Ростан, немного бледный, говорит: «Да, получилось забавно!» И вид у него счастливый.

— Я предпочитаю «Сирано де Бержерака», которого сейчас пишу, — говорит он.

Еще бы!

*26 марта.* Быть Пастером в литературе.

*2 апреля.* Они не угадывали во мне эмоциональную сторону. «Паразит», «Рыжик» были для них просто жестокими. Понадобилась «Радость разрыва», то есть эмоции, выставленные напоказ.

*3 апреля.* Еще несколько лет, и я буду полон иллюзий.

*8 апреля.* Конечно, всем им хотелось бы быть гениями, но они предпочитают зарабатывать свои пятьсот франков в месяц.

\* Надо быть точным беспредельно. До романтизма.

*9 апреля.* Елки в лесу стоят в стороне, кучкой, как попы.

*10 апреля.* Вчера вечером у госпожи де Луан сеанс рентгена.

...Сара Бернар прикрывает свои маленькие, как у ламы, глаза и делает вид, что не замечает меня. Решительно, эта великая артистка становится мне несносна, как и все общество. Я даже господа бога мог бы полюбить только при условии, что он будет скромным и простым. И потом, она слишком наслаждается жизнью, чтобы иметь время почувствовать что-нибудь или поразмыслить. Она глотает жизнь. Какое неприятное обжорство!

Рентгеновские лучи — детская забава. Похоже на примитивные химические опыты моего преподавателя Ратисбона. Куда им до солнечных лучей! За экран ставят ящики, руки, чучела животных, живую собачонку, голову, человеческую грудь. Лучше всего видны пуговицы на манжетах.

Да, да! Оказывается, в человеке самое важное — пуговицы на манжетах.

Просвечивали руку Сары Бернар. Она пять минут неподвижно стояла на коленях и даже тут осталась великой артисткой.

Я предпочел бы до конца своих дней читать одни стихи, только бы не видеть больше эти скелеты из Театра Ужасов.

Но зачем я хожу в общество?

Если для того, чтобы развлекаться, — стран-

ное это развлечение! Если для того, чтобы записывать, то записывать здесь нечего! Эти люди опустошены до дна, одни — делами, другие — писанием, третьи — своим искусством. Они бывают в свете, чтобы провести время до того часа, когда можно будет лечь спать. Ни одного забавного слова. Они оставляют свои страсти, свой ум за дверьми. Малейший намек на проявление индивидуальности убил бы на месте этого кандидата в академики или в кавалеры Почётного легиона. Они это знают и стушевываются. Они стараются, чтобы их зевки были приняты за улыбку.

Чувствую себя скверно. Должно быть, у меня лицо зеленоватого оттенка. Охотнее всего я бы выругался. Надавал бы пощечин всем, не исключая самого себя.

*17 апреля.* Сегодня утром получил письмо от матери, она пишет, что у отца был приступ удушья, что он сам попросил позвать врача и что у него обнаружено воспаление легких в тяжелой форме.

Я прожил тридцать три года, и впервые мне предстоит вблизи увидеть смерть дорогого мне человека. Сначала это до меня не доходит. Я даже пытаюсь улыбнуться. Воспаление легких — это же пустяк.

Я не думаю об отце. Думаю о различных мелочах, связанных со смертью, и так как я предвижу, что буду вести себя глупо, говорю Маринетте:

— Хоть ты не теряй головы!

Себе я уже даю это право.

Она говорит, что мне понадобятся перчатки, черные пуговицы и креп на шляпу. Слабо сопротивляюсь этим требованиям траура, которые

казались мне нелепыми, когда речь шла о других. Отец, с которым видишься редко, о котором редко думаешь, это некто, находящийся над тобой; и сладко чувствовать, что есть кто-то выше тебя, кто может стать в случае надобности твоим покровителем, кто-то превосходящий тебя возрастом, разумом, ответственностью.

Со смертью отца волей-неволей я становлюсь главою: я смогу делать, что захочу.

Уже никто не будет иметь право сурово меня судить. Даже малый ребенок пригорюнился бы, узнав, что больше никто его не будет ругать.

Я только-только начинал его любить. Как-то утром я говорил о нем Жюлю Леметру с преступной литераторской легкостью. Как я буду вспоминать о нем!

Легкие и частые позывы к плачу. В таких случаях плачут потому, что память хранит слезы, которыми смерть заливает весь мир.

*14 мая.* Я не испытываю больше от писания никакой радости. Я выработал себе слишком трудный стиль.

*28 мая.* Деревенские девочки, увидев нас издали, отворачиваются, чтобы скрыть улыбку.

*9 июня.* Они хотят, чтобы все всегда кончалось благополучно. Они бы Жанну д'Арк обвиняли с Карлом VII.

Жанна д'Арк. Самые прекрасные ее слова: «Я никогда никого не убивала».

\* Вовсе не потому птички садятся на розовый куст, что на нем расцвела роза, а потому, что там много тли.

*12 июня.* Грустный вид заброшенной мельницы! С дороги видно объявление о ее продаже, сначала его еще пытаются прочесть, потом никто не читает! Двери на запоре, двор зарос

травой, голуби не садятся на крышу. Но ночью река шумит: это при свете луны мельничное колесо начинает вращаться само.

\* Папа и банки. Шесть стаканчиков для вина уже выстроены в ряд на столе, но доктор приносит настоящие банки, и мама убирает стаканчики.

Папа поворачивается на правый бок. Доктор от свечи зажигает бумажку, сует ее в банку и приставляет банку к папиной спине. И сразу кожа вздувается совсем так же, как на лбу вздувается желвак на месте ушиба. Шесть маленьких одинаковых баночек, и папа лежит с ними четверть часа...

Отец похож сейчас на продавца кокосовых орехов.

Возможно, вам это не так уж интересно, но ведь это спина моего отца.

Врачи произносят какие-то специальные термины и, сами удивившись им, надолго замолкают.

Спина вся в рыжих кругах, похожая из-за этих темных припухлостей на вымошенную буйжником мостовую, и с лиловыми лунами — следами банок; ниже, у поясницы, огромная родинка, а еще ниже — длинная редкая шерсть.

Дряблые ягодицы все в складках, похожих на складки пустого мешка.

Когда он спит, кончик его носа, скулы и ноги лиловеют. Туда не проникает кровь.

Он всегда лил себе на голову воду из стакана, а потом мыл ладонью лицо.

Он всегда как-то лихорадочно приглаживал щеткой волосы.

Он никогда не носил ни подтяжек, ни перстня.



Никогда не надевал ночной рубашки, а ложился в той, в какой ходил днем.

Он всегда подрезал ногти перочинным ножиком.

Никогда не засыпал, не почитав на ночь газеты и не задув свечу.

Надевал всегда кальсоны и брюки не порознь, а сразу.

*13 июня.* Я реалист, которому мешает реальность.

\* Лунный свет. Эта луна — для больных, теплая и нежная. Цветок, обманутый ее сиянием, раскрывает венчик.

\* Записывай, записывай, и побольше! Будет жвачка на зиму.

\* На небе маленькое облачко, похожее на заблудившегося гуся.

\* Звезды точно маленькие глазки, не привыкшие к темноте.

\* Все мои дни заполнены до отказа, а душа всегда пуста.

\* Да, да, славная женщина, которая будет пасти коров и читать при этом «Ревю Бланш».

\* О драматурге, у которого не видны пружины, говорят: «Он не знает театра»; о том, который знает театр: «О, у него видны пружины».

*15 июня.* У меня болят мысли. У меня больные мысли, и я не стыжусь этой тайной болезни. У меня больше нет вкуса не только к работе, но и к лени. Совсем не мучит совесть, что ничего не делаешь. Я устал, словно обошел планеты. Мне кажется, что я исчерпал себя до конца.

После «Радости разрыва» я решил — надо делать что-нибудь крупное. Бросил свои маленькие «Буколики». Хочу написать три, четыре акта. Но на каком материале? Игра пяти,

шести выдуманных мною персонажей кажется мне глупой, мелкой. Без сомнения, я могу работать только «на самом себе». Но где взять в самом себе материала на три акта? Ах, приключения, приключения, где вы? И этот дневник, который меня развлекает, веселит и выхолащивает. Я работаю час, и тут же наступает депрессия; и даже писать то, что я пишу, мне противно.

Ни Тэны, ни Ренаны не говорили нам об этом отвращении, об этих тайных болезнях. Или они их не знали? Или они не жаловались из чувства стыда, а может быть, малодушие не позволяло им заглядывать в себя?

Чего же я хочу? Ездить по свету; но для этого надо быть знаменитым, а чтобы стать знаменитым, нужно прежде всего работать.

И берегись! Даже сейчас ты себя насилуешь, говоришь громкие слова. Ты уже не искренен. Когда ты хочешь поглядеться в зеркало, твое дыхание туманит гладь стекла...

*16 июня.* Его душа отрастила себе брюшко.

*18 июня.* Папону стало лучше. Сегодня утром он решил идти копать картофель, но у него не хватает сил орудовать мотыгой. Она идет сама по себе, куда ей захочется. Но просто он не мог усидеть дома.

*19 июня 1897 года.* Половина второго. Умер отец.

О нем можно сказать: «Это просто обыкновенный человек, обыкновенный мэр бедной деревушки»; и вместе с тем говорить о его смерти, как о смерти Сократа. Я не упрекаю себя за то, что недостаточно его любил: упрекаю себя за то, что не понял его.

После завтрака я сел писать письма. Позво-

нили в ворота: Мари, папина молоденькая служанка, сказала, что отец меня зовет. А зачем — ей неизвестно. Я встаю, пока еще только удивленный, Маринетта же, видимо, не совсем спокойна и говорит: «Я иду туда». Не торопясь, я надеваю башмаки и накачиваю велосипедные шины.

Подхожу к дому и вижу, что мама стоит у крыльца. Она кричит мне: «Жюль, Жюль!» Слышу: «Почему он заперся на ключ?» У нее безумный вид. Я все еще не очень волнуюсь и не спеша стараюсь открыть дверь. Ничего не получается. Я зову, он не отвечает. Я ни о чем не догадываюсь. Решаю, что ему стало плохо или он вышел в сад.

Нажимаю плечом на дверь, и она поддается.

Дымок и запах пороха. Я слегка вскрикиваю: «Папа, папа! Что же ты наделал! Так вот что... О! О!» И все-таки я еще не верю: он просто хотел над нами подшутить. Я не верю даже его бледному лицу, открытому рту, чему-то черному возле сердца. Борно, который вернулся из Корбиньи и вошел сразу же после меня, говорит мне:

— Он заслуживает прощения. Этот человек настрадался.

Прощения? За что? Странная мысль! Теперь я понял, но ничего не чувствую. Я выхожу во двор и говорю Маринетте, которая подымает маму с земли:

— Все кончено! Иди сюда!

Она входит, прямая, бледная, и искоса поглядывает в сторону кровати. Она задыхается, расстегивает свой корсаж. Она может плакать. Говорит, имея в виду маму:

— Ну пускайте ее сюда! Она обезумела.

Мы остаемся с ней вдвоем. Вот он лежит на спине, вытянув ноги, слегка повернувшись на бок, голова откинута, глаза и рот раскрыты. Между ног его охотничье ружье, а палка — ближе к стене: руки, разжавшись, выронили палку и ружье и лежат не скрюченные, еще теплые на простыне.

28 июня. Кладбище. Могила в самом углу, возле дороги.

Господин Бийяр берет слово и читает ясным ровным голосом, явно рассчитывая на эффект, заранее написанное надгробное слово и после каждой фразы взглядывает на меня; говорит «его согорожане» вместо «его сограждане», потом вдруг замолкает: следующий листок потерялся. Длительная пауза, в воздухе запахло дурной шуткой. Конец он сымпровизировал или прочел на память. Его сменяет господин Эриссон и очень взволнованно говорит несколько слов. Во время всей этой сцены я то и дело провожу рукой по волосам. От солнца мне становится не по себе.

Ждем. Больше ничего не происходит. Мне хотелось бы объяснить смысл этой смерти, но ничего не происходит. Бросают в могильный ров иммортели. С краю обваливается ком земли. Присутствующие не выстраиваются в ряд и нежимают нам руки. Публика начинает расходиться. Я остаюсь, остаюсь здесь. Ах, жалкий лицедей! Сам чувствую, что сделал это чуточку для вида. Ну к чему, несчастный! Ведь то, что осталось от моих чувств, все-таки мое, равно как и моя печаль.

У всех этих людей не особенно-то уверенный вид, потому что из вежливости им пришлось участвовать в похоронах без священника. Долж-

но быть, это первые гражданские похороны в Шитри.

*7 июля.* Моя леность находит себе оправдание и пищу в воспоминаниях о смерти отца. Мне хочется только одного: еще и еще раз всматриваться в ту страшную картину, от которой я не мог оторвать глаз.

\* У моего воображения глаза на затылке. Я воображаю себе лишь прошлое.

*9 июля.* Мы отправились в Сеттон посмотреть, как идет дождь. Хлеба действительно иссечены градом, а вернее, прибиты; колосья общипаны скотом. Ни одного не осталось. И эти жалкие домики такие одинокие в бурю.

На дороге стадо гусей, кажется, что они пасут маленькую девочку. Подальше другое стадо — эти гуси тоже пасут свою пастушку, но она подымает голову и оказывается старухой. У гуся-вожака к шее привязана палка. Со стороны можно подумать, что он нацепил балансир, дабы не потерять равновесия, а на самом деле палку ему привязали, чтобы он не мог пролезть через изгородь и не повредил посевы.

Эти поля похожи на заплаты, наложенные на бока пригорков и подрубленные изгородями.

И эти одинокие в бурю домики, — если они сгорят, никто и не заметит. Ребятишки играют по двое, по трое, а всех прочих они и не знают.

Каждый дом осенен одним-двумя деревьями. Эти удаленные друг от друга существования, почти не сообщающиеся между собой, на что они нужны? Ну, а я на что нужен?

*10 июля.* Страх смерти заставляет нас любить труд, в котором вся жизнь.

\* Цветы на могиле делаются какими-то урод-

ливыми, как старая вывеска над захудалым кабачком.

*16 июля.* Малларме намерено пишет как сумасшедший.

*21 июля.* О, только не сейчас! Но я чувствую, что позже, в минуту полнейшего отвращения, в том состоянии, которое Бодлер именует «угрюмое нелюбопытство», я сделаю то же самое. Маленький пустой патрон глядит на меня, как выколотый глаз! Пусть не говорят: его отец был мужественнее, чем он.

*24 июля.* Вчера в десять часов вечера умер Папон. А он охотно еще поработал бы, сам убрал свой урожай, поскольку урожай получился такой, что нанимать кого-нибудь для жатвы не стоит.

Когда он наконец, против воли, признал, что работать не в силах, он сказал Маринетте:

— Кажется, жизнь наша к беде клонится.

Как только они заболеют, они предпочитают умереть. Жизнь до того печальная, что просто не смеешь делать из нее литературу. Когда их скрутит недуг, они говорят своим: «Да, уж стану я вам в копеечку».

А лекарства! Напрасно думают, что даже самые богатые, то есть те, что каждый день едят похлебку с салом, могут позволить себе роскошь купить в аптеке пузырек за восемь франков.

Они берут займы тысячу франков, чтобы купить клочок земли, и обязательно выплачивают проценты по гроб жизни, дальше дело не движется. Это пожизненный долг. Они не особенно доверяют нотариусу, хотя без него не примут ни одного решения, а ведь нотариусу приходится платить вперед.

Нас возмущают их пороки, их недостатки, их

скрытность, возмущает, что, выпив, они колотят жен. Мы забываем, что нищета дает им право на преступление.

Больше всего Папона поразила не сама смерть моего отца, а то, что он при таком хорошем уходе покончил с собой.

— Если бы за мной наполовину так ухаживали, как за покойным господином Ренаром, — сказал он Маринетте, — я бы ни в жизнь не помер.

Он съедал полную миску похлебки, а потом жаловался, что его пучит.

Однажды в три часа утра он почувствовал себя хорошо. Он встал, решил идти в поле жать, и его жена велела ему разогреть остатки кофе...

*26 июля.* Старики. Этот чувствует, по его уверениям, «стрекот в голове». Тот потерял на войне внука. Третьему бревном искалечило ногу. А вот у этого вечно болят зубы, и он выучился играть на скрипке, чтобы успокаивать боль.

\* Его концепция искусства при малейшем дуновении становится концепцией собственного капитала.

Он получил пощечину, не ответил на оскорбление и вдруг увидел подростка, который корчился от смеха. Он подошел к мальчишке и грозно спросил его:

— Вам, видимо, тоже захотелось пощечины?

\* Восприятие жизни не доставляет мне никакого удовольствия. Отсюда постоянный страх перед жизнью. Мне доставляет удовольствие только записывать свои впечатления.

*4 августа.* Просто удивительно, что ни один из нас не знает грамматики и, став писателем, не удосужился научиться писать.

*5 августа.* Я, житель центральной Франции, защищен от туманов севера и от ударов южного солнца. Моя цикада — кузнечик, и мой кузнечик — не образ. Он вовсе не золотой. Я нахожу его на лугу на кончике травинки. Я отрываю ему ножки и ловлю на них рыбу.

*6 сентября.* Господа бога не обманешь. Он запретит открыть мне врата рая, если я сделаю хоть одну ошибку во французском языке.

*28 сентября.* Возвращение в Париж. Мы с отцом ничуть не любили друг друга внешне, не держались друг за друга ветвями; мы любили друг друга корнями, подземно.

*30 сентября.* Я вижу все слишком ясно, и от этого у меня болят глаза.

\* Отец. Если я надолго забываю о нем, его образ вдруг набрасывается на меня.

\* Я приближаюсь к идеальной сухости. Мне уже не требуется описывать дерево; мне достаточно записать его название.

\* Я излучаю свет один раз в году, потом гасну.

\* Старость — это когда начинают говорить: «Никогда еще я не чувствовал себя таким молодым».

\* Если Франция больна, пусть вечером перед сном выпьет согревающего.

\* Меня только штыками выгонишь из Природы.

*1 октября.* Последние стихи Верлена. Это уже не стихи: играет словами в бабки.

*4 октября.* Мне тоже бы хотелось, чтобы ветер свободно играл моими кудрями. Увы! Ветер не желает об этом знать.

\* Я начинаю опасаться, что никогда у меня не хватит мужества последовать примеру отца.

*5 октября.* Не обвиняйте меня во лжи! С



точки зрения истины то, что я говорю, имеет не больше значения, чем то, что я пишу: и то и другое — слишком литература.

*8 октября.* Ах! Как я упрекаю себя за то, что во время его болезни хранил жесткое, ироническое выражение лица. Отец, прости меня.

*29 октября.* Безумец, запуская волчок, воображает, что это его мозг. Волчок вертится. «Ах, я талант». Волчок начинает вертеться еще быстрее: «Ах, а теперь я гений!»

\* «Живой апельсин», — говорит Байи, желая отличить его от апельсина игрушечного.

*Ноябрь.* Я видел небо в воде, проплывающих уток, тоненькую белочку, похожую на ус рыжего мужчины.

\* Вода схлынула. Деревья с разутыми корнями. У воды еле хватает сил, чтобы унести вниз по течению один-единственный лист.

\* Свести жизнь к самому простому ее выражению.

*8 ноября.* Квартирки такие тесные, что здесь можно либо драться, либо обнимать друг друга.

*14 ноября.* Я читаю то, что сам написал, как свой самый заклятый враг.

*16 ноября.* Это как раз такая книга, о которой говорят: «Прочтем-ка ее сейчас, чтоб уж потом не возвращаться к ней».

\* Не так громко! Вы слишком кричите, когда говорите правду.

*22 ноября.* Он принадлежал к вполне почтенной семье, как и все воры.

\* Прославившийся на литературной панели.

\* Ужасно горжусь тем, что есть во мне беспокойство Руссо, однако знаю, как далеко муравью до коршуна, терзающего печень.

*26 ноября.* «Львиная доля», пьеса Кюреля.

Генеральная репетиция. Хорош третий акт, хорош, как хороша лекция по логике какого-нибудь модного профессора; все прочее — так себе. Меня это не интересует. Социальный вопрос, разрешаемый с помощью метафоры. Священник говорит вполне разумные вещи, но все-таки он — священник; а где же человечество?..

\* Ему недостает той безмятежности, которая не мешает художнику испытывать все тревоги человека обыкновенного.

*29 ноября.* Счастье — самое краткое из всех впечатлений.

\* Лошадь, жеманно приподняв копыто, пьет из ручья, как пьют миленькие дамы, кокетливо отставляя мизинчик.

\* Эту пьесу нетрудно разругать, надо лишь добавить, что талант автора здесь ни при чем.

*1 декабря.* Я хотел бы жить и умереть в мягком климате этой женщины.

\* Следует восхищаться гением Мюссе: все его недостатки — это недостатки его времени.

*5 декабря.* — Гитри, — говорит Бернар, — все равно что медная проволока. Чувствуется, что он проводит девяносто пять процентов электричества, которым его заряжают.

*8 декабря.* Все кончено. Мне нечего больше сказать. Это — бедствие. Катастрофа полной немоты. Мое воображение не может сделать ни малейшего усилия. Ему не поднять и соломинки.

\* Писатели говорят, что их читают в Германии, когда хотят утешиться, что не находят себе читателей во Франции.

\* Когда зимой, присев у дорожного столба, женщина дает младенцу грудь, не старайтесь

убедить себя, что грудь из резины, а ребенок картонный.

*14 декабря.* Бывает, что я чувствую себя Демосфеном — с камешками во рту.

\* Я ничего не хочу писать без чувства, а чувство у меня ленивое: поэтому я и пишу так мало.

*15 декабря.* Генеральная репетиция «Дурных пастырей». В уборной Гитри все: Мирбо, Эрвье, Роденбах, Лаженес, энтузиасты, неистовые. Если бы я, захваченный глубокой жалостью к простым людям и беднякам, пожал бы руку Фирмену, слуге Гитри, вся эта компания расхохоталась бы...

Их социалистические пьесы сведут меня с ума. По мнению толстяка Бауэра, лучше «Дурных пастырей» не было у нас ничего за последнее столетие. Мендес ему подпевает. Все согласны с Лаженесом: дух правды, дух божий веет здесь. А мне хочется просить прощения у Кюреля за то, что мне не понравилась его «Львиная доля».

И все мы подлецы, и я в первую очередь, потому что не кричу Бауэру, Мендесу и Лаженесу: «Все вы смешные марионетки, и то, что Жан Руль кричит политикам в пьесе Мирбо, он когда-нибудь крикнет и вам. Он крикнет: «Вам ведь наплевать на рабочих. Депутаты, вы не даете нам ничего, кроме речей, а когда мы просим хлеба или денег, вы пишете статьи, но гонорар идет вам. И это еще не все. Долой Сару Бернар, великую, страстную Сару, которая умерев в пятом акте, подымается и бежит в кассу узнать, какой доход принесла ей эта смерть ради нас. Долой Мендеса, который сперва изойдет слезами, услышав наш вой, затем отправится в

пивную, чтобы восстановить свои силы, после чего истратит их со шлюхами. Долой Бауэра, которому жалость к бедным приносит пятьдесят тысяч франков в год и звание передового писателя! Долой всех, всех! Деньги обратно, и почести, и самую славу! Мы хотим не просто хлеба, но вашего хлеба. Я хочу половину. Меньшим я не удовлетворюсь. Да! Вам я оставляю другую. Если вы только художники, мне нечего вам сказать. Я не художник. Я вас не понимаю, но уважаю, вежливо кланяюсь вам и прохожу мимо. Но если вы начинаете хлопотать о моей судьбе, я вправе потрепать вас по животику и сказать: «Ну-с, поговорим по душам». Если вы скажете: «Мы не мещане, мы люди идеи», — мы крикнем вам, что не понимаем всех этих тонкостей, и, вместо всяких аргументов, разобьем вам морду и продырявим вашу шкуру. Вы очень гордитесь тем, что говорите свои глупости не с трибуны, а в газетах, что, впрочем, не мешает вам при случае высокопарно заявлять, что газета является и должна быть трибуной. И долой Жюля Ренара, счастливого человека, собственника, который всегда жалуется и который на самом деле эгоист и ханжа, так как, говоря жене и детям: «Будьте счастливы», — прибавляет: «Будьте счастливы тем счастьем, которое нравится мне, иначе берегитесь».

— Все это грубо, грубо! — говорит Малларме. — Эти актеры, желающие играть жизнь, не изображают жизни ни на йоту. Они не способны даже передать то живое, что есть в салонной болтовне или в складках платья. И потому жизнь в театре коробит меня. Кроме того, моя собственная жизнь причиняет мне достаточно страданий: на эти маленькие драмы расходуется

слишком много моих чувств, и я не могу пробавляться фальшивым подражанием. Оно оскорбляет чувство целомудрия, которое есть во мне. Да, мне кажется, что все эти люди вмешиваются в то, что их не касается. Я люблю только драмы Вагнера и балет. Они нравятся мне потому, что отражают жизнь другого мира.

— Будь мне двадцать лет, — говорит Клемансо, — я бы подложил бомбы под все городские монументы.

Господин Клемансо, такие вещи говорятся в шестьдесят лет.

Сара Бернар придумала занавес, который легко подымается для полдюжины вызовов.

Я ненавижу публику, к которой принадлежу и которая грязнит мои впечатления и чувства. Я ненавижу эти способы завладеть мною и терзать мои нервы. Ах, один прекрасный стих, и все стало бы на свое место!

...Музыка — искусство, которое меня пугает. Мне кажется, что я в утлой лодчонке среди бушующих волн. Особенно же меня восстанавливает против музыки, в которой я профан, то, что мировые судьи в провинциальных городах без ума от нее. Спрашивается, что может свести с ума таких субъектов?

*16 декабря.* Умер Альфонс Доде. Вот уходишь от него, и он раздевает тебя на глазах оставшихся гостей. Спустившись с лестницы, ты уже чувствовал себя совсем голым.

— Он в любую минуту готов выброситься из окна, — говорил он о своем сыне Леоне.

Мы слишком много занимаемся смертью, хорошо бы не замечать ее появления. Она возвращалась бы не так часто. Она не имеет ровно никакого значения.

Маленькая тайна: я не раз просил Доде подарить мне свой портрет; он ни разу не уважил мою просьбу.

Наша печаль: прекрасная женщина, прекрасная в своей бледности, склоняется над белым листом бумаги, с пером в руках... Она не может писать. Она смотрит вдаль.

Помню одного мертвеца. Он умер как герой. Нет! Не как герой: во всем этом есть что-то фальшивое. Он умер просто, как умирает дерево. Все было предельно ясно, и только это причиняло боль. Когда мне удалось заплакать, я понял, что это не мои слезы, но слезы всего рода людского, который считает себя вынужденным плакать в известные минуты.

Я расписался сегодня у консьержки: «Человек — это дерево, которое вновь расцветет где-нибудь еще».

*23 декабря.* Мои грезы наяву, будто все, что есть во мне бессознательного, вытесняет прочь мое сознание. Эти внезапно возникшие образы мне незнакомы. И так как я не могу от них отрешиться, и они действительно во мне, приходится признать, что они, очевидно, исходят от моей другой сущности, что я двойственен.

*25 декабря.* Мюссе часто взывает к кому-нибудь: то ко Христу, то к Вольтеру, — чтобы придать своим стихам многозначительность.

*27 декабря.* Все они мне твердят:

— Какой бы из вас вышел большущий драматург!

А я знаю, что они ошибаются, и знаю почему.

*30 декабря.* «Сирано» Ростана. Премьера.

...В уборной Коклена я говорю Ростану:

— Я был бы очень рад, если бы нас обоих наградили в один и тот же день. Но коль скоро

это невозможно, поздравляю вас, и, поверьте, без малейшей зависти.

Что, впрочем, неправда; и сейчас, когда я пишу эти строки, я плачу.

Ах, Ростан, не надо меня благодарить ни за то, что я так вам аплодировал, ни за то, что я страстно защищал вас от ваших врагов, которых уже почти не осталось!..

К счастью, уж не знаю по какому случаю, возле меня в первом ряду балкона пустует восемь кресел, и это меня почему-то утешает. (Все-таки это преувеличение. Возможно, никто никогда еще не сказал ни слова правды!)

Входит Сара Бернар:

— ...Мне удалось посмотреть последнее действие. Как это прекрасно! Я гримировалась у себя в уборной, и сын рассказывал мне все, акт за актом. Я поторопилась умереть и вот все-таки поспела сюда. О, что со мной! Смотрите на мои слезы. Смотрите! Смотрите! Я плачу. — И все смотрят, и каждому из нас хочется сказать: «Да нет же, мадам! Уверю вас!» — Потом она бросается к Коклену, берет его голову обеими руками, как суповую миску, и она его пьет, и она его ест. — Кок! — говорит она. — О, мой великий Кок!

И она уже написала ему знаменитое письмо, которое цитирует «Фигаро», — шедевр на пергаменте из крокодиловой кожи...

...— Ростан! — И она берет Ростана себе. Она его никому не отдаст, берет все так же за голову, но на этот раз — как чашу с шампанским, или, еще лучше, как чашу Идеала.

...— Мне не приходилось присутствовать при подобном триумфе со времени войны, — говорит какой-то военный.

— Но войну мы ведь как будто проиграли? — говорю я. — Да, после этого остается только выбросить свое перо.

— Нет, нет, не надо!

— Ничего, у меня их полный ящик...

\* У Леона Блюма. Среда враждебная Ростану. Так как я говорю женщинам: «Это ваш поэт, вы должны его обожать», — какая-то чернявая дамочка, красивый еврейский вороненок, отвечает: «Вы так думаете?» И она начинает говорить, впрочем довольно умно, о нелепых ростановских стихах в «Ревю де Пари» и о гениальном Мюссе.

— Вы обязаны, — говорит мне Блюм, — повлиять на Ростана... Не позволяйте ему писать ничего, кроме пьес... Он вас слушается... Во всяком случае, пусть не печатает. Он себя губит. Нельзя так разочаровывать публику.

\* — Я никогда не даю кучеру больше тридцати пяти су, — сказала она, — зато я очень изящно с ним раскланиваюсь.

\* Фраза, которая вибрирует одно мгновение, как слишком натянутая проволока.

\* Говорить курсивом.

\* Черное на черном, как ворон в ночи.



---

## 1898

*1 января.* — Я собираюсь, — сказал он, — зайти к вам завтра и рассказать о своих неприятностях.

— Тогда неприятности будут у двух вместо одного.

\* Каковы итоги? Мне скоро тридцать четыре года, у меня есть кое-какое имя, скажем: имя, которому ничто не мешает (другие в это верят, но я-то, увы, не обманываюсь) стать громким. Я мог бы зарабатывать много денег, но я их не зарабатываю. Ни одной книги за год. Не будь «Радости разрыва», год вообще бы получился пустой. Конечно, смерть отца может служить оправданием мне, но не моей лени. В отношении нравственном не сдвинулся ни на йоту, где там! Зато усовершенствовал свой эгоизм. Сумел доказать Маринетте, что ее счастье зависит от моей полной свободы. Люблю ли я своих детей? Сам не знаю. Когда я на них гляжу, я умиляюсь. Но я не ищу случая видеть их слишком часто. Умиляясь им, я умиляюсь, в сущности, самому себе. Доброта отвлеченная, да и мне было бы весьма нелегко употребить ее кому-нибудь на пользу. Я не настолько чувственный, чтобы бегать за женщинами, но отлично понимаю, что любая могла бы сделать со мной все, что ей угодно.

Друзья, и ни одного друга. Я почти потерял Ростана, и его успех нас не сблизит. Я для друзей ничего не делаю. Возможно, они как раз лучшее доказательство того, что я представляю собою нечто. Они любят меня лишь из уважения.

По-прежнему зол. Достаточно мне сделать по улице три шага, и я становлюсь непереносимым. К счастью, я редко выхожу из дома.

Я так же стар духом, как мой отец был стар телом. Почему я не кончаю жизнь самоубийством? Мне даже кажется, что я становлюсь скучным и что я напрасно позволяю себе так часто нанимать фиакр. В этом я уверен.

*2 января.* За нашу леность нас карают не только наши неудачи, но и удачи других.

*3 января.* У Мюльфельдов.

— Нет поэтов, кроме Ростана, — говорит госпожа Мюльфельд.

Я вынужден возражать, потому что Ростан становится вдруг более великим, чем Виктор Гюго, и из его успехов делают нелепые выводы. «Сирано» — великолепный анахронизм и ничего больше. Ростан не будет иметь никакого влияния на поэзию, разве только на весьма посредственных поэтов, которых прельщает его успех. «Сирано» ничуть не встревожил поэтов настоящих; но своей «Самаритянкой» Ростан заткнет их всех за пояс.

— Скажите, между нами, конечно, — говорю я Ростану, — верно ли, что успех «Сирано» принес вам больше радости, чем ваша «Самаритянка»?

— Нет, — отвечает он. — У меня в этой пьесе есть места, которые я предпочитаю всему «Сирано». Например, второй акт. «Самаритянка» потребовала подлинного поэтического усилия, и

успех ее на сцене, возможно, был еще более шумным.

— В «Самаритянке» все создано вами. В «Сирано» вам помогает сюжет, эпоха. Ловкий человек, например Сарду, умеет он строчить стишки, мог бы в конце концов набрести на сюжет «Сирано», а для «Самаритянки» требуется подлинный поэт. «Сирано» превратил вас в поэта драматического, ирои-комического жанра; он вас ограничил. Поэты, не пишущие для театра, могут сказать, облегченно вздохнув: «Вот к этому и сводится весь Ростан». Я имею в виду Мендеса, Роденбаха и присных. Они могут делать хорошую мину, правда зеленея при этом.

Мы все косимся на орден Ростана.

— А что вы испытывали? — спрашиваю я.

— Вот сегодня, когда я был у моего парикмахера, это меня позабавило. Все знакомые смотрят на ленточку. Но произошло это слишком поздно. Сразу после «Самаритянки» я радовался бы куда сильнее.

Ростан пробился собственными силами. Не пройдя через маленькие журналы, он прошел через большие, он не бывает в редакциях, а бывает в обществе; не выпьет кружки пива в пивной с «богемой», а предпочтет пообедать у богатых людей; театральным критикам он предпочитает самих директоров театров, а Сару Бернар — режиссеру Люнье По. Так вот, Ростан рассказывает нам о своем посещении Люси Фор. Люси просила у Ростана сонет с благотворительной целью. Он принес. Она приняла его запросто в маленькой гостиной, полной чудесных старинных вещей. Там была и госпожа Барту, которая поистине прелестна. Вдруг в комнату к дочери вошел Феликс Фор. Он возвратился с

охоты, на нем была мягкая шапочка. Он извинился, сел и сказал: «Господин Ростан, здравствуйте». Фор был великолепен. Понятно, почему его так любит царь. Это великий актер. Это — лучшее, что может предложить сегодня Европа взамен Людовика Четырнадцатого. Потом он поднялся, откланялся, пошел одеваться. Он трудится в поте лица! Он достойный президент нашей республики, которая со времени революции не сделала ни одного шага ни к здравому смыслу, ни к свободе. Это республика, которой важно только одно — быть принятой у господ Грефюль.

*6 января.* Каждое утро спрашивать себя: «Ну что ты будешь сегодня делать?» — Буду трудиться, как трудились усердные монахи. Иметь перед собой целую грудку жемчужин для нанизывания!

\* Ростан ничего не внес нового после Банвиля и Готье. Разве что искусство никогда не быть скучным.

*9 января.* Сара Бернар говорит Барбье:

— Ваша пьеса очень хороша... Но если бы она была в стихах!

— Хорошо, — отвечает Барбье.

Он приносит ту же пьесу в стихах.

— О, если бы она была в стихах...

— Но она в стихах, — говорит Барбье.

— Да, но в каких стихах!..

*10 января.* Робер де Суза́ пришел ко мне поговорить о своих стихотворных опытах.

Я сказал ему, что переболел в свое время стихотворной филлоксерой.

— Нет, — ответил он, — вы просто заметили, что стихи, как их понимали в дни вашей молодости, вас не удовлетворили бы. Вы отложили их в сторону, чтобы взяться за прозу. У меня было

точно такое же чувство, но я стал искать новый стих. Отсюда мои размеры и ритмы.

— Вы действительно сумели избавиться от недостатков старого стиха, но одновременно и от его достоинств, — сказал я. — Ваш стих чересчур нов. Он никак не связан с тем, что меня привычно волнует в стихах. Вы не протягиваете мне якорь спасения. Я их просто не понимаю.

— Послушайте все-таки.

Он читает и отбивает пальцем стихотворный такт, как дирижер оркестра. Все это мелко, мелко. А на пятой строфе окончательно становится монотонным.

— Разве вы не чувствительны к новым ритмам? — спрашивает он.

— Чувствителен! Они мне неприятны.

— Но ведь у вас самого проза ритмическая, собранная.

— Это гораздо менее сложно, чем вы думаете, — отвечаю я. — Впрочем, в свое время я тоже прибегал к усложнениям, которых никто не замечал. Потом я от них отказался, и этого тоже никто не замечает.

*12 января.* Мой стиль меня душит.

\* Слова жесткие, — появляясь на свет после третьей схватки, они причиняют боль.

*14 января.* ...— Не привязывайтесь ни к кому, — говорит мне Юг Леру. — Иметь много дружеских связей, рвать их, когда они становятся, или мы сами становимся, невыносимы, в этом залог оптимизма.

— Но, — спрашиваю, — так ли уж мне необходимо быть оптимистом?..

Флобер был так добр, что принимал всерьез всех начинающих писателей.

— Напишем вашу фразу на грифельной доске, — говорил Флобер тому же Леру. — Если на нее приятно смотреть — она хороша. Если она режет глаз — она ничего не стоит.

Все это теория. У Флобера есть вещи лучше.

...Фабр, придворный музыкант Жоржетты Леблан. Тощенький, болезненный, с видом кротчайшей крысы. На нем какой-то необыкновенный воротничок в форме лодочки. Он рассказывает:

— Метерлинк ужасно боится, что я кладу на музыку слишком много его стихов. Стоит ему услышать чересчур высокую ноту, и он начинает хмуриться. Впрочем, за работой он сам поет песенки, всякую ерунду — колыбельные, солдатские.

\* Эредиа. Его поэзия кимвализма.

21 января. «Мертвый город» Габриеля д'Аннунцио.

— Умиравший город, — говорю я.

— Подышающий город, — говорит Марни.

— Красноречие и поэтичность азиата, — говорит Леметр. — Такое состояние души нельзя ни описать, ни измерить.

Это поэзия лишь в той мере, в какой золото — драгоценный металл, то есть условно.

Когда поэт употребляет слово «золото», то какова бы ни была сама по себе фраза, он может быть спокоен за ее ценность. Она уже стоит чуточку золота. А эти сравнения! «Алмазный блеск... Чистый, как вода. Тонкий, как морской песок...» Уж давным-давно мы не пользуемся такими сравнениями. Даже сам Эроль, с его пышной бородой, считает, что они приелись. Леметр, у которого жидкая бородка, считает, что

там есть с полдюжины прекрасных образов, например, такой: «Казалось, ты срезал все розы мира, дабы тому, кто их пожелал бы, не досталось ни одной».

Сара Бернар. Да, то, что она делает, хорошо, даже очень хорошо; и, конечно, для публики это и есть вершина; но для нас, для меня лично, для драматурга, которым мне хотелось бы стать, она не так уж интересна. Все, что могло бы быть оригинальным, у нее предугадываешь заранее.

Она не всегда хороша, но она вполне и всегда в духе д'Аннунцио. Она женщина, созданная для этого поэта, который всегда находится за пределами правды. Он выбрал сюжет весьма-весьма страшный: кровосмешение. И он мчится вперед, и ничто его не остановит, ибо нет на его пути контроля... Он воображает, что та страна прекраснее других, которая всех дальше, и что колонна или статуя прекраснее всех, если от нее осталась только половина. Это немножко противно, и никакого волшебства тут нет.

Наслушаешься этих распоясавшихся поэтов и начинаешь любить тех, кто умеет себя сдерживать, управлять собой. Не важно какая им придет в голову идея, они бесстыдно размажут ее на пять актов. Из одной-единственной минуты они сумеют сделать три часа по часам.

А мы близки только с самой жизнью. Она чуточку посредственна и скуповата. И если мы любим только жизнь, мы не станем ее тормозить: ждем, когда она сама придет к нам, и как долго же она не приходит! Ничего не поделаешь! Мы слишком устали, чтобы идти ей навстречу. Для того чтобы стать гениями, нам недостает лишь одного, — приглядеться поближе, попри-

тальнее к жизни Цезаря или Наполеона. Восторги наши хороши тем, что они недолги, зато повторяются.

*26 января.* Всем хватит места под солнцем, особенно при условии, что все захотят остаться в тени.

*31 января.* Моя жена. Из всех жен, которых я знаю, она наиболее достойна быть любимой.

\* Писать стихами значит всегда в какой-то мере загонять мысль в клетку.

*2 февраля.* Когда мне говорят, что я талантлив, не нужно мне этого повторять дважды: я понимаю с первого слова.

\* Бауэр, социалист-буржуа, негодует против светских писателей, ненавидящих высший свет.

\* Я не принадлежу к числу людей, которые считают, что самое загадочное на свете — это душа молодой девушки.

*16 февраля.* Блестящий поэт, в смысле «хорошо отнаждаченный».

*17 февраля.* По поводу Вилли, отказавшегося подписывать протест в «Ревю Бланш», Вебер говорит:

— В первый раз он отказался подписать что-то не им самим написанное.

\* Глаза женщин, слушающих стихи. Как жаль, что уши так невыразительны! Тогда бы мы увидели, как хорошенькие маленькие женские ушки шевелятся наподобие телячьих ушей... Как они слушают! Слушают все с таким видом, будто зовутся Терезами. С помощью десятка рифм и горлового воркования можно заставить их проглотить даже «Ежегодник метеорологической службы».

\* Мне тридцать четыре года, кое-какое имя. Я написал об Альфонсе Доде статью на четырех



страничках, где постарался подытожить все свои впечатления о Доде. Статья получилась оригинальнее всех прочих, написанных на ту же тему: «Ревю Бланш» заплатило мне за нее шестнадцать франков. Зато это хороший урок философии.

\* Если я когда-нибудь умру из-за женщины, так разве что со смеха.

*18 февраля.* Вечером в редакции «Ревю Бланш». Все мы взволнованы делом Дрейфуса. Ради него можно бросить жену, детей, состояние...

Кричишь: «Да здравствует Республика» — и тебя арестуют. Тем лучше! Все идет плохо, все идет хорошо. И если Золя осужден, тем лучше, и если Дрейфус осужден — тем лучше! У нас останется право без всякой задней мысли презирать нашу военную верхушку, их тошнотворную мораль.

*21 февраля.* Не следует знакомиться со своими друзьями раньше, чем к ним придет слава.

*22 февраля.* Французская литература, покажи-ка язык: ого, какой нехороший, — видно, ты больна.

*23 февраля.* Золя приговорен к году тюрьмы и тысяче франков штрафа.

А я заявляю:

Что осуждение Золя наполняет меня глубочайшим отвращением;

Что я никогда не дам ни строчки в «Эко де Пари»;

Что г. Фернан Ксо, физически один из самых маленьких людей, которых я знаю, ухитрился стать еще ниже от пошлостей, которые он адресует своим подписчикам;

Что, будучи по призванию иронистом, я

сейчас становлюсь серьезным и готов плюнуть в лицо нашему старому националистическому шуту, г-н Анри Рошфору;

Что проповедник энергии Морис Баррес — тот же Рошфор, только в нем больше литературы и меньше апломба и что он добьется того, что избиратели не захотят видеть его даже на шутовском посту муниципального советника;

Что г-н Дрюмон бездарен, совершенно бездарен, и что все увидят, как антисемитская игрушка сломается у них в руках;

Что, если «Фигаро» не примет в спешном порядке имя «Бартоло», тень Бомарше обязательно надерет ему уши;

Что, гордый тем, что могу читать в подлиннике французов — Рафина, Лабрюйера, Лафонтена, Мишле и Виктора Гюго, я стыжусь быть подданным Мелина.

И я клянусь, что Золя невиновен.

И я заявляю:

Что не уважаю наши военные верхи, которые за время длительного мира начали гордиться тем, что они солдаты;

Что я три раза участвовал в больших маневрах, и все там мне показалось сумбуром, шарлатанством, глупостью и ребячеством. Три офицера, превратившие меня в задержанного капрала, капитан — надутая посредственность, лейтенант — жалкий бабник, младший лейтенант — вполне порядочный юноша, которому пришлось выйти в отставку.

Я заявляю, что почувствовал внезапный и страстный вкус к баррикадам, и я хотел бы стать медведем, чтобы свободно орудовать самыми большими булыжниками. Раз наши министры плюют на республику, я, начиная с сегодняшне-

го дня, дорожу республикой, и она внушает мне уважение и нежность, как никогда ранее. Я объявляю, что слово «справедливость» — самое прекрасное из человеческих слов, и достойно сожаления, что люди перестали его понимать.

Золя — счастливый человек. Он нашел смысл своего существования, и он должен быть благодарен своим жалким судьям за то, что они подарили ему год героизма.

Я не говорю: «Ах, если бы у меня не было жены и детей...» Но говорю: «Именно потому, что у меня есть жена и дети, именно потому, что я был человеком, когда мне это ничего не стоило, нужно, чтобы я оставался им, когда мне это может стоить всего».

Они считают, что, раз они не евреи, то они прекрасны, и умны, и честны. Этот Баррес заражен кокетством.

Я оправдываю Золя. Не молчание нужно организовать вокруг него, нужно кричать: «Да здравствует Золя!» И пусть этот рев исходит из самого нашего нутра.

Баррес, этот миленький раздушенный гений, такой же вояка, как Коппе. И я заявляю, между прочим, что ханжеская и подхалимская позиция Коппе могла бы отвратить нас от всякой поэзии... будь он поэтом.

Баррес, которому дали по рукам во время схватки, который сунулся было вперед, но потом присмирел, снова вылез на свет божий со своей физиономией прирученного ворона и с клювом, привыкшим копать в деликатных отбросах; Баррес, вещающий о родине, которую он отождествляет со своим избирательным округом, и об армии, которой он не нюхал!

Какое занятное противоречие! Как писатель

вы презираете толпу; как депутат — вы только ей и верите. Большой писатель, но маленький человек, который не ждет, пока народ предложит ему место в палате депутатов, а выклянчивает это место.

Коппе натягивает свои кожаные брюки чуть ли не до носа.

Баррес острит по поводу еврейских носов, хотя вполне мог бы острить насчет своего собственного. Этот превосходный писатель опускается до стиля жалких предвыборных листков.

Печальные минуты. Выкрикивают приговор. Люди задыхаются, точно бегут на край света. Слезы жалости, ярости, позора.

О, как тяжелы становятся книги!

Общественное мнение — это липкая и косматая масса.

Армия — это лубок. Офицеры, которые важничают потому, что они пестры, как райские яблочки.

*1 марта.* Малларме, непере译имый даже на французский язык.

*8 марта.* Роденбах. Грустный и какой-то искаженный смех, словно в воду, где отражается смеющееся лицо, швырнули камень.

*30 марта.* Ибсен. «Враг народа». Северин в прическе наподобие стружек красного дерева. Таде Натансон — полномочный представитель Ибсена. Очень ясная пьеса, где по поводу жалкой городской свалки высказываются самые прекрасные идеи. Пьеса, как бы списанная с дела Золя. Ибсену аплодируют вместо того, другого.

*31 марта.* Обед у Ростана.

— Скажите, Ренар, что вы на моем месте стали бы делать после «Сирано»?

— Я? Да я бы отдыхал десять лет.

...Лучше всего ему работается в поезде, даже в фиакре. Его мозг — как корзина, наполненная мыслями: тряска приводит их в движение. У него полсотни сюжетов, таких же чудесных, как «Сирано». Он любит все, что от театра, даже запахи театрального ватерклозета.

Возможно, кому-нибудь другому вечер показался бы милым, а я проскучал. И у меня о нем осталось дурное воспоминание. По-видимому, я перестаяю чувствовать симпатию к людям, и в каждой улыбке мне чудятся каннибальские клыки.

*1 апреля.* В деревне. Грустно. Как вдове, которая глядит в окно на осенний пейзаж.

*Апрель.* Мне вполне хватило бы чуточку славы, как раз столько, чтобы не иметь дурацкого вида в нашей деревне.

\* Солнце еще не село, и луна всходит, чтобы поглядеть на пресловутое светило, о котором столько говорят.

\* «В Париже работать невозможно». «В деревне работать невозможно». Заменить эти формулы другой: «Работать можно везде».

\* Тишина! Я слышу все свои мысли.

\* Для меня не существует разницы между луной и ее отражением в канале.

\* Почтальон купил себе ослика, чтобы передвигаться медленнее.

*29 апреля.* Верю во французский язык. Убежден, что Боссюэ наших дней писал бы лучше, чем Боссюэ классический.

*9 мая.* Возможно, вдохновение — это просто радость, испытываемая нами при писании: оно вовсе не предшествует этой радости.

*14 мая.* Сегодня — ничего. Я встаю. Зачем? Я

не способен ни читать, ни писать, ни казаться веселым, ни слушать, ни говорить. Я могу только есть, потом повалиться в кресло и спать. Если бы даже я знал, что на меня направлено дуло револьвера, я не шелохнулся бы, чтобы избежать пули.

*21 мая.* Человеческая глупость. Эпитет излишен, ведь глупы бывают только люди.

*26 мая.* Салон. Не был здесь, как и в «Опера комик», уже десять лет. Одна лишь статуя Бальзака, работы Родена, привлекла мой взгляд. На расстоянии двадцати метров, повернутая, в три четверти, она производит впечатление своею позой. И эти пустые глаза, эта гримаса на лице, этот узкий лоб, халат, сковывающий, как путы, — во всем этом что-то есть. Об этой статуе можно сказать то, что мадам Викторина де Шатенэ сказала о Жубере: «Душа, которая случайно нашла себе телесную оболочку и старается как-то прожить в ней».

Но все прочее! Вся эта скульптура и вся эта живопись, все это сделано на скорую руку, как газетная статейка. Только приблизительные краски.

Даже человек несведущий невольно остановится перед статуей Родена.

После Салона — любое, на что ни взглянешь, радуется взор.

*28 мая.* Теперь я могу писать лишь ножом на стволе дуба.

*29 мая.* На представлении «Ткачей» Гауптмана. Пьер Лоти. Антуан говорит с благоговейным видом: «Сегодня нас посетил Лоти».

Перстни, слишком крупная булавка в галстук, вся в золоте. Она похожа на королев-

скую корону. Вид у Лоти молодой, даже чересчур молодой, но чуть-чуть потрепанный.

Он не говорит со мной о моих книгах. Конечно, только потому, что он академик и что у него в петлице орденская розетка, я говорю с ним о его книгах. Говорю, что его творчество оказало немалое влияние на мое восприятие мира. Ох!

— А какую из ваших книг вы сами предпочитаете?

— Не знаю, — говорит он. — Написав книгу, я о ней забываю. Даже ни разу не перечитал ни одной.

Он особенно настаивает, чтобы я познакомил его с «мадам Ренар». Совершенно очевидно, что для него это просто новая женщина, а от каждой новой женщины он ждет чего-то. Сконфуженная Маринетта боится поднять на него глаза. Но она сразу увидела то, чего я не видел.

Его изысканная, вымученная вежливость вынуждает меня неуклюже отвечать тем же. В усах у него несколько белых нитей. Шевелюра как у юноши. Уши большие, скорее старческие, а глаза — как их описать?

— Да он красится! Красится, как женщина, — говорит мне Маринетта, когда мы отходим от Лоти. — Ресницы начернены, глаза подмазаны, волосы в бриллиантине, а губы на помажены. Он боится закрыть рот. А белые нити в усах — это кокетство, чтобы люди думали, будто усы у него естественного черного цвета.

— А я-то ничего не заметил, братец Ив...

\* Все-таки странно, что природа старается быть невеселой, дабы не контрастировать с нашей печалью.

\* О самых прекрасных книгах, которыми я восхищаюсь, я говорю, что они все-таки длинноваты.

\* Как это вы можете требовать, чтобы я всегда говорил правду с абсолютной точностью? Хватит того, что я пишу ее с таким трудом.

\* Изящная подпись, как завиток бича у кучера из хорошего дома.

\* Иметь стиль точный, четкий, выпуклый, сжатый, такой, чтобы мог разбудить мертвеца.

*2 июня.* Я очень люблю Капюса. Это писатель, который лучше всех видит смешные стороны нашей эпохи. Впрочем, он приспособился к этому обществу. Он смеется над нашими государственными деятелями, но не отказался бы сыграть в покер с первым попавшимся президентом республики.

*4 июня.* «Трава». Я хотел бы быть им полезен, но это не так-то просто...

Их религия, их политика, священник, владелец замка; их покойный мэр (мой отец). И тот бедняга, который его сменил. Они — мои братья...

Я писал эту книгу, глядя в окно на траву возле замка... Зелень освежала мои усталые глаза. Ей я обязан своими чудесными мечтаниями. Она — богатство этого края. Ею кормят быков, которые идут в пищу этим людям.

Их депутат. Их ужас перед войной.

Прозрачная вода источника, к которому приходит скот. Охота. Рыбная ловля. Деревенские обычаи. Сделать моего отца главным героем книги. Ее финал: драма между моей матерью, отцом, покончившим самоубийством, и «чужой».

*12 июня.* В деревне. Слушаю кваканье жабы. Через равные промежутки времени скатывается



звучащая капля, грустная нота. Не верится, что идет она с земли, скорее уж кажется, что это жалобно попискивает птица, сидящая на суку. Упорное оханье всей округи, залитой дождем. Залает ли собака, хлопнут ли дверью — и стон смолкает. Потом снова начинается: «У-у-у!» Нет, не совсем так. Перед этим «у» есть еще какая-то согласная, которую я не могу уловить, придыхание, такой звук, словно лопнул пузырек воды на стоячей глади болота.

Нет, опять не то. Скорее уж это вздох чьей-то маленькой души. Бесконечно нежный вздох.

И так как никто, ни одна робкая душа ей не отвечает, оханье прекращается.

*18 июня.* Секрет современного творчества — это остерегаться как слов, смысл которых стерся от употребления, так и синтаксиса недоучек.

*22 июня.* Мишле слишком стремится поэтизировать природу, а она в этом не нуждается. Ей плевать на его неумеренные похвалы, и она, несмотря на все усилия Мишле, ускользает от него. Попробуйте прочесть крестьянам такую фразу из Мишле: «Громкое пение жаворонка подало знак жнецам. «Пора идти, — сказал отец, — слышите, запел жаворонок». Крестьяне удивились бы. Никогда никто не давал им подобного знака; никто бы не послушался его.

*11 июля.* Никто никогда не помешает мне испытывать волнение, когда я гляжу на поле, когда я бреду по колено в овсе, и он снова подымается позади меня. Какая мысль может быть тоньше этой травинки?

*12 июля.* Проветрить свое «я», которое становится затхлым.

*20 июля.* У Рабле «мечтание» — синоним глупости.

\* Я умею плавать ровно настолько, чтобы не бросаться спасать утопающего.

\* Здесь дело не только в луне. Есть еще загадочные и злые ветры, из-за которых сохнет и умирает ветка на цветущем дереве.

\* Улитка и ее недвижимое имущество.

\* «Трава». Я смотрю, слушаю, записываю, но среди всего этого сам я нейтрален.

\* Мой стиль полон головоломных приемов, которых никто не замечает.

\* Люблю одиночество, даже когда я один.

\* Далекая песня лягушки, которая сидит в траве у самых моих ног.

*23 июля.* Совершенно незачем вносить в сатиру преувеличение: вполне достаточно показывать вещи такими, каковы они в действительности. Они достаточно смешны сами по себе.

\* В течение всего дня дерево сохраняет в своих ветвях немного ночи.

\* Плевать мне на ум: я вполне бы мог удовлетвориться инстинктом.

\* Смерть благотворна — она избавляет нас от мысли о смерти.

*29 июля.* Я ищу только редкостного. Для того чтобы добиться этого, я отказался от больших тиражей и от большой прессы, а сегодня утром прочел в каком-то жалком журнальчике статью анонима, который находит, что я пишу мастерски, но пишу всегда одно и то же.

И вот я расстроен надолго.

*1 августа.* Один колос говорит другому:

— Смотри, как я гордо подымаю голову!

— Ничего удивительного, — отвечает другой. — Ты растерял все свои зерна, и теперь у тебя пустая голова.

\* Грезы — это лунный свет мысли.

\* Надо видеть правду глазами поэта.

\* Вставай, земля уже полна работающими!

Крестьянин жнет рожь, быки жуют. Людские голоса подымаются к небу, где уже летает жаворонок. Маленькая девочка, отнеся завтрак отцу, возвращается домой.

\* Достаточно нескольких капель росы, осевших на паутине, и вот уже готово бриллиантовое ожерелье.

*8 августа.* Эти литераторы, как бочка Данаид: человечество через них только протекает.

\* Выйти наружу, чтобы выкурить папиросу воздуха.

\* Ласточка — любимая игрушка ветра.

*15 августа.* Старые дубы с открытой грудью.

\* Звезды — низкие, как искры, которые вылетают из трубы нашего дома.

\* Даже лучший из нас имеет на совести несколько мелких убийств.

\* Маленькая родина все равно большая, ведь она единственная.

\* Не может быть форма — с одной стороны, а с другой — содержание. Плохой стиль — это несовершенство мысли.

\* Я уезжаю с тоской на сердце, потому что смотрел на солнечный закат, слушал пенье птиц, и только несколько дней я гостил на этой земле, которую так люблю и куда сошло до меня столько усопших.

*1 октября.* ... Хочу ясного и трезвого лиризма.

\* Один только дым знает, что дует ветер.

\* Часто говорят: «Я не делаю того, что хочу». Следовало бы сказать: «не делаю того, что могу».

\* Если бы истина покоилась на дне колодца, я бросился бы в этот колодец.



Обложка журнала «Les hommes du jour»  
(«Знаменитые современники»)

\* Давайте признаемся: в удовлетворении, которое приносит нам работа, есть что-то блаженное. Что касается лени, то в ней содержится какая-то тревога, в которой нет ничего вульгарного и которой мы обязаны своими наиболее тонкими находками.

\* Я ни разу не смотрел по-настоящему на картину. И вовсе этим не хвастаюсь. Поступал я так, пожалуй, нарочно. Я ограничиваю себя изо всех сил, я глух к музыке, слеп к живописи. Думаю, что мы родимся наделенные неким расплывчатым талантом, от которого надо уметь освободиться. Нет ничего легче, по моему убеждению, как быть знатоком всех искусств, а я стараюсь смириться, ограничившись одним.

*4 ноября.* Молодой — это тот, кто еще не солгал.

*6 ноября.* Почти о всей существующей литературе можно сказать, что она слишком растянута.

\* Я хочу выработать себе стиль светлый, радующий взоры, как весеннее утро.

*9 ноября.* Любой премьер, из страха, что его кабинет может пасть, готов допустить резню тысяч людей.

\* Свободен — да, ты свободен, как и я; равен мне — да, но брат — это совсем другое дело.

*10 ноября.* Порой я впадаю в уныние оттого, что лишен гениальности. А они не перестают меня удивлять: пишут и пишут. Я так не могу. Я ничего не нахожу, вернее, отвергаю все, что нахожу. Да, именно так. Просто-напросто я отказываюсь пользоваться той мерю таланта, которая их вполне удовлетворяет.

\* Она спрашивает: «Что вы пишете? — и тут же: — А для чего это тебе?»

\* Он говорит Адольфу Бриссону: «Опыт показал мне всю опасность анархии». О, прелестная фраза, особенно ее скрытый смысл. Жаль, что несколькими строками ниже читаем: «Я зашел к нему в особняк, недавно построенный на улице Спонтини возле Булонского леса». Вот вам и объяснение той прекрасной фразы! Знаем мы их отвращение к человечеству, отвращение слишком доходное. На словах они готовы изbleвать из уст своих наш век, а сами строят себе особняки в строгом, изысканном, некрикливом стиле. Вот уж действительно, смешнее не придумаешь.

Но какой-нибудь Баррес сказал бы: «Если стараться жить согласно со своими принципами, куда бы это нас завело? Ведь тут предела нет».

*14 ноября.* Каждый вечер я загоняю обратно свою чувствительность, как стадо баранов в овчарню.

По несколько раз на день я чувствую, что все кончено, что нет смысла жить дальше.

*16 ноября.* Когда пишешь что-нибудь веселое, вполне достаточно первых попавшихся слов, но для нежности требуется стиль. Существуют серьезные слова, которые звучат фальшиво, впрочем, и веселые тоже, но это как-то меньше замечают.

*17 ноября.* Ребель усердно складывает губы и так и этак, чтобы изобразить улыбку Джоконды. Говорят, Леонардо да Винчи работал над ней четыре года. Ребель проработает всю жизнь.

*18 ноября.* На берегу реки. Т-с-с! Я только что видел сирену.

*25 ноября.* Напишите хоть двадцать книг,

критик осудит вас в двадцати строчках и возьмет над вами верх.

*29 ноября.* Мне всегда хочется сказать музыке: «Но это же неправда! Ты лжешь!»

*23 декабря.* Как гнусны буржуа! Только художники еще умеют ценить горячую, здоровую и хорошо приготовленную пищу, чистое белье, остро отточенный нож, дрова, горящие ярким пламенем, и свет лампы.

*26 декабря.* — На службе, — говорила одна женщина, — у нас теперь новый начальник, очень ученый человек. Он нам сказал, что люди происходят от Дарвина.

---

## 1899

*1 января.* Неужели вы думаете, что после *Виргилия* уже незачем писать историю крестьянской фермы?

*2 января.* Лунный свет. Вода сразу становится важной, чопорной и поджимает губы. Она замерзла, сделалась чистой, как зеркало. Ручейку хочется заключить луну в свои берега.

Водяные курочки кричат, забившись под корни, наострив клюв.

И кажется, луна желает им помочь и обрушивает весь свой холодный свет прямо в воду.

Готово, поймали! Крысы вот-вот схватят ее зубами.

Вовсе не поймали. Как и всегда, луна легко ускользает, а вода еще долго хмурится.

\* Зимние деревья, нарисованные пером. Каштан угрожающе выставил свои штыки. Всклоченная сухая шевелюра ивы.

\* Чета Филиппов. Они забывают запереть дверь. Они топят печку, но все тепло выдувает. Они никого не видят и не слышат. Даже нищие не приходят больше, не звонят в звонок, не стучатся в дверь.

— Слишком уж холодно, — говорит Филипп, — и они богаче нас. Когда наступает зима, они могут ходить по замкам.



Нищие, конечно, богаче Филиппа.

\* Мне хотелось бы быть равнодействующей нашей деревни.

\* Она носит траур по отцу, скончавшемуся у нее на руках. Она воспользовалась этим обстоятельством, чтобы не топить дома печку, и при малейшей возможности ходит греться к соседям. Им она говорит, что не может сидеть одна. Люди считают, что это вполне естественно, и уступают ей место у очага.

\* Пастух в окружении овец похож на церковь среди деревенских домиков.

*5 января.* Бодлер: «...Душа вина заводит песнь в бутылке». Вот она, лжепоэзия, которая старается подменить то, что существует, тем, что не существует. Для художника вино в бутылке — это нечто более подлинное и более интересное, чем душа вина и душа бутылки, ибо нет никакого резона наделять душой предметы, которые прекрасно обходятся без всякой души.

\* Лев Толстой мог бы сказать Деруледу: «Пока существуют такие люди, как вы, будут существовать войны».

*7 января.* Синонимов не существует. Существуют только необходимые слова, и настоящий писатель их знает.

\* — Что ты готовишь?

— Две-три коротенькие фразы и бесконечные мечты.

\* Лафонтен. Все его животные, взятые отдельно, описаны верно, но отношения между ними неправдоподобны. Карп действительно похож на кумушку со своей старушечьей круглой спиной, но он не станет крутиться возле своей кумы-шуки: он спасается от нее, как от своего заклятого врага.

\* Прислушайтесь к бубенчикам дилижанса! Он приближается к вам, как разжиревшая и пунктуальная домоправительница, позвякивающая в кармане связкой ключей.

\* Приглядитесь к солнечному лучу, проникшему в темную комнату. Он полон пыли. Солнечный луч — ужасный грязнуля.

\* Эмиль Пувийон. «Сезетта». Он любит свой край и хорошо его описывает, но насколько же легче увидеть пейзаж, чем крестьянина! Его пастухи и пастушки насквозь фальшивы. Гуртовщик говорит: «Ох, и вкусен шафрановый суп, жирный, питательный, елеподобный!»

\* — Господа, если мои сведения точны, отечество в опасности!

*15 января.* Каждую минуту я сам перерезаю конский волосок, на котором висит дамоклов меч, и пронзаю собственное сердце.

\* Я как раз такой писатель, которому мешает стать великим единственно вкус к совершенству.

\* Теперь я читаю французскую литературу лишь в избранных отрывках. Но мне хотелось бы самому их выбирать.

*11 февраля.* Нередко ночью я слышу пень петуха. Поутру спрашиваю Филиппа, слышал ли и он тоже. Он говорит, что не слышал, и это меня беспокоит.

\* Нужно, чтобы слово боролось с мыслью, но не давало ей подножек.

\* Чтобы описать крестьянина, не следует пользоваться словами, которых он не понимает.

\* Маринетта научилась распознавать в самом зародыше мои дурные настроения, которые иначе могли бы перерасти в злобу.

\* Сейчас доброта в моде; но мода продержится недолго.

*21 марта.* — А как поживает ваша внучка, мадам?

— Спасибо, сударь, хорошо.

— И вы по-прежнему думаете сделать из нее проститутку?

\* Для того чтобы быть оригинальным, вполне достаточно подражать писателям, вышедшим из моды.

*14 апреля.* Для писателя, который только что кончил работать, чтение — это как поездка в экипаже после утомительной ходьбы.

*19 апреля.* Я не могу удовольствоваться прерывистой жизнью, мне нужна жизнь сплошная.

\* У меня из слоновой кости не башня, а только записная книжка.

\* Эх, писать бы то, что школьники переписывают в тетради. Это значило бы стать классиком!

\* Баррес. Проповедник энергии, как бывают проповедники философии. Для них не обязательно быть мудрыми.

\* Созерцать природу — это все-таки полезнее, чем переводить *Виргилия*.

*22 апреля.* Романтики — люди, которые никогда не видели обратной стороны вещей.

\* Не желаю знать, что может думать о талантливых людях человек, не обладающий талантом.

\* Две утки пролетают по воздуху на такой высоте, где их не может настичь наша жестокость.

*23 апреля.* Что такое критик? Читатель, который причиняет неприятности.

*24 апреля.* Ложная скромность. Пусть хоть ложная.

\* У свиньи на спине белая полоска, которую ей никак не удается запачкать, валяясь в грязи.

\* Записываю мысли, которые будут посмертными. При жизни они мне не нужны; я забываю даже их додумать.

\* Зоологический сад. Кенгуру ходит на икрах.

А у этого нет дощечки с надписью: он еще не сказал, как его зовут.

Лама улыбается, как Сара Бернар.

Броненосец — усовершенствованная черепаха.

Слоны приближаются один к другому, переплетаются хоботами и дуют друг другу в рот, как бы спрашивая, не слишком ли у них мощное дыхание. Их вздохами можно надуть парус. Потом слон танцует — больше головой, чем ногами, в честь посетителей. И эта мягкая масса и этот маленький глаз, как дырочка в большом мешке.

*1 мая.* Общедоступные субботы Сары Бернар. Поэты — организаторы этих полдников — выбрали у Виктора Гюго самые трудные, самые длинные и непригодные для декламации вещи, чтобы публике было на чем поскучать.

Сара, читающая стихи, так лихорадочно взволнована, будто впервые играет «Федру». Слегка похлопали маленькому Брюле, а он, решив, что его вызывают на бис, вернулся на сцену, но никто уже не аплодировал.

Мендес изящно говорит Сашá Гитри: «Вы буквально слились с прозой Жюля Ренара». Приходит Ростан. Он решительно великий человек. Подает только ту руку, в которой держит трость. Еле отвечает на вопросы. Я нахожу все это изумительно прекрасным, поскольку он потрудился прийти ради меня.

Гитри читает. Ко мне подходит Бернар. «Идите же, Ренар! Гитри вызывают третий раз!»

Сара с ледяным лицом делает вид, будто ей неизвестно, что Гитри читает мои вещи.

*6 мая.* Недалеко то время, когда лошадь будет такой же редкостью, как жираф.

*16 мая.* Смерть Сарсе. Когда умирает кто-нибудь из старшего поколения, чувствуешь себя, как на плотине: меняется уровень смерти.

Сарсе знакомил меня с театральными новинками именно так, как мне нужно. Если бы я поехал за границу, я был бы счастлив получить справки не о шикарных отелях, а о средних и удобных. По этому поводу я адресовался бы к Сарсе-путеводителю, если бы такой существовал.

*14 июня.* Я позирую, увы, даже тогда, когда говорю, что позирую.

*20 июня.* Смотреть только на жизнь, но выбирать только те факты, которые имеют значение.

\* У меня есть недостатки, как и у всех людей на свете; только я не извлекаю из своих недостатков никакой выгоды.

*21 июня.* У Сирано де Бержерака язык еще длиннее, чем нос.

*23 июня.* С ветки падает лист, и это целая катастрофа: он прикрывал птичье гнездышко.

*24 июня.* Десятки раз в мечтах я изобретал дендрометр, аппарат для измерения роста деревьев.

\* Я царапаю природу до крови.

\* Голова тяжелая как колос.

*27 июня.* В такие часы хочется прочитать что-нибудь совершенно прекрасное. Взгляд скользит по всем полкам, но ничего нет. Наконец решаюсь взять с полки первую попавшуюся

книгу, и оказывается, что она полна прекрасных вещей.

*28 июня.* В тридцать лет я уже был как Гонкур в семьдесят. Мне хотелось только записывать.

*29 июня.* Изучаю нашу деревню, как изучают историю.

*30 июня.* Мой отец. Деревенские старухи помнят еще ту блузу, в которой он приезжал из Парижа во время рекрутского набора, синюю, немного выцветшую блузу с белыми кантиками и с маленькими перламутровыми пуговками, нашитыми в несколько рядов.

Я сам тоже помню его в блузе. Под блузой он носил белую накрахмаленную сорочку с пластроном. Ах, эта сорочка! Она тоже была предметом моего удивления. Отец не снимал ее даже на ночь, носил подряд целую неделю, а она была все такая же белая и никогда не мялась. Чудо, да и только.

\* Ярмарка. Так и кажется, что это лубочная картинка, изображающая, как «волхвы путешествуют со звездой». Вполне вероятно, что все эти коровы, быки, люди идут поглядеть на новорожденного Иисуса. И эти свиньи, которые визжат на перекрестке, будто их все время щиплют!

Мужчины надели воскресные блузы, а женщины вырядились во все черное. Некоторые открыли и черные дождевые зонтики, чтобы защититься от солнца.

Быки, вслед которым глядят другие быки, пасущиеся на лугах. Сытые кобылы жеманно вскидывают копыта.

\* В мухе есть капля человеческой крови, по-человечески алой.

*5 июля.* Лошади на пахоте. Так как пашня далеко, плуга совсем не видно, и еле-еле видна

фигура человека. И поэтому кажется, что там, на горизонте, лошади разгуливают сами по себе вдоль и поперек поля.

*10 июля.* Колокола живут в воздухе, как птицы.

*16 июля.* Стрекозы с ослиными головами.

\* Луи Пайар сказал мне, потупив глаза, с легкой краской смущения на скулах:

— Поначалу я считал, что ваш талант — это просто долготерпение, но он свободнее. Разница лишь в том, что вместо целой страницы вы ищете одну-единственную строчку, три слова. У вас встречаются коротенькие фразы, которые производят впечатление целого тома. Когда я читаю что-нибудь ваше впервые, почти все производит на меня неблагоприятное впечатление. Перечитываю — и уже лучше.

— Объясняется это, — сказал я ему, — вашей леностью, как читателя. Для того чтобы я мог понравиться, надо сделать над собой определенное усилие, надо быть в определенном состоянии духа, как бы в состоянии благодати. Все, что я пишу, доставляет мне в каждую данную минуту большую радость. Радость эта уходит, возвращается, но она существует, и она передается другому, и, очевидно, вы ее почувствовали. В какой именно момент? Не знаю. При первом, при втором чтении? Не знаю, но в том-то и дело, что вы неизбежно должны ее ощутить.

— ...Рыжик, — продолжал он, — на каждом шагу делает чересчур смелые замечания. Испытываешь неловкость не потому, что он излишне смел, а потому, что мы о нем мало знаем. Даже неизвестно, каков его возраст!

— Это потому, что он состоит из отдельных моментов. Он не есть существо формирующее-

ся, он реально существует. Конечно, я мог бы причесать его, пригладить, но мне не хотелось. Эту работу вы проделываете сами, не важно, если вы и посердитесь при этом, и этим путем вы, худо ли, хорошо ли, обогатите жизнь Рыжика.

— Вот что меня удивляет, — сказал он, — очень уж вы скупо описываете наш край!

— Делаю я это потому, что описания живы не только деталями. На ту или иную местность глядят, ее не инвентаризируют. Вот это зрительное впечатление мне и хотелось бы передать; но для этого требуется не больше двух-трех слов. Я их ищу, и я их найду.

*17 июля.* Смерть наложила на его лицо свое лунное сияние.

*18 июля.* Приняв твердое решение, я все еще остаюсь в нерешительности.

\* Просто думать — этого мало: надо думать о чем-нибудь определенном.

*20 июля.* Среди деревьев самое молчаливое — орешник.

\* Зачерствевшее сердце. Каждую минуту его приходится сжимать, чтобы оно стало мягче.

*21 июля.* Виктор Гюго — гений, который никогда не шел ощупью.

\* Наша жизнь выглядит как набросок.

*23 июля.* В самом радостном перезвоне колоколов всегда слышится что-то мрачное, кладбищенское.

*28 июля.* Стиль — это привычка, это вторая натура мысли.

\* Если бы человеку дана была власть дополнять природу, змее он приделал бы иглы.

\* Разутое дерево; на краю рва видны его ноги и толстые скрюченные пальцы.



*1 августа.* Если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания.

*6 сентября.* Она вопит так, как будто никому не хочется посягнуть на ее добродетель.

*23 сентября.* Заячья нора даже в отсутствие зайца полна страхом.

*25 сентября.* Охота. Над самым ухом ветер дудит свою песенку в коротком стволе моего ружья.

Зеленая волнующаяся и загадочная люцерна похожа на озеро — какие сюрпризы оно нам преподнесет? Флейта Пана — это просто сухие и полые стебельки стерни, которые при малейшем ветерке издают нежный мелодичный звук. А если к звукам примешивается еще и пение перепелки, то получается совсем изысканно.

Одинокая деревушка затерялась среди леса, заслоняющего горизонт, и почтальон добирается сюда только после трех часов пополудни...

Глядишь на эти фермы, и тебе кажется, что здешние жители никогда не читают газет и о новостях, происходящих на свете, узнают лишь на ярмарке.

Луга, и снова луга. Похоже, что здесь живут одни только быки. Я подумал: «Почему ферма расположилась именно здесь, а не в другом каком-нибудь месте?..» Филипп сказал мне, что поблизости есть источник, который никогда не пересыхает. Вот вам и объяснение.

Сам Филипп немножко стесняется и своего ружья, и ягдташа, и своего барского пальто, особенно когда приходится проходить мимо поля, где за плугом идет знакомый крестьянин.

Вот луг, который дядюшка Перрен выиграл в карты у деда Шата. Сам Перрен как-то в

воскресенье проиграл лошадь с телегой, но через неделю отыграл обратно...

*28 сентября.* Заяц толст, тяжел, и мы бледнеем почти так же, как если бы мы только что убили человека.

*17 октября.* О, эти поэты-почвенники, от которых даже не припахивает навозом.

\* Бал. Музыкантов трое: отец играет на скрипке, сын на треугольнике и мать — на виолончели; но она только притворяется, что играет: ее виолончель молчит. Она даже не решается коснуться смычком струн.

\* Из всего, что мы пишем, потомство сохранит самое большее одну страницу. Я хотел бы сам выбрать для него эту страницу.

*22 октября.* Мольер. Гитри читает нам «Мизантропа», и так умно читает, как никогда не приходилось слышать зрителям в театральном зале. Удивительно, до чего у Мольера тусклые образы, но зато какое горькое красноречие! Неудержимый смех и неудержимые слезы.

*26 октября.* Солнце уменьшается на нитке горизонта, как будто стягивают узелок.

*29 октября.* Болтлив, горласт, пошл, невыносим. Ему достаточно четверти часа, чтобы обнажить до конца свое страдающее сердце, сердце маленького литератора. Разойдется ли его книга? Возьмет ли у него издатель следующую? Он рад стать рогоносцем, если из этого можно извлечь «шедевр».

Он знал нищету. Теперь ему хочется быть уверенным, что то, что он делает, хорошо.

*30 октября.* Никогда не жаловаться самому и утешать других.

*31 октября.* Страшное дело — надевать фрак, сидеть на одной половинке зада, есть, не чувст-

вужа вкуса, говорить без увлечения, потом играть в карты или смотреть, как играют другие.

Некоторые дамы заявляют, что не видят у Гитри ни капли таланта, и говорят это таким тоном, будто хотят сказать: «Этот господин не предлагает мне переспать с ним».

Хорошенькие женщины болтают, улыбаются, едят и пьют, как ангелы, потом, распустив пояс, усаживаются за карты, словно старые ведьмы.

Они едят грушу вилкой, да и во всех случаях жизни ведут себя так, словно перед ними груша и вилка.

*24 ноября.* То, что в театре называют новой ситуацией, — это просто невозможная ситуация.

*26 ноября.* «Рыжик». Читаю его Антуану. Перед сценой в амбаре слышу: «Но это же чудесно». С этой минуты читаю более уверенно, то есть не так хорошо. Впрочем, на этот раз я ничуть не взволнован. После сцены на сеновале я чувствую, что пыл мой гаснет, и моя аудитория чуть от меня ускользает. Антуан закуривает сигарету, я слышу звонки, шаги в коридоре. Начинаю комкать. Когда мосье Лепик расчувствовался, пошло лучше. Конец.

— Это чудесно, — повторяет Антуан. — В одном месте совсем небольшая длиннотка. (Он не может точно сказать, в каком именно. Конечно, там, где я почувствовал, что комкаю.) Но это так, к слову сказать. Редко приходилось слушать что-либо равное этому. Я просто не верил, что вы сможете сделать такое из «Рыжика», вам обеспечена сотня представлений.

— Вы не блефуете?

— Я на это не способен.

— И вы согласны играть Лепика?

— Еще бы.

Тут я замечаю, что уже надел шляпу. Медленно снимаю ее. Антуану это явно по душе.

\* Как быстро утомляет радость! Ни за какие блага мира я не согласился бы быть слишком счастливым. Радость ложится на сердце, как кусок обжигающего льда.

*1 декабря.* Не следует говорить всей правды, но следует говорить только правду.

*2 декабря.* Театр. Избегать вульгарных эффектов и не давать комическим персонажам смешные имена.

*10 декабря.* В моем памятнике выдолбите маленькую дырочку на макушке, чтобы птицы прилетали туда пить.

*22 декабря.* Если бы я писал не то, что умею писать, посмотрели бы вы, какая получилась бы гадость!

*26 декабря.* Ирония не иссушает: она сжигает лишь сорную траву.

*28 декабря.* Писать «Дневник» и заносить туда лишь заметки прошлого года. Никто бы их не узнал. И мысли, потеряв свою новизну, показались бы всем страшно глубокими.

*29 декабря.* «Рыжик». Читаю у Гитри. После сцены со служанкой он говорит: «Превосходно». После сцены самоубийства: «А это хорошо». Дочитываю пьесу, немного комкаю. Когда кончаю читать, вижу у него на глазах слезы.

— Превосходно, — говорит он.

— Теперь, — говорю я, — приступим к критике.

— Подождите! Во-первых, необходимо отдать пьесу в «Комеди Франсез». Я, только я один смогу вам сыграть мосье Лепика. Его доброту... (Я думаю про себя: «Мосье Лепик не добрый

человек; это человек, у которого бывали минуты шемящей растроганности».)

Гитри настаивает. Я отвечаю, что не могу.

— Критики! — требую я.

— У публики перехватит дыхание; не следует слишком волновать ее. После ухода мадам Лепик я свел бы все остальное к пяти страничкам. Тут зритель желает лишь одного: чтобы отец и сын упали друг другу в объятия. Ничего не надо, кроме комического и трогательного. Убрать жестокости и общие фразы: Рыжик о семье — слишком жестоко, так напыщенно он говорить не может, мосье Лепик об уступчивости мужей, и т. д. — это вычеркнуть. Вообразите, что вы обрабатываете кожу, а все прочие чесучу. Не надо, чтобы Рыжик был мучеником. У Антуана ни за что не получится огромная и жалостливая доброта мосье Лепика. Надо, чтобы в каждой фразе мосье Лепика чувствовалось: «бедный мальчик», чувствовалось бы, что он ласково гладит волосы Рыжика, по-отечески дергает его за ухо. Придумайте что-нибудь в сцене Рыжика и служанки. Пусть у зрителя не создается впечатления, что Рыжик — месь Жюль Ренара.

---

1900

*1 января.* Ростан написал обо мне письмо министру Лейгу. Мадам Ростан пересказывала отдельные фразы Маринетте, а та передала их мне. На глазах у меня выступают слезы, сердце радостно бьется. Я буду награжден орденом.

Должно быть, министр счел Ростана просто сумасшедшим.

Как он несчастен, наш бедняга Ростан! Считает, что его «Орленок» скучная вещь. Еле держится на ногах. Засыпает не раньше шести часов утра; каждый день доктор делает ему уколы, не знаю какие.

*2 января.* Они говорят «смело» там, где следовало бы просто сказать «похабно».

*4 января.* Две сестры, которые уже потеряли надежду на то, что замужество сможет их разлучить. Двадцать восемь и двадцать шесть лет. Одинаковые шляпки, одинаковые галстучки на шее. Одновременно рассказывают одни и те же истории. Каждая вносит свои подробности. Одна начинает фразу, другая ее заканчивает. Это очаровательно и грустно. Поскольку обе бедны, они не стыдятся, что остались незамужем. Обе дают уроки: старшая — музыки, младшая — живописи.

Будь я богат, я женился бы на обеих сразу.

Они свеженькие, как вишенки, которые забыли сорвать, которые буреют, сохнут.

Говорят, у одной из них было что-то с неким лейтенантом.

— Так чего же он ждет?

— Ждет, когда его произведут в капитаны.

Но чувствуется, что не в этом дело, что это уже старая, давно конченная история.

*8 января.* В театре Антуана. Лаженес издали кричит мне: «Все в порядке?» Я отвечаю: «Нет». В антракте он мне говорит, что пока ничего не известно. Вместе с Мюльфельдом он составлял записку о Поле Адане. Франк-Ноэн говорит, что статья в «Голуаз» написана Лапозом.

— Это, как если бы написал сам министр. Значит, дело верное.

— Я слышал от Гитри, — говорит мне Бернар, — что кандидатами намечены Поль Адан, Монтегю и Тудуз, но я в это мало верю.

Иду домой. Маринетта сообщает мне, что все в порядке. Мадам Ростан принесла маленький футлярчик с лентами и маленький бриллиантовый крестик. Мы цепенеем, но не радуемся. Сразу же меня охватывает сомнение. Маринетта меня подбадривает. В газетах — в «Тан», в «Деба» — ни слова. В «Пресс» пишут, что я не буду награжден.

Посылаю Маринетту к Ростанам. Телеграмма от Франк-Ноэна: он видел Лапоза, который еще ничего определенного не знает.

Вот и все. Нечего сказать, хорошенький финал этой нелепой авантюры, которая теперь мне просто противна. Мой брат сидит в кресле и делает глупейшие замечания с глубокомысленным видом знатока. Он, мол, все знал заранее!

*12 января.* Из окна вижу, как на противоположном тротуаре толпятся люди и на что-то глазят. Наклоняюсь и замечаю белую лошадь: это карета Ростана. Сердце начинает биться. Входит мадам Ростан с хмурым видом:

— Бедный мой друг, должна сообщить вам дурную весть и предпочитаю сказать все сразу. Я просто в отчаянии. Все шло прекрасно, но в последнюю минуту вас заменили Мораном, другом Лубе. Ростан в бешенстве.

Лицо ее пылает. Я не слишком взволнован, но неизвестно, почему уголок глаза увлажнился.

— Ростан к вам заедет, — говорит она. — И все сам объяснит, когда станут известны подробности.

И действительно, я не слишком взволнован. Я, например, заметил, что на ней черное шелковое платье, весенняя шляпка и что вид у нее утомленный. Она находит, что я держусь молодцом. На лице у меня интересная бледность, как у роженицы.

*20 января.* ... Жемье меня поздравляет, впрочем, довольно вяло, с награждением орденом Почетного легиона, распахивает на мне пальто и, ничего не увидев, в довершение всего извиняется.

Обычно говорят о моем «авторитете», по правде сказать, он мне надоел. У меня репутация человека сдержанного. Стоит мне сказать кому-нибудь любезность, как она начинает звучать так громко, что моя искренность протестует. Никуда больше не буду ходить и не буду никому говорить любезности.

*1 марта.* «Рыжик». Репетиция. Я спокоен. Даже слишком, ибо дом Лепиков крыт черепицей.



Репетируют в первый раз, гонят без остановки, декорации установлены только наполовину, да и вообще они не очень хороши. В зале несколько человек — дамы, актеры. Первая часть показалась мне суховатой и жесткой. Антуан плохо знает роль, потом вдруг я начинаю чувствовать, что дело пойдет, и дальше идет без запинки. По лицу Рыжика текут слезы, смывая румяна. Физиономия у него страшная — настоящий убийца собственной матери. Чувствуется, что Антуан себя бережет и что на генеральной репетиции он будет куда лучше. Мопен плачет, потому что, по ее мнению, мадам Лепик слишком жестока, и добавляет:

— Это ничего. Это только комедиантство.

Репетируют, чтобы «отделать» пьесу, говорит Антуан, который сам не способен произнести без ошибки три реплики, и этот подлинный артист дает ценные указания.

Маринетта теперь совсем расхрабрилась. Она меня даже пугает. И все-таки мне становится легче на душе. Я сумел извлечь из Рыжика именно ту суть, которую хотел извлечь. Не все ли равно, дойдет он до десяти или до десяти тысяч зрителей. Это уж их личное дело!

Вторая репетиция в полночь, клочковатая, скачкообразная, но после утренней меня это не тревожит. Маринетта, выйдя из уборной Мопен, которая поведала ей все свои истории, говорит мне: «Они просто очаровательны, все эти артисточки!»

Депре окунает палец в баночку и заглатывает солидный кусок вазелина. Говорят, что для голоса это полезно, но тем, кто не привык закусывать вазелином, это противно до рвоты.

Какая-то статистка, играющая проходную

роль, говорит мне, что ее имени даже нет на афише, а намазалась так, будто успех пьесы зависит от того, как будет освещено ее лицо. До сих пор на сцене ей приходилось только открывать и закрывать двери, а она толкует о ролях, которые уже создала.

Несколько раз Антуан, слушая Депре, восклицает: «Вот это актриса! Как интересно с ней работать и учить такую женщину!» Она краснеет от похвал.

Ужинаем в театральном баре. Полицейские стучат в дверь. Антуан кричит им: «Я у себя дома».

*2 марта.* Генеральная репетиция. Иду в театр пешком. За кулисами ходят зловещие слухи по поводу пьесы Эрмана. Спектакль не получился. Кто-то протестует... Чувствуется сопротивление публики. Депре бледная от волнения. Антуан нервничает. Я даю ему какой-то совет, но он почти не слушает. Я остаюсь в его уборной.

Я хожу, рассеянно оглядываясь вокруг. Машинально трогаю вещи. Наконец слышу, как опускается занавес, слышу шум. Потом появляются актеры с какими-то странными лицами. Антуан целует Депре и говорит, сдерживаясь: «Это огромный успех!» Сияющая Депре без парика говорит мне: «Это вас надо спросить, довольны ли вы!»

О, прекрасные лица тех, кто приходит сюда ко мне, лица, освещенные улыбкой, смягченные слезами. Гитри: «Мы многого ожидали от вас, но вы превзошли себя!» Мадам Брандес: «Ох, как я рада! Вы великий художник!» Маринетта до краев переполнена радостью, Декав, чуть-чуть суховатый Куртелен, Порто-Риш, покачивающий головой, Капюс, который говорит мне:

«Это первоклассно», — и мне становится стыдно, что я так сурово оценивал его пьсу.

— Я лично, — говорит Антуан Маринетте, — ничего не сделал. Сделал все он один. Он принес мне целый ворох ремарок.

*27 марта.* Верю в свою бледную звезду.

*2 мая.* Мама. Маринетта уговорила меня пойти к ней. Сердце у меня слегка бьется, потому что мне не по себе. Мама в коридоре. Она тут же начинает плакать. Молоденькая служанка не знает, куда сунуться. Мама долго меня целует. Я отвечаю ей всего одним поцелуем.

Она вводит нас в папину спальню, снова целует меня и говорит:

— Как же я рада, что ты пришел! Заглядывай ко мне время от времени! Господи боже мой! Какая я несчастная!

Я ничего не отвечаю и выхожу в сад. Она говорит:

— Пойди посмотри наш бедный сад! Куры разрыли все грядки и клумбы!

Только я выхожу из комнаты, она падает к ногам Маринетты и благодарит ее за то, что та меня привела. Она говорит:

— У меня только он один и есть. Морис приходил меня навестить, но даже не смотрел в мою сторону.

Она хочет дать мне серебряный столовый прибор. Маринетте она предлагает настенные часы. Как-то она сказала Байи: «В Сент-Этьене я видела маленький перочинный ножичек, и я чуть было не купила его тебе».

Целый год я ее не видел, — она не то что постарела, а расплылась, обрюзгла. Лицо все такое же, по-прежнему в нем чувствуется что-то



Мать Жюля Ренара с сыном Морисом

пугающее, как на той фотографии, где она держит на коленях Мориса.

Никто не плачет и не смеется с такой легкостью, как она.

Я прощаюсь с ней, не поворачивая головы.

Клянусь, я уже давно не мальчик, и все-таки она действует на меня, как никто другой...

*10 мая.* Коммуна Шомо настолько незначительна, что даже газеты нашего края не пишут ничего о муниципальных выборах в Шомо. Парижские газеты «Ля Пресс», «Матэн», «Эвенман» объявили о моем избрании. Но в Корбиньи, в четырех километрах отсюда, никто не знает, что я избран. Правда, я сам позаботился о том, чтобы известить Париж.

*11 мая.* Дайте мне жизнь, о литературной части я позабочусь сам.

\* Я двигаюсь, как крот. Время от времени обрушиваю комок земли. Просвет. Затем возвращаюсь в свою тьму.

*30 мая.* Пламя, пожалуй, последнее, в камине. Роза, первая, в стакане с водой.

\* Наша душа бессмертна! Почему? А почему не душа животных? Когда гаснут два света, какая разница между пламенем жалкой свечи и пламенем великолепной лампы со сложной горелкой, на высокой подставке, под абажуром, который развеивается, как юбочка?

*2 июня.* Моя мания быть добрым убивает во мне талант незаурядного полемиста. Когда я читаю статью Рошфора или Дрюмона, я иногда говорю себе: «Бедняжки! И это все?»

\* Кюре из Шитри. В глубине души он очень оскорблен, что я не отдал ему визита, который он мне нанес после трех месяцев колебаний.

— Вы увидите, — говорит кюре, — он често-

любец, ваш Ренар. Он явился в Шомо хлопотать о выборах. Он захотел чинов. Не может пройти в Академию, так хочет стать муниципальным советником. Он надеется на наших людей. Я с ним говорил, я знаю, какой он мечтатель (улыбаясь), поэт! А гордый какой! Да, да... Он взял себе в заместители своего слугу Филиппа. Он написал «Рыжика», чтобы отомстить своей матери, добрейшей женщине.

В Шитри ходит по рукам экземпляр «Рыжика» с таким примерно примечанием: «Этот экземпляр найден случайно в книжном магазине. В этой книге он плохо отзывается о своей матери, чтобы отомстить ей».

*3 июня.* О Поле Адане. После каждой его фразы следовало бы легонечко ударять в барабан.

*6 июня.* Ламартин мечтает пять минут и час пишет. Искусство как раз в обратном.

\* Мое воображение — это только моя память.

\* Адан пишет все, что приходит в голову нам.

\* Не вставать слишком рано, природа еще не готова.

\* Птица не чувствует боли, когда ей подрезают крылья, но летать больше не может.

*16 июня.* Я болен прозой, как когда-то болел поэзией. Как же я буду писать потом?

*18 июня.* Ремесло писателя в том, чтобы научиться писать.

\* У меня работа спешная — для потомства.

\* Бледные, почти белесые тучи, которые медленно отделяются от черноты и похожи на дымок от грозовой канонады.

Горизонт сужается. Зелень лугов, желтушная зелень, от которой больно глазам и серд-

цу. Предзакатная тишина, и даже маленькие кусочки лазури.

Отдельные тучи сразу же откликаются на зов грозы и влекутся к грозовому мешку.

Там идет битва.

Относительно спокойный участок, куда стягиваются свежие подкрепления туч.

Мне на голову не упало ни капли, а в нескольких шагах деревья насквозь промокли от дождя.

Начинается бой. Успех его решает пушечный выстрел. Грохот града.

Рыжий фон, синий гнев, желтая ярость и это непрерывное мычание.

Битва туч. Некоторые из них возвращаются с поля боя раненные, опустошенные.

Те, что поменьше, спасаются бегством, потом возвращаются обратно. Многочисленная и сплоченная армия дождя спешит им на помощь.

И зрелище становится таким впечатляющим, что записная книжка закрывается сама собой и захлопывает карандаш.

К вечеру тучи снова идут в бой, искалеченные, окровавленные, одни торопятся, другие — еле-еле ползут.

Там у горизонта по кровавой воде катится солнце, как отвалившееся колесо боевой колесницы.

Река выходит из берегов, и быки, тревожно мыча, перебираются через это море.

\* Мне хотелось бы быть человеком одной мечты.

20 июня. Все пальцы в жемчугах, будто она вытащила руки из глубин моря.

28 июня. Дидро. И весь этот ветер для того

только, чтобы принести нам немного семян и немного цветов!

*3 июля.* К чему давать определение скульптуре Родена? Мирбо умеет, как никто, окутывать туманом простоту этого художника, этого мощного, пронизательного и лукавого труженика.

Здесь есть серебряная голова женщины, и нельзя отрицать, что своим обаянием, совсем особым обаянием она обязана серебру. Какой-то господин пожимает плечами.

В «Бальзаке» чувствуется восхищение перед творчеством Бальзака, гнев скульптора против неподатливой глины и вызов людям.

Есть здесь груди, которые тают в руке любовника.

Прекрасный «Рошфор», у которого щеки свисают, как складки занавеса.

«Виктор Гюго», чья голова, отягченная нашим преклонением, давит на туловище, которого мы не знаем

«Любовники», которые обвили друг друга и словно говорят: «Как бы нам еще обняться, чтобы любить друг друга, как никто не любил до нас?»

*5 июля.* Всемирная выставка живописи и скульптуры. Не считая Бенара, о котором можно сказать: «Это неглупо», — несколько Каррьеров, забавный Больдини и еще что? Живопись — это то, что должно быть понятно и ребенку. Вот уже десять лет, как меня интересуется одна только правда. Не этим людям обмануть меня...

А Жервекс, а Детайль! И это жизнь? Впрочем, среди современных писателей есть ведь только двое-трое, которых я люблю, и я уверен, что только они одни хорошо пишут. Нет осно-



ваний требовать, чтобы в живописи пропорция была иной.

*10 июля.* Во мне живет человек, который может каждый день писать по одному акту пьесы; но я заковал его в цепи и запер в трюм.

*11 июля.* Не золотой век, а век золота.

*9 августа.* Подумать только, что когда-нибудь мои друзья встретятся и скажут:

— Ты слышал! Наш бедный Жюль Ренар...

— Да, да. Ну и что же?

— Как что же? Умер.

\* Бывают часы, когда все слова приходится искать в словаре.

*11 августа.* Часы отвращения, когда хочется не иметь никакого отношения к самому себе.

\* Сон, мелко нарубленный на тысячу коротких пробуждений.

\* Уже написанное слово держит меня тысячью нитей, которые я не сразу обрубаяю.

*16 августа.* Депеша министра Жоржа Лейга — Эдмону Ростану от 13 августа 1900 г.: «Г-ну Ростану, писателю, улица Альфонс де Невиль, 29. Дорогой Ростан! Жюль Ренар, которого вам угодно было мне рекомендовать, получит крест. Он будет представлен к награде по случаю выставки. А вы, дорогой господин Ростан, получите завтра розетку офицера Почетного легиона. Счастлив, что превратности политики и жизни позволяют мне дать это свидетельство моего преклонения перед одним из тех, кто более всего служит украшением французской словесности. Сердечно ваш Жорж Лейг».

*8 сентября.* Тетива моей фразы всегда натянута.

*9 октября.* На ручке для пера — колокольчик, чтобы мне не задремать.

\* Каждое из наших произведений должно быть кризисом, почти революцией.

\* Такое состояние ума или, скорее, сердца, что мы не удивились бы, если бы туфли закричали, потому что они надеты на нас.

\* Орден. Сколько поздравлений! Точно я разрешился от бремени.

\* Уверен, что, решив говорить одну лишь правду, я высказал бы не бог весть что.

*12 октября.* Дерево раскачивается, как жираф, который спит стоя.

\* Подобен воде, которой не хотелось бы ничего отражать.

*19 октября.* Антуан с голой шеей, стоя, долго бреется — три или четыре раза подряд, — потом валится в кресло, так и не сняв грубые башмаки господина Лепика, и начинает разговор. Он любит, чтобы его слушали, и я стараюсь быть внимательным слушателем. Брюзга, колючий, он, видимо, нуждается в нежности. Хвастает, что никого не боится и что «ударил Бауэра головой в живот».

Антуан тщеславен, не прочь получить орден и хочет стать директором театра Одеон.

— Я хочу быть чиновником в хорошем театре и выручать восемь тысяч в вечер на ваших пьесах. Вам нужно быть в Академии. Несчастье, что Золя не в Академии. Во-первых, это канон. И кроме того, дело Дрейфуса приняло бы другой оборот, если бы под «Я обвиняю!» стояла подпись: «Эмиль Золя, член Французской академии».

*14 ноября.* У него много таланта, но только литераторского; его книги — только книги.

\* Перелистываю страницы этого «Дневника»: все же это лучшее и наиболее полезное, что мне удалось сделать в жизни.

*15 ноября.* Природа ненавидит болтунов.

*16 ноября.* Счастье, которое нам приписывают другие, еще усугубляет тоску при мысли, что мы вовсе не счастливы.

*20 ноября.* Что-то вроде маленькой и острой «отдачи» в мозгу при виде собственного имени, напечатанного в газете.

*21 ноября.* Это я-то не энтузиаст? Музыкальная фраза, журчанье ручейка, ветер в листве, и вот уже бедное мое сердце переполняют слезы, да, да, самые настоящие слезы!

*29 ноября.* Ни разу она не присылала мне письма меньше чем на шести страницах и подчеркивала все слова подряд.

\* За десертом Баи изучает циркуляцию крови в мандаринах.

\* Вы перепродаете за три тысячи франков то, что сами купили за пятьсот, и говорите «дела есть дела». Но нет! Кража есть кража.

*4 декабря.* «Эрнани» в «Театр Франсе». Мунесюлли то и дело бьет себя кулаком в грудь, пять-шесть раз подряд, и, видимо, чувствуя, что недобрал, добавляет еще два-три удара. Он кричит, как тюлень, вытягивает губы на манер клистирной трубки, раздувает ноздри чуть ли не до глаз, похожих на чудовищный яичный белок. Или его не слышно, или он вопит, но среди этих воплей он прочел стихов пятьдесят как сам господь бог.

Вормс в своей куцей жесткой мантии производит комическое и отнюдь не величественное впечатление. Напрасно он так весело спускается в склеп: в один прекрасный день он

оттуда не выйдет. Читает свой монолог, как басенку. Вот уж действительно не император.

Необычайное мастерство Виктора Гюго не мешает его гениальности.

*6 декабря.* Каждое мгновение перо выпадает из рук, потому что я говорю себе: «То, что я пишу, — неправда».

*11 декабря.* «Орленок». Прочел все шесть актов. Ростан действительно единственный, чье лучезарное превосходство я признаю. У него крылья, а все мы ползаем.

Это не слишком прекрасно, как у Виктора Гюго, но зато это написано с умопомрачительной сноровкой и непринужденно двигается по волшебным тропкам.

И в «Эрнани» тоже есть плохие стихи, которые упразднило время. Дон Карлос довольно грубо шутит с графом насчет его шевелюры.

И хотя пружины видны — это золотые пружины.

Виктор Гюго воспеваает женщину, не глядя на нее. Ростан очарователен с женщиной, на которую он глядит и которую любит.

Иногда, когда мы слушаем Виктора Гюго, наши чувства разбухают и нам становится не по себе. С Ростаном можно плакать, даже если покажешься смешным. Пять-шесть раз сердце у меня сжималось: я хотел бы быть Ростаном.

*12 декабря.* — Вы уже дрались на дуэли?

— Нет, но я уже получил пощечину.

*17 декабря.* Его книги написаны у него на лице.

*18 декабря.* К чему столько писать? Все равно публика знает только два-три заглавия книг самых плодовитых авторов.

\* Обходиться малым количеством денег — это тоже талант.

*22 декабря.* ... Сегодня ночью были заморозки — и поутру вся земля, все деревья, крыши разубраны крохотными перышками.

\* Мечтать, мечтать самозабвенно и не показывать виду. Быть как колодец, на дне которого спят бледные истины.

\* Поэт, не ищи ничего другого! Ты создан и послан в мир, чтобы стать сознанием всего, что лишено сознания.

\* Есть места и есть минуты, когда мы до того одиноки, что видим весь мир.

\* На охоте. Всем этим маленьким, уединенным, затерянным домикам хочется крикнуть: «Подойдите же ближе к деревне, к нам, к жизни!»

\* Птица — кочующий плод дерева.

\* Внутренности свињи свежи, как приданое новобрачной. Какое прекрасное белье — эта отделяющаяся от мяса жировая ткань!

Только и есть бесполезного у свињи, что мешочек желчи. Даже собаки не прельщаются ею. И в нас самое ненужное, пожалуй, наша горечь.

\* Зайца губит его петлянье. Если бы он бежал прямо вперед, он был бы бессмертен.

\* Чистое, как стакан, небо.

---

## 1901

*1 января.* У меня вкус к высокому, и я люблю только правду.

\* Я следую за жизнью шаг за шагом, а ведь жизнь не пишет в год по книге.

\* Этот «Дневник» меня опустошает. Это не творчество. Заниматься любовью ежедневно — не значит любить.

*8 января.* Они создают свои пьесы на бумаге. Они не видят ни действующих лиц, ни актеров на сцене. Они пишут свои пьесы в воздухе. Им не важно, где происходит диалог и между кем.

*18 января.* Жизнь от меня ускользает: держу ее лишь за самый кончик.

*23 января.* ... В беспорядочном разговоре, почти бессвязном, Тристан Бернар подбивает меня работать.

— Вы слишком много читаете, — говорит он, — слишком много делаете заметок. Все у вас редкость во всех смыслах. Вы могли бы написать хорошую книгу приключений, — я в этом уверен потому, что слышал, как вы удачно критикуете пьесы. И потом, если я не надеюсь, хорошо вас зная, что вы когда-нибудь меня удивите, зато я уверен, что все вами написанное будет написано хорошо и расширит круг ваших читателей. В вас дремлет целый запас неиспользованных воспоминаний.

— Да, — отвечаю я, — но никакое побуждение, исключая желаний (а у меня его нет) или необходимости (а она, увы, скоро появится), недостаточно сильно, чтобы заставить меня творить. Я не стремлюсь обязательно использовать все, что нахожу: с меня хватит записей. И к тому же я не хлопочу о «количестве». Ведь у меня впереди еще лет двадцать, и придется, хочу я этого, нет ли, добавлять к моим книгам еще книги. И потом, надо читать. И потом, столько вещей надо понять.

*28 января.* В противоположность тому, что сказал Бальзак, я говорю: разве у меня есть время писать? Я наблюдаю.

\* Слишком сжатый стиль, читатель задыхается.

\* Поэмы, виденные во сне. Разум по утрам делает с ними то же, что солнце делает с росой.

*31 января.* XVI век: новый язык прет изо всех пор. Весна языка. Он зелен, он пестр, он опасен, он добр.

\* Прочел в «Ревю Бланш» последнюю главу «Записок сумасшедшего». Флобер начал с того, чем кончил Мопассан, — с превеликих банальностей. Напоминает «На воде», но слишком рано написано. У Флобера не показана, как в рассказе Мопассана, жизнь человека.

*4 февраля.* Я рассказываю Тристану Бернару, что, когда Виктору Гюго было тридцать четыре года и он путешествовал инкогнито, он обнаруживал свое имя, написанное на стенах церквей.

— Да, при своем вторичном посещении, — говорит Тристан.

*5 февраля.* После скарлатины, коклюша, плеврита — что теперь? Лицо врача, который уже

ничего не понимает. Жар упорно держится. Врач говорит наконец:

— Нет причин для беспокойства, но я хотел бы посоветоваться с Гютинелем.

При этом имени у меня к горлу подступает такой же комок, что и тогда, когда старик Бушю сказал о Фантеке: «Это круп».

Он выслушивает Баи. Ей уже нечем дышать. Печень увеличена: очаг в плевре не расширяется, но и не уменьшается.

— Нет причин для беспокойства, — повторяет он, — но я не знаю, чем объяснить общее состояние организма.

Маринетта и я, мы уже не решаемся ни говорить, ни смотреть друг на друга, потому что слишком много говорят глаза. Как легко представить себе смерть этого маленького существа! Короткое и быстрое дыхание, вот это и есть ее жизнь! Разве не может оно прерваться?

Мой безграничный эгоизм подсказывает мне: «Я видел уже смерть моего отца. Я видел смерть брата. Может быть, нужно еще, чтобы я увидел это». Мы — эгоисты, а все-таки я согласен поменяться с ней: я уйду, пусть она останется. Это, конечно, когда я очень взволнован.

Я проживу всю свою жизнь как эгоист. Все же я знаю, что эгоизм имеет границы, бывают минуты, когда мы его отвергаем.

И вот завтра придет он, этот бог, который умеет уловить ритм нашего дыхания, который будет говорить, быть может, наобум, твердо веря, однако, в то, что он скажет!

Одиннадцать часов вечера! Все еще температура сорок, маленькое тело горит, внутренний огонь пожирает маленькую душу: отблеск этого пламени лежит на ее щеке. Веки сомкнуты,



спишь ли? Спишь? Веки раскрываются. Только они и способны еще откликаться.

А мама, она здесь, она отдаст свою жизнь каплю за каплей, даже если бы пришлось с каждой каплей отдавать всю себя. Что такое сердце писателя рядом с ее сердцем?

*7 февраля.* Истина стоит того, чтобы мы несколько лет не могли ее найти.

*13 февраля.* Баи. Жар внезапно спадает, как сгоревшее белье.

В кривой температуры — маленькие колоколенки жара.

\* Если утопающий сложит руки для молитвы, разве он не погиб? Так пусть же плывет без остановки.

*18 февраля.* ... Мне ни разу не посчастливилось даже опоздать на поезд, которому суждено было потерпеть крушение.

\* — Я бы охотно отдала тебе мою игрушку, — говорит маленькая девочка, — но я не могу: она моя.

\* Написать жизнь Рыжика — всю, без прикрас — одну только правду. Скорее это будет книга о господине Лепике. Рассказать все. О, как мне было неловко, когда он признавался мне насчет этой грязной и хорошенькой девчонки.

Иногда мне хотелось бы узнать, что я не его сын: это было бы забавно. И даже не упоминать, что я его сын. Сказать все, как есть, без стеснения.

Закончить, после его смерти, маленьким гимном в его честь. Книга, от которой завоют и заплачут.

Я пишу не для школьниц.

Я сделал эту главу, но плохо. Я начну ее сначала.

Частью он мне расскажет свою жизнь, частью я сам ее разгадаю.

Он поминал Христа по любому поводу. Каникулы. Дилижансы. Он ходил с мешком.

Его фотографические карточки.

Эту книгу я должен рассказать, как мужчина.

«Мадам Лепик была свеженькая. Я ее не любил, но спал с ней с удовольствием».

И когда я это пишу, я чувствую, как смягчается мое сердце.

Он давал мне советы, как экономно жить.

Мари соблазняла его, но он не мог ничего сделать, потому что старуха каждую минуту входила и выходила из калитки.

Почему я стесняюсь написать такую книгу? Половина моих персонажей уже умерли, другие умрут не сегодня-завтра и не из-за того, что я напишу эту книгу.

\* Дайте мне золотую рыбку в бокале, и я в мечтах представлю себе Восток.

\* А все эта чертова баба — Природа.

*20 февраля.* Этим молодым поэтам не жалко написать пять актов в стихах только для того, чтобы поспать с какой-нибудь актрисой.

\* Хватит ли у меня мужества рассказать другим правду, которую мне не хватает мужества рассказать себе самому?

*21 февраля.* В семидесятом году мосье Лепика обвинили в том, что он переписывается с Бисмарком.

Я смотрел на него сначала глазами ребенка, потом глазами молодого человека, потом глазами взрослого. Его смерть.

*25 февраля.* Женщина. После большого горя она готова припудрить виски, лишь бы думали, что она поседела.

27 февраля. Вчера Гитри сказал мне с какой-то даже робостью:

— Я все же прочту вам последнюю сцену моей пьесы, несколько реплик, и буду читать, пока мне самому не надоест.

И он приносит папку с надписью «Листы». Там действительно лежат листы...

История одного адюльтера, которая оригинальна уже тем, что не гнусна; муж-рогоносец, не знающий, как ему поступить, и любовник, который очень мило берет над ним верх. Он играет на бильярде, а тем временем супруг, только что заставший его с женой, бормочет, сидя в соседней комнате: «Что делать?»

1 марта. Вкус — одна из семи смертных добродетелей.

\* Счастье не делает человека добрым. Такое заключение выносишь по поводу чужого счастья.

5 марта. Нравиться публике своей оригинальностью — вот задача! Нет ничего легче, чем быть неприятным смельчаком.

14 марта. Сделать из Тартюфа сельского священника.

\* Господин Лепик. Он был мой отец. Мы прожили вместе долгую жизнь. Мы жили с ним бок о бок. Он умер, а я ему ничего не сказал...

\* В этом году не напишу ни строчки: нынешней зимой я замерз.

\* У Леона Блюма.

— Могу ли я, — говорит он, — подписать «Новые разговоры Гете с Эккерманом», то есть поставить свое имя на обложке, на которой будет стоять имя Гете?

— Почему бы и нет? — говорю я. — Смелость не в том, что вы подпишете эту книгу, а в том, что вы решились ее написать.

— Да, но это меня еще больше смущает.

В графинах остывает кипяченая вода.

— Теперь, — говорит Буланже, — писатели пишут только синонимами.

— Лишь анонимная критика может быть искренней, — говорит Блюм. — Такова вся английская журналистика.

*16 марта.* Будем художниками! Не будем заботиться ни о деньгах, ни о том, чтобы стать муниципальными советниками или членами какой-нибудь секции Лиги прав человека. Наши отцы умели только зарабатывать деньги. И если они зарабатывали неплохо, тем лучше, — спасибо им! Израсходуем их денежки! Если они зарабатывали мало, очень жаль: сами виноваты...

... Эта плохая пьеса принесет тебе двадцать тысяч франков, да, но ты пожертвовал новеллой, которая могла бы быть шедевром.

Разве от этого умирают? Ведь все как-нибудь устраивается. Получают наследство, выигрывают в лотерею, какой-нибудь англичанин купит твою ручку.

Ну, а если все-таки придется умирать? Ну, и что ж, умирай! Твоя смерть докажет людям, что умереть все-таки лучше, чем перестать быть художником.

*21 марта.* Тот, кто не был любовником и мнит себя знатоком женщин, подобен рыбаку, который водит удочкой по поверхности воды и воображает, что изучил повадки рыб.

\* Хорошо зарядить фразу, хорошо прицелиться и точно попасть в цель.

\* — Посмотри-ка, вон идет верный муж.

— Вижу, но до чего же у него печальный вид.

*22 марта.* ... Двухчасовой разговор между

двумя женами, хотя Маринетта молчит, и двумя мужьями.

Что такое любовь — никто не знает. Любовь как таковая — утрачена, ее затопило потоком слов. Невозможно обнаружить подлинную ее реальность, которая должна быть проста и ясна.

Как и политика, дружба тоже могла стать жертвой слов. Но ей посчастливилось ускользнуть от лавины. Вот почему пронизательный мужчина всегда предпочтет дружбу любви. Он знает ей цену. Если ему скажут: «Но ведь любовь гораздо лучше! Это нечто необычайное!» — он и слушать не станет: он не доверяет словам, жестам, взглядам, которые требуются для произнесения этого слова, раздувшегося от туманностей: это просто вселенский мыльный пузырь...

\* Вполне допускаю, что можно драться на дуэли, дабы защищать свою честь, конечно, при наличии таковой.

*30 марта.* Старухи собирают одуванчики. Так как солнце уже припекает, они прикрыли головы газетами, теми же самыми, что прикрывались год назад.

\* Мертвые, но не похороненные листья.

Ивы — в воде по самое горло.

20 апреля. — Ваш муж здоров, он только считает себя больным, — говорит жене врач-англичанин.

Через несколько дней, полная веры в знаменитого целителя, к нему является жена пациента и сообщает:

— Мой муж считает, что он мертв.

*2 мая.* Корова с раздутым от молока выменем мычит, подзывая теленка, а приходит фермерша.

\* Диалог мертвецов:

— Ты все еще спишь?

— Сплю. А ты?

— И я тоже. Не пойму, что это со мной: никак не могу проснуться утром.

*4 мая.* Они воображают, будто действие в театре сводится к тому, что действующие лица входят и выходят.

*5 мая.* Вчера в десять часов вечера. Пейзаж. На чистом, как вода, небе в полном одиночестве луна. Несколько звезд. В глубине едва намечен светло-синий Морван, похожий на выпуклую полосу моря, сходящегося с горизонтом.

Над рекой белый туман лег широкой дорогой до темной спящей громады замка. Пенье лягушек, птиц, их перекличка. И звучная капля жабьего кваканья.

Тополя как тени, лошади на лугу — тоже как тени. Длинная черная полоса: это изгородь.

Кажется, что луна сейчас въедет в замок на ковре из белой дымки.

Самое прекрасное — то, что эти строки я записал на садовой ограде при свете ручного фонаря.

\* Совета спрашивают лишь для того, чтобы пожаловаться на свои неприятности.

\* Следовало бы в отношении нашего сердца сделать то, что сделал Декарт в отношении нашего ума: сначала все зачеркнуть и на пустом месте строить заново, по-своему.

*8 мая.* Какое-то незавершенное небо, кажется, что начали с него стирать обшлагом облака и бросили.

\* Будь я птицей, я ночевал бы только в тучах.

*13 мая.* Пьяный возвращается домой и с ужасом видит, что вся мебель кружится вокруг него. Жена спрашивает:

— Почему ты не ложишься?

— Жду, когда кровать подойдет, — отвечает пьяный.

\* Быть может, существуют ветки, на которые ни разу не садилась птица.

\* Солнечные лучи прокалывают тучи, как спицы, воткнутые в клубок шерсти.

\* Онорина, совсем отупевшая от нищеты. Когда Маринетта дает ей несколько су, она не благодарит: воздевает руки к небесам, а потом бессильно роняет их на свой фартук.

\* Ласточка с внешностью священника.

\* Овцы оставляют на колючках кустарника свое руно, чтобы птицы могли устлать им дно гнездышка.

\* На деревьях почти еще нет листьев, и в воде отражаются лишь стволы: все остальное слишком прозрачно.

*16 мая.* Да, да! Иногда я такой, иногда совсем другой: надо же экспериментировать.

*30 мая.* ... Они возводят огромные стены вокруг дворика величиной с носовой платок.

— Зачем вам такие стены?

— Поставим на них цветочные горшки.

И никогда ничего не ставят.

\* Воображение наблюдателя атрофируется: становится рудиментарным органом.

\* Лес. Здесь живут птицы, которые никогда не залетали в деревню.

\* Боярышник. Сегодня утром вся живая изгородь идет к венцу.

\* Кукушка кукует с немецким акцентом.

*8 июня.* ... Я хотел понять, можно ли что-нибудь сделать для нашей деревушки с помощью одной правды: ничего нельзя.

Учитель — человек необразованный, пресле-

дует единственную цель — оставить их коснеть в невежестве. Он занимается мелочами, но все ему безразлично. Он — за народ. Он не любит, когда эксплуатируют детей. У него есть опыт. Жители Шомо не такие, как все.

— Если вы хотите говорить им правду, если вы не оставите за собой право скрывать от них кое-какие мелкие непредвиденные расходы (в частности, шестьдесят франков, уплаченные ему за проведение переписи. «Но я этого не скрываю. Все об этом знают», — говорит он) — вы не пробудете мэром и недели, мосье Ренар.

И он бросает вскользь:

— Вас ненавидят... Вы здесь чужой... Они за вами не пойдут.

Но так как мне тоже кое-что известно, что рассказывают про него и его супругу, я отвечаю:

— Возможно. У каждого из нас есть свои грехи.

\* Филипп не может удержаться от улыбки, когда я говорю ему спасибо за то, что он выполнил мое поручение.

\* Среди цыплят есть тоже свои «Рыжики». Вот и сейчас мамаша-курица не хочет укрывать одного из них крыльями, гонит от себя прочь, тюкает его клювом, просто за то, что черное пятнышко у него на спинке пришлось ей не по вкусу.

27 июня. Забор дворика отделяет его от всей деревни. Не важно, что не видно полей, зато не видно соседей.

Он боится своих детей. Когда они вырастут, они заставят его продать дом, чтобы получить материнскую долю.

— Дом мне обошелся в две тысячи фран-



ков, — говорит он. — Если они потребуют тысячу, где я ее возьму?.. Они меня выгонят.

Он считает даже, что дети могут потребовать наследство еще при его жизни и отберут половину виноградника, который он получил от отца. Я говорю ему, что этот виноградник не считается общим имуществом и что дети не имеют на него никаких прав. Это его утешает.

Рядом с нами стоит его дочка и ехидно хихикает, ковыряя в носу. Она у них в доме казначей, держит кассу — монеты в двадцать франков — в узелке носового платка. Ни к какому делу она не способна, кокетка, грязнуха и жеманится, потому что кончила начальную школу с «наградой».

*12 июля.* Мадам Лепик. Все, что я сделал наиболее подлинного, а возможно, и наиболее театрального — это стена, где повсюду ее глаза и уши.

Такой она и умрет.

Стоит мне войти в сад, она уже догадывается и посылает Маргариту посмотреть.

Если я подхожу к дому, я слышу, как хлопает полуоткрытое окно, и знаю, что ее уши и глаза не отрываются от щели.

Она все ищет, что бы мне сказать. Жестким, раскатистым и сухим голосом, подобным взрыву пороха, она кричит, чтобы вся деревня знала, что она со мной разговаривает:

— Жюль, Маринетта только что вышла. Ты ее встретил?

— Нет.

Ох, это «нет», оно срывается с моих губ свинцовым слогом, — вот и все, что я могу сказать своей матери, которая скоро умрет. Я прохожу мимо. Она, ее лицо за решеткой окна,

оскорбленное, беспомощное, не сразу исчезает, она не закрыла окна, пусть соседи думают, что мы еще беседуем.

Сколько раз моему отцу приходило желание ее задушить, когда она входила в его спальню, чтобы взять из стенного шкафа тряпку! Она выходила и снова возвращалась положить тряпку на место. Он велел забить шкаф наглухо.

\* Из нашей деревушки я могу наблюдать человеческую душу и муравья.

\* Как собака, которая прерывает лай, чтобы поискать блох.

29 августа. ... Для меня путешествие хорошо тем, что я могу смотреть и ничего не видеть.

\* Полная луна. Вдруг ее становится видно всю. Кажется, она родилась прямо посередине неба, далеко от горизонта. При ней серенькое облачко, мягкое, как шейный платок.

Она совершенна до тошноты. Облачко замирает. Она подымается еще выше. Она отбрасывает облачко, как ненужную ей пеленку.

Ее восход удивляет природу. Ничто живое не смеет шелохнуться. Даже корова перестает мычать.

Небосклон под ней весь розовый. Как же она хороша! Вот так выходила из моря Венера. Ее смеющаяся красота проникает в мое окошко.

А еще похоже на открытие светового туннеля во мраке.

На небе три цвета: серый, розовый, голубой. Она в розовом.

— Жена, не говори со мной, — я смотрю на луну.

У тебя столько тайн, боже, что это просто жестоко с твоей стороны, просто тебя недостойно.

Безмолвствующий бог, ну скажи же нам что-нибудь.

Быть может, он запечатлел слова на другой стороне луны, но она, лукавая, никогда к нам ею не повернется.

Розовое бледнеет, смешиваясь с серым. Теперь надо всем царит голубое.

Идеально круглая, четкая, щемяще чистая.

Стволы деревьев становятся такими тонкими, что готовы совсем исчезнуть.

Все серебро луны льется в мое окошко.

Ты помешаешь мне спать, но ты не в силах помешать быкам щипать на лугу траву. Признайся, что тебе это немного обидно.

Ты поднялась слишком высоко. Сейчас ты подурнеешь. Вот по дороге проехала телега и не побоялась оскорбить тебя звоном своих бубенцов. На тебя уже залаяла первая собака.

Мрак вокруг меня становится гуще. А ты светишь недостаточно ярко, чтобы я мог при твоем сиянии написать в твою честь прекрасную поэму. Хозяйка, которая не желает, чтобы я писал в темноте и портил себе глаза, приносит лампу, спускает занавеску.

Луна, все кончено! Можешь отправляться к старым лунам.

*12 сентября.* «Небо» говорит нам больше, чем «голубое небо». Эпитет отпадает сам собой, как засохший лист.

У языка бывают свои цветения и свои зимы. Есть стиль голый, как скелеты деревьев, потом приходит стиль цветистый, это школа густолиственная, мшистая, литература зарослей. Следует вовремя убирать слишком пышную растительность.

\* Не будите уснувшей грусти.

16 сентября. Лениность? Возможно. Но зато какое наслаждение ревниво оберегать свои грезы, не делясь ими ни с кем.

17 сентября. Ласточка в смокинге.

26 сентября. Каштан — еж среди плодов.

\* Писать и не опускать страниц в вираж-фиксаж. Показывать их в темноте кое-кому из своих друзей. А потом пусть исчезают.

\* У нее, должно быть, есть шерстяной чулок, набитый до того туго, что он не гнется, как деревянная нога.

\* — С вами не заскучаешь, — говорит Рагота, зевая во весь рот.

\* Приятель, с которым мы вместе ходили к первому причастию.

Я не видел его больше двадцати лет. На вокзале в Юрзи никого. Чудесное тильбюри, запряженное бойкой лошадкой, в экипаже какой-то молодой человек с дочкой. Это он. Сажусь рядом. Поглядываю на него исподтишка. Тиковый костюм, грубые желтые башмаки. Зато шикарно правит лошадь. Я узнаю улыбку и слышу голос двадцатилетней давности, он остался все тем же слабым, приглушенным, отрывистым. Отдельных слов я просто не улавливаю.

Входим во двор фермы, содержащейся в образцовом порядке. На крыльце ни души. Входим в кухню. Кто это — служанка? Оказывается, жена. Где только они выкапывают таких жен? Уродливая, плоскогрудая, неуклюжая, нелюбезная, на щеке бородавка с пучком волос. Он сказал мне: один гонится за богатством, другой — за красотой. Он за красотой не гнал. Неловко стою, держа шляпу в руке. Пойдем осматривать ферму! Я требую от него объяснений, но не

слушаю и снова задаю все те же вопросы. Оказывается, я вовсе не такой уж умный, как он считал.

За стол! Из вежливости или ради экономии убрали соломенную циновку, и я чувствую под ногами холодные плитки пола. Хорошенькая служаночка. Садисься не там, где тебе хочется. Мне указывают место за столом, но за стулом приходится идти самому. Белое и красное вино, цыпленок с шампиньонами, редиска, масло, потом голуби в таком светлом соусе, что они похожи на водяных курочек. Так как девочка бледненькая, я рекомендую давать ей хинную настойку и рыбий жир.

Я поздравляю его с успехами в сельском хозяйстве.

— Тебе нравится твое занятие?

— Не променял бы его ни на какое другое. Но и ты, как я вижу по твоей ленточке, далеко пошел.

Потом он решит, что я пожелал с ним увидеться лишь для того, чтобы похвастать орденом.

Он плюет в носовой платок, что приличнее, чем плевать прямо на землю.

Так как я стараюсь выказать оживление, он говорит:

— Я думал, что ты построже. Я-то считал: «Писатель — это мыслитель. Всегда-то о чем-нибудь размышляет».

Если бы я даже очень постарался, то и в этом случае не мог внушить ему более неверное представление о моей особе. Я так от него далек, что все это меня даже не трогает. Не сумев заинтересовать его моей работой, я изо всех сил пытаюсь интересоваться его делами.

— Видать, ты человек счастливый.

— Да, — отвечает он, — когда работаю.

Четыре года он прожил один на этой самой ферме с птичницей и служанкой. Никогда он не будет отдыхать: «Без дела я умру со скуки». Просто ферма у него будет поменьше.

— Так и ты, — поясняет он. — Сейчас пишешь большие книги, а в старости будешь писать маленькие.

В столовой на столе статуэтка. Я взвешиваю ее на ладони с видом знатока: чем я, в сущности, рискую?

Скот у него болен яшуром. Он подымает с земли коров ударом ноги по заду или же колет их ножом в спину.

Ни одной книги. А если и есть одна, то он, видимо, здорово ее запрятал; зато он первый в их департаменте выписал из Америки сноповязалку.

За обедом его дочка не произнесла ни слова.

— Она у нас не всегда такая, — поясняет он. — Послушал бы ты ее без гостей.

В политике ничего не понимает.

— Мы ведь только и знаем, — говорит он, — что считать гроши.

Не ведет никакой отчетности. Все держит в голове.

О любви и не думает.

Несмотря на черную работу, ногти и руки держит в чистоте. Курит некрасиво, как-то официально, и только готовые сигареты.

Мы с ним два совершенно разных человека, зато наши собаки похожи друг на друга как две капли воды.

\* Ветер, который умеет перелистывать страницы, но не умеет читать.

*28 сентября.* Заголовок тома моих заметок: «Совсем голое. Голое».

*29 сентября.* ... Она приносит мне плату за выпас: двенадцать франков. Приносит также гербовую марку. И так как она запоздала со взносом, то поясняет:

— Десять франков у меня давным-давно лежат. А вот за монетой в сорок су пришлось побегать.

Ей семьдесят один год. Всю жизнь проходила за коровами по высокой траве, с мокрым подолом, и никогда ей не хватало времени сварить себе похлебку: вся ее еда ломоть хлеба и яблоко. Она устала, однако ее сильно поредевшие, а когда-то густые волосы не поседели.

*8 октября.* Старухам — тем не осталось ничего, кроме бесконечных сетований о покойниках. У стариков есть табак, подагра. Если они заводят меж собой беседу, то вовсе не обязательно о грустных вещах.

*15 октября.* Умиравшего Тулуз-Лотрека пришел проведать его отец, старый чудак, и вдруг ни с того ни с сего стал ловить мух. «Старая перенница», — сказал Лотрек и испустил дух.

*28 октября.* Одна только правда разнообразна. Наше воображение непрерывно повторяется. Ничто так не похоже на хорошо сделанную пьесу, как другие хорошо сделанные пьесы.

*7 ноября.* Клянусь, что я восхищался и восхищаюсь безоговорочно лишь одним человеком: Виктором Гюго. Его «Последний сноп» появится в феврале 1902 года: я прошу у судьбы лишь одного — дожить до этого времени.

*10 ноября.* Люблю, люблю, конечно, люблю. Уверен, что люблю, как женщину, свою жену, но во всем том, что говорили великие любовники:

Дон-Жуан, Родриго, Рюи Блас, нет ни слова, которое я мог бы повторить своей жене и не расхохотаться.

*17 ноября.* «Бюбю с Монпарнаса» — прекрасная книга о тех, кто обездолен, но обездоленные в ней слишком много резонерствуют. Они самодовольны. Каждый пропойца разводит теории. Уличная женщина, конечно, очень несчастное создание, но будем помнить все же, что она уличная.

\* До самой смерти мне следовало бы подбирать пять досье:

1. Религия. 2. Политика, то есть социальные вопросы. 3. Мораль, то есть внутренняя жизнь, счастье. 4. Искусство, то есть литература. 5. То, что я могу усвоить из науки.

\* Самые страстные дискуссии следовало бы заканчивать словами: «И кроме того, ведь все мы скоро умрем».

\* Не быть Виктором Гюго: это может привести в ярость!

\* Александр Натансон говорит мне:

— Мы хотим, чтобы вы издавались у нас. У нас уже есть Капюс, Бернар, Доннэй. Нам нужны только такие, как вы. Да, это наше желание, наша слабость, наш каприз. При мысли, что вы станете нашим, сердце радуется.

— Хорошо, — говорю я. — Так вот что я вам предлагаю...

— Да, — говорит он, уже насторожившись. — Но наши возможности ограничены. Это не выйдет за пределы возможностей?

— Я вам дам книгу, а вы ее издадите пятитысячным тиражом.

— Посмотрим.

И он, видимо, решает, что разговаривает с



Мендесом или Мезруа. Он не понимает, что я охотнее продам ему свою шкуру, — только что он с ней станет делать? — чем допущу, чтобы он потерпел убыток на моей книге.

Я объясняю Атису, чего хочу: занять денег у издателя — это лучше, чем у коммерсанта, — и вернуть долг книгами, а если книг не хватит, то домом, когда его продам, наследством, когда его получу.

— Нет ничего проще, — говорит он. — Удивительно только, что вы не требуете большего.

И будущее мне представляется в ярко-розовом свете.

\* Бывают пьесы, запрещенные не цензурой, а самой публикой.

\* Только один-единственный раз Виктор Гюго не произвел на меня никакого впечатления: когда я его видел. Было это на спектакле «Король забавляется». Он показался мне старым и каким-то низеньким, такими мы представляем себе дряхлых академиков, — в академии, должно быть, таких полным-полно. Позднее я познакомился с Жоржем и Жанной Гюго. Я никак не мог взять в толк, как это они могут боготворить кого-то иного, а не его.

Ради него я пожертвовал бы Лафонтеном, всеми своими пристрастиями.

Как-то мы с Ростаном весь вечер твердили одну строчку Гюго, необычайную по своей живописной выразительности:

«И на две стороны расчесаны власы».

Я не нашел бы и четырех фраз, чтобы сказать ему о нем самом.

А ведь у него есть книги, которых я не читал.

Я могу шутить над господом богом, над

смертью, но над Гюго не мог бы. Ни одно его слово не кажется мне смешным.

Я читал мыслителей: они меня смешат. Все они ходят вокруг да около. Не знаю, мыслитель ли Виктор Гюго, но он производит на меня такое впечатление, что, прочитав одну-единственную его страницу, я начинаю мыслить со страстью, всеми участками мозга.

Думаю, что никогда не посмел бы ему признаться, что я тоже пишу.

Если бы мне с цифрами в руках доказали, что бога не существует, я как-нибудь это пережил бы. Но если бы не существовало Виктора Гюго, мир, где зыблется пьянящая меня красота, стал бы безнадежно черным.

Вид живого Виктора Гюго не повредил образу Виктора Гюго, но я сержусь на себя за то, что у меня не хватило энтузиазма увидеть хоть на минуту великого поэта в этом жалком старичке. Он вышел под руку с внуком.

Я вкладываю в его имя не меньше смысла, чем в имя бога. На него ушла вся моя способность обожать.

Критиковать Гюго! Когда я смотрю на закат солнца, какое мне дело до того, что солнце вообще не закатывается, а земля вращается вокруг солнца? Когда я читаю Гюго, какое мне дело, как он писал то или это?

Когда я был мальчиком, я говорил своему деду: «Какие они счастливые, что у них такой дедушка!» И мой дедушка, ничуть не обижаясь, подтверждал, что они действительно счастливые.

*29 ноября.* Трудись, трудись! Талант — как земля. Наблюдай жизнь, и она не устанет тебя вознаграждать. Вспахивай свое поле каждый год: каждый год оно будет давать урожай.

30 ноября. Когда я не очень оригинален, я немного глуп.

\* И к черту также «увядание с его чуть печальной прелестью».

9 декабря. «Гораций» в «Театр Франсе». Две колонны, два кресла. К колоннам глупейшим образом прицеплены какие-то зеленые морковки, как оказалось потом, мечи.

Ламбер-сын бесконечно растягивает «р» во всех словах, начинающихся с этой буквы.

Если же стихотворная строка оканчивается словом с буквой «р» на конце, он совсем опускает ее и говорит «пожа...» вместо пожар, «позо...» вместо позор и перескакивает к следующему стиху, точно боится, что его украдут.

Сильвен задыхается, но беспорядочно, без толку.

Дельвер — буднична.

Дюминаль — сплошной зад.

Жалкие фигуранты. А царь! Какой это проказник смеха ради налепил ему на голову золотую корону?

Гораций хорош. В четырех или пяти местах достигает кульминации, но все это слишком длинно, слишком рассудочно. И дурного тона.

У старика Горация лицо будто из ломкого гранита.

\* Старость приходит внезапно, как снег. Утром вы встаете и видите, что все бело.

11 декабря. Завтрак у Блюма. Жорес похож на не имеющего ученой степени учителя начальной школы, которому мало приходится бывать в движении, или на растолстевшего коммерсанта.

Среднего роста, широкоплеч. Лицо довольно правильное, ни уродливое, ни красивое, ни оригинальное, ни слишком обыденное. Целый

лес волос, но лицо не заросшее, только шевелюра и борода. Веко на правом глазу нервно подергивается. Высокий стоячий воротничок. Галстук сползает на сторону.

Большая эрудиция. Он даже не дает мне закончить те несколько цитат, которые я привожу и которые мне, впрочем, не так уж дороги. На каждом шагу привлекает историю или космографию. У него память оратора, потрясающая, наполненная до краев. Часто харкает в платок.

Не чувствуется особенно сильная личность. Скорее производит впечатление человека, о котором в истории болезни можно было бы сообщить: «Пользуется завидным здоровьем».

Он шутит и сам смеется слишком долго таким смехом, который как будто спускается со ступеньки на ступеньку и останавливается только у самой земли.

Речь у него медленная, широкая, немного запинаящаяся, без оттенков...

Странно произносит некоторые слова, пренебрегая последней буквой.

Конечно, я понимаю, что в этом ораторе живет актер. И, кроме того, я в мыслях общаюсь с людьми столь великими, что этот человек удивить меня не может.

— Мне почти безразлично, — говорит он, — сказать речь или написать статью.

Спрашиваю, что он предпочитает: точность во фразе или поэтические красоты.

— Точность, — отвечает он.

Больше всего как оратор его поразил Фрейсине.

Говорить на митинге или в парламенте ему легче, чем выступать с докладом.

Где он действительно чувствовал себя неловко, так это в суде, когда защищал Жеро-Ришара.

В вопросах религии он, по-видимому, довольно робок. Он не любит, когда затрагивают эти проблемы. Отделяется словами вроде: «Уверю вас, это сложнее, чем вам кажется». Похоже, что он считает религию неизбежным злом и полагает, что немножко ее нужно все-таки оставить. Он думает, что догма мертва, а символ, форма, обряд не опасны.

Если верить Леону Блюму, то Жорес расходится с Гедом в вопросах тактики. Жорес, как правительственный социалист, верит в частичные реформы. Гед признает лишь настоящую революцию.

\* Теперь он уже с грехом пополам помогает своей дочке готовить уроки катехизиса. Его жена за столом пьет воду. Тяжко работает в своей мастерской и носит юбку, сшитую из кусков, но он говорит:

— Она очень счастлива, потому что ее работа видна, а вот я работаю больше, чем она, но этого не видно.

В действительности никто ничего не видит. Он целые дни проводит у себя в спальне или у кюре, который снабжает его книгами. Его жена спит вместе со своими дочками в мастерской, а ее брат, о котором она говорит как о боге, ночует в маленькой комнате, «где дожидаются клиентки».

*16 декабря.* Мне нужно бы иметь маленький переносный столик, чтобы уходить работать, как художники, на природу.

*17 декабря.* Поэты восседают на Олимпе, но они слишком маленькие, и ноги их болтаются над землей.

*22 декабря.* Анри Батайль. В его манерах чувствуется что-то лживое, губы тонкие, худоба, бледность, вид болезненный, важный, многозначительная улыбка, с которой этот молодой человек пытается говорить о любых пустяках. Поначалу думаешь: «Внимание! Как бы не наговорить при этом человеке глупостей!» Но через минуту он сам начинает их говорить.

---

1 9 0 2

3 января. Доклад о Мольере для народной аудитории в Корбиньи 29 декабря 1901 года. Весь день на нервах. Мне сказали, что в дождливую погоду жители Шомо непременно придут. Растрогавшись, я приготовил благодарственную фразу, но по недосмотру Филиппа пришел на сорок пять минут раньше. Ни души. Это комичное обстоятельство развеселило меня и придало апломбу. Трюк довольно старый: надо стараться думать о чем-нибудь постороннем.

Говорил я час с четвертью без малейшей усталости и не прикоснулся к стакану с водой. Этим, должно быть, и произвел впечатление. Люди слушали меня, даже не переминаясь с ноги на ногу. Я различал только два-три лица. Потом вдруг заметил, что кто-то зевнул, прикрыв рот ладонью. Прямо передо мной стояла девочка, олицетворенная глупость, глупость просто пугающая.

Несчастливые люди; глядя на них, я начинаю думать, что перестарался и пора уже выходить в святые.

Какой-то глухой слушал меня, повернувшись в профиль, приставив к уху лодочкой ладонь, и корчил от напряжения ужасные гримасы.

Они уважают лишь того, кто «не дурак». Про одну старуху чудовищной скупости они говорят: «Рассказывайте о ней все, что угодно! Какая она есть, такая и есть, только уж никак не дура».

Рабочий и крестьянин приходят на доклад, чтобы развлечься или чему-нибудь научиться: свое суждение они вынесут потом. Буржуа идет с одной целью — судить. Он или отрицает, или воздерживается.

Бурные и недолгие аплодисменты. Дамы считают, что они и без того осчастливили меня своим присутствием.

\* Какой прекрасной показалась бы мне жизнь, если бы я, вместо того чтобы жить, смотрел, как живут другие.

*6 января.* Гитри читает мне «Тартюфа». Прекраснейшая сцена, когда Оргон умоляет Тартюфа остаться наперекор Дамису, и Тартюф лицемерно делает свою последнюю ставку! Вот она, подлинная борьба за существование.

У Гитри красные глаза, и меня охватывает волнение, способное... обескуражить.

*2 февраля.* Я немножко пьян: голова у меня, как верхушки дерева, качается на ветру.

\* Лира Аполлона.

Какого Аполлона? Какая лира?

\* Следует прощать талантливым актрисам их капризы, ибо бедные, лишенные таланта дамы капризничают не меньше.

\* Проект — это черновик будущего. Иной раз будущее требует сотни черновики.

*5 февраля.* Ненавижу критиков — рабов своего независимого ума, которые, превознося до небес первую книгу писателя, считают себя обязанными разнести вторую и хранят для друзей свои самые ядовитые суждения.



Я был бы не злым, но зато пристрастным критиком. Я руководствовался бы своим собственным вкусом, который меньше всего можно считать безупречным. Никаких теорий, никаких систем. Хорошая книга — это та, которая мне нравится. А там уж ваше дело!

Однако я заявляю, что у меня имеется моральная точка зрения: чистота души; а с точки зрения литературной: чистота стиля.

Есть у меня также точка зрения социальная, но ею я дорожу меньше. Я с радостью говорил бы о книгах, доступных народу. Народ любит читать гораздо больше, чем полагают. Я советовался бы с Филиппом.

Симпатии тоже имеют свои права. Трудно представить себе, что книга Капюса или Бернара могла бы мне не понравиться.

Читал бы я не для того, чтобы наводить критику, а для собственного удовольствия. Если бы мне представилось, что мои четыре строчки помогут продать сто экземпляров книги, я, не ленясь, написал бы целых двадцать.

Я часто цитировал бы других. Я говорил бы: это хорошо, а вот это плохо, не стараясь объяснить, чем именно, во-первых, потому, что это завело бы нас слишком далеко, а во-вторых, потому, что сплошь и рядом я сам не знаю.

Придется верить мне на слово: это уж обязательно.

*11 февраля.* Знаю, что литература не может прокормить литератора. К счастью, я не особенно голоден.

\* Каждое мгновение мне приходится давить, душить лисицу зависти, которая рвет мои внутренности.

\* Ненавижу рифмы, особенно в прозе.

*12 февраля.* Одна из тех дам, которые хотят блистать в первых рядах, принимать у себя писателей. Они приглашают писателей к обеду. Те отказываются. Но дамы быстро утешаются: отказ — тот же автограф.

*15 февраля.* Сон. Дортуар. Я сплю на одной постели, она на соседней. Я говорю ей: «Идите сюда!» Она приходит. Сначала я прижимаю ее к себе и чувствую ее всю под рубашкой. Потом осмеливаюсь протянуть руку, провожу ладонью по ее нежной коже, касаюсь крепкой груди и покрываю поцелуями ее лицо. Когда я отрываю губы от ее губ, я вижу, что в ногах постели стоит классный надзиратель и смотрит на нас сурово и уныло. Она бежит к себе на постель. Я прячусь под одеяло. Конец.

Утром я проснулся с чувством нежной признательности, трепеща, как дерево, которое всю ночь простояло в лунном сиянии.

*19 февраля.* Личное! Личное! Ну и что же? Вы вправе ополчиться на мое «я», но не на ту искренность, с которой я о себе говорю, ибо, будь мое «я» Цезарем, вы задохнулись бы от восторга.

*20 февраля.* У Сашá Гитри... Рассказываем друг другу различные истории.

Мальчик-савояр приходит в колбасную, держа под мышкой дешевенькую скрипку, покупает кусочек колбасы и, когда приходит время платить, говорит, что у него нет денег, что сейчас он пойдет их достанет, если хозяин согласится взять скрипку в залог: самая плохонькая скрипка, во всяком случае, стоит кусочка колбасы. Договорились. Через несколько минут в колбасную входит шикарный господин, тоже делает покупку, и вдруг замечает скрипку и пристально

к ней присматривается. «Но ведь это Страдиварий, — говорит он. — Даю за нее пять тысяч франков». Удивленный колбасник объясняет, как попала к нему скрипка. «Ладно, — говорит господин, — скрипач вернется, купите у него скрипку, а потом я зайду за ней и заплачу, как условлено». Савояр возвращается. Хозяин дает ему пятьсот франков, за которые он получит пять тысяч. Но шикарный господин не пришел.

*23 февраля.* Катюль Мендес написал Кларти: «Если мне не пришлют билеты на первое представление, я не напишу ни слова о «Бургграфах». В связи с этим Кларти вспоминает: в 1870 году какого-то журналиста не захотели пропустить через аванпосты. «Ах, так! — воскликнул он. — В таком случае мы не будем писать о войне».

*25 февраля.* Я обитал на всех планетах, и везде не слишком весело.

*28 февраля.* Плачь, но берегись, чтобы хоть одна твоя слеза скатилась по острию пера и примешалась к чернилам.

*5 марта.* В редакции «Фигаро». Подаю в кассу свою карточку.

— Тут для меня должна быть небольшая сумма, — говорю я.

Кассир открывает огромную книгу. Вижу свою фамилию, выведенную красивым почерком.

— Да, ваш гонорар пятьдесят сантимов за строчку. Это составляет тридцать шесть франков пятьдесят.

Пишу Кальметту, что при такой ставке я умру с голоду, а если приходится умирать с голоду, так уж лучше не работать.

*21 марта.* «Четырнадцатое июля» Ромена Роллана в театре Жемье. Четырнадцатое июля

столь же печально в марте, как в июле. Не может толпа в течение трех действий метаться из стороны в сторону. Она тоже должна подчиниться условностям театра. Мегар объясняет мне, что девочка — это символ...

*11 апреля.* Вернулся в Париж. Коклен в «Мещанине во дворянстве».

— А ваш-то друг Гитри! — говорит он, хлопая меня по плечу, отчего я чуть не валюсь на землю, потому что стоял на одной ноге. — Это гнусно, что он сделал в «Комеди Франсез» с Тартюфом! Нельзя же играть его по-современному.

Только он спас «Рюи Бласа». Именно он сумел сыграть четвертый акт в комическом ключе, однако Виктор Гюго (он говорит: «мосье Виктор Гюго» уважительно, но с легким оттенком презрения) остался недоволен и отобрал у него роль Трибуле.

Впрочем, за исключением трех первых картин, «Мещанин во дворянстве» производит впечатление грубого фарса, и должно быть, сам Мольер думал: «Для этого болвана Людовика XIV и так сойдет!» Словом, пьеса для пресыщенной придворной знати, которой и развлекаться-то надоело.

*15 апреля.* У Прюнье, в соседней зале:

— Это бессмысленно...

— Позвольте, позвольте...

— Человечество...

— Что?

— Человечество...

— Чего?

\* Птица в клетке не знает, что она не может летать.

\* Стиль. Если появился «аметист», знай, что «топаз» поблизости.

\* Любовь и дружба — это как ночь и день.

\* Стрелять по кабану и убить на нем вшей.

\* Онорина. Когда ее похоронят, как же плотно набьется земля в ее морщины.

*27 апреля.* И мне, сударь, тоже претит политика, но я ею не занимаюсь.

\* «Франческа да Римини» в театре «Ренессанс». Почти Шекспир, только еще скучнее.

*1 мая.* Я страдаю, когда слышу прекрасный голос, поющий глупейшие слова.

\* Слезы уродуют красоту страдания.

*5 мая.* В Лувре, куда повел меня Альфред Натансон. Смотрю картины Давида, Веласкеса и маленькие натюрморты Шардена, где не могу отличить луковицу от яйца. Все это меня не трогает.

Выйдя из Лувра, вижу черного дрозда с желтым клювом. Он сидит в одиночестве посреди теневого пятна, вытянувшегося на зеленой траве. Вот это живопись.

\* Все каштановые деревья открыли свои листья, как маленькие вечерние зонтики.

*7 мая.* С такими людьми, как Шатобриан и Ламартин, путешествуешь по воздуху, но в неопределенном направлении.

\* Правда не всегда искусство. Искусство не всегда правда, но правда и искусство имеют точки соприкосновения: их-то я и ищу.

*9 мая.* ...На Гернсее в полдень раздавался пушечный выстрел, возвещавший, что пора Виктору Гюго кончать работу. Вечером в половине десятого другой пушечный выстрел напомнил ему, что пора идти спать. Его библиотека на Гернсее состояла сплошь из разрозненных томов. Он брал, к примеру, первую часть труда по навигации, а об остальном догадывался сам.

11 мая. «Пелеас и Мелисанда», музыка Клода Дебюсси. Унылая скука, и как не посмеяться ребячеству автора: муж говорит, указывая на жену: «Я не придаю этому никакого значения». Это пропетая разговорная фраза. Я жду рифмы, а ее все нет и нет. А это чередование звуков! Вроде шума ветра. Но я предпочитаю ветер. Впрочем, это похоже также на дверь амбара, которая хлопает и скрипит. Дамы уверяют: «Меня это волнует, и этого достаточно». Нет! Есть разное волнение, и ежели я ничего не почувствовал, думаю, что и вы чувствовали не то, что надо.

Ах, сюда бы хорошенький эстрадный куплет. Публика свистит. Кто-то кричит: «Либреттиста! Либреттиста!»

Значит, по-ихнему, он виноват?

Ну, ладно! В музыке я ценю лишь тот мотив, который похож на мотив.

Здесь особая публика: богатые дамы, которые ходят только сюда или в оперу.

Прекрасные декорации.

— Это просто неразумно со стороны администрации делать хорошие декорации к пьесе, которая заведомо не будет иметь успеха, — говорит Гитри.

И он громко вздыхает от скуки, но вздохи замирают у него на губах.

Метерлинк вполне прав, что подсмеивается над этим марионеточным искусством.

\* — Сегодня утром, — говорит Капюс, — я прочитал две страницы Флобера. Он не так уж хорошо писал.

— Я это знаю, — говорю я, — Флобер неестествен. Он не прирожденный писатель, как Вольтер, Ренан, госпожа де Севинье. Его стиль всегда немного стиль школьного сочине-

ния. Он его фабрикует на месте, подчас неудачно. Его стиль — живопись, подчас мазня.

*23 мая.* Мозг. Человек носит свои корни в голове.

*24 мая.* Жизнь коротка, но все-таки успеваешь поскучать.

*26 мая.* Животные заставляют меня стыдиться моих шуточек о животных.

*30 мая.* ...Поль Адан пишет каждый день с семи до часу. Садится за стол и пишет двести — триста строк, «чтобы возместить расходы по дому». Насколько выше человек, который поддерживается от подобной работы и остается в бедняках.

\* — Если не знаешь греческого языка, — говорит Тайад, — надо читать греков в латинских переводах.

— Правильно, — подтверждает Капюс, — но тут возникает второе препятствие — надо знать латынь.

\* Болезни приучают к смерти. Дайте хорошенькую мигрень, и я покончу с собой.

\* Дама, у которой в услужении находился негр, родила черного ребенка.

— Если он не переменит цвет, — заявил муж, — я выставлю кое-кого за дверь.

*1 июня.* Они стали жить спокойнее с тех пор, как купили себе место на кладбище. Теперь они знают, что делать на следующий день после похорон.

\* Сила воли неподалеку: она рядом, за дверью. Но заставить ее войти невозможно.

\* Мою леность почти так же интересно наблюдать, как мой труд.

*3 июня.* Вчера утром я не любил Шекспира. Вчера вечером последнее действие «Венециан-

ского купца» перевернуло во мне фунт сердца. Кончиком мизинца утираю уголок глаза. Неужели теперь придется любить Шекспира?

*4 июня.* Его отец и мать работают привратниками по ту сторону площади Республики, у пуговичного фабриканта. Их каморка просто черная яма. Ложась спать, они влезают на полати по лестнице, которую тут же убирают, не из осторожности, а потому, что она им мешает; полати разделены на две части: в одной спят родители, в другой — четверо детей.

И воздух проникает в окошко, которое имеется в каморке.

Они надеются, прикопив денег, вернуться в Шитри, но к пятидесяти годам они умрут.

*9 июня.* Люблю читать лишь те книги, которые принадлежат мне: например, книгу жизни.

*10 июня.* Красивая застенчивая женщина спасается тем, что держится так, будто она башня без окон и дверей.

\* Как мало книг ни пишешь, люди твердят, что не могут все осилить.

*12 июня.* Книге вдруг становится дурно, и она валится с полки.

*14 июня.* Опера. Идет «Валькирия». Скука, картон, бессмыслица бенгальских огней: 14 июля в нашем Шомо. Ни одной минуты эмоций, подлинной красоты. Разве что меня позабавила скачка во время грозы, вроде катания с американских гор. Вот бы еще несколько таких сцен.

Что могу сказать я о произведении, которое не тронуло чувствительного человека тридцати восьми лет от роду! Стоит ли труда всю свою жизнь искать подлинные впечатления, стремиться выражать человеческие чувства точными



словами, обладать вкусом к правде, если поэтический хлам может быть тоже красивым! Но что красиво нелепейшей красотой, так это само здание Оперы. Нечто официальное, правительственное, нечто вроде огромного кафе, где устраивают свои свидания бриллианты и декольте, а также глухие, пытающиеся доказать, что они слышат.

*16 июня.* ...Кончится тем, что я не смогу обходиться без Парижа. Скоро начну бояться тоски одиночества. После дня пусть не работы, но усердного корпения за письменным столом — ежевечерние прогулки по бульварам. Свет фонарей, женщины, толпа — все это кажется мне вознаграждением за труд.

\* Сохранять верность на нашей грешной земле — это еще куда ни шло. Но умереть, предстать перед господом богом, так и не изменив своей жене, — какое унижение!

\* Губернатора какого-нибудь острова вроде Мартиники будит колебание почвы, он протирает глаза, пугается. К нему прибегают сообщить, что началось землетрясение и что целый квартал города погребен под развалинами.

— Ох! — облегченно вздыхает он. — Слава богу, вы меня успокоили. А я-то думал, что у меня началось головокружение.

\* Нескромное молчание.

*23 июня.* Важный вид врача, его безапелляционный диагноз, когда он уверен, что у больного нет ничего серьезного.

\* Театр. «Планом» я называю естественное развитие характеров.

\* Для того чтобы ясно видеть, следует сначала очистить взор от засоряющего глаза рококо во всех его проявлениях.

\* Для нашей маленькой деревушки я берегу все то, чего не отдал огромному Парижу.

\* С помощью фонаря я нашел человека: себя самого. И разглядываю его.

*24 июня.* Ему необходимо хорошо одеваться, а он может покупать ботинки только по четыре франка пятьдесят сантимов за пару и соломенные шляпы отвратительной белизны.

Даже галстук он старается не завязывать туго, чтобы он не изнашивался раньше времени.

\* Фантек не хочет жениться, боится, что ему попадется жена вроде мадам Бовари.

\* Когда я думаю о всех тех книгах, которые мне осталось прочесть, я считаю себя счастливым.

*25 июня.* Писатель должен сам создать себе свой язык, а не пользоваться языком соседа. Надо, чтобы твой стиль рос у тебя на глазах.

*30 июня.* Вилли: его стакан невелик, но пьет он из чужого стакана.

*2 июля.* Как сделать так, чтобы не все награждались орденами? И найдется ли хоть один человек, который посмел бы признаться: «А я не знаком ни с одним министром»?

*10 июля.* Не принимать плохого настроения за хороший вкус.

\* Такие низенькие деревца, что листья могут нежно касаться собственной тени, лежащей на земле.

*11 июля.* Уже давным-давно я решил больше не стыдиться своего тщеславия, даже не пытаться вести с ним борьбу. Оно забавляет меня больше всех прочих моих недостатков.

*15 июля.* Сердце. Ну и наговорили о нем! Ну и наговорили, напутали. Приходится начинать все сызнова. Так часто преувеличивали, что оно стало каким-то пустяком.

18 июля. Сотворение мира продолжается.

21 июля. Я хорошо изучил свою лень. Я мог бы написать о ней целый трактат, если бы это не потребовало труда и времени.

22 июля. — Тщеславие, — говорит Тристан, — это кожная болезнь, а не органический недуг; человек почешется с удовольствием, и все пройдет.

— Совершенно справедливо, — отвечаю я. — В тщеславии художника есть какая-то прелесть, при том условии, конечно, что оно искренне, и нам следует любить тщеславие, которое выдает художника на каждом шагу.

23 июля. Гусь. Шагает по мокрой земле, и на ней остаются отпечатки кленового листа.

\* Страус находится на равном расстоянии от своего клюва и своего хвоста.

\* Если бы я имел успех, если бы я зарабатывал деньги, если бы за мной бегали женщины, — разыгрывал бы я тогда человека пресыщенного? Увы, я не элегантен. Будем любить жизнь вопреки всему. Будем выше этого. Не придирайтесь! Жизнь прекрасна.

\* Животные. Выйдя из Ноева ковчега, они все переругались.

24 июля. — Дюма-отец, — говорит Капюс, — писал в том легком жанре, который отвечал вкусам его времени. Должен же и сейчас существовать такой жанр, который понравился бы нашим современным читателям. Весь вопрос в том, чтобы его найти.

\* Булонский лес. Вечер, фиакры, люди, которые только об одном и думают.

Луна — прелестнейшая поэтесса, и если бы она потухла, нашим чувствам был бы нанесен смертельный удар, пришлось бы нам надеть траур. Снижился бы уровень поэзии.

Автомобиль неуместен среди лунного пейзажа.

Смотришь на спину кучера и думаешь: «Странное у него ремесло».

Лунный свет так прекрасен, так нежен, что невольно от всей души прощаешь малоприятные запахи, идущие от лошади. Все делают вид, что не замечают. Это вопрос такта.

*4 августа.* Раздача наград в Корбиньи. Граф д'Оне — тип дипломата, уже несколько обветшалого. Не имеет себе равных по части обращения с моноклем, который он то и дело выбрасывает и вбрасывает обратно. Слегка раздражен потому, что никто его не встретил у дверей.

Девочек он не целует: должно быть, считает это дурным тоном. Читает их имена на похвальном листе и каждую спрашивает, сколько ей лет. Скрещивает ноги, чтобы все могли полюбоваться его лакированными туфлями и цветными носками в полоску.

*9 августа.* Он нанимается на работу, но питаться у своих хозяев не желает. Он не просит платить ему поэтому больше, чем другим, но он хочет уходить домой, и есть он может только стряпню своей жены.

\* Конец. С тех пор как старик не может больше ходить в харчевню играть в карты, он заскучал, одряхлел. Он оглох и плачет с утра до вечера.

Старуха забывает все слова. Старается припомнить слово «грипп» и жалобно охает до тех пор, пока не вспомнит. Голова у нее слабая: заводя часы, она упала, разбила голову — и вот последствия.

Мамаша радуется, что она еще не такая дряхлая.

Держится только дочь и говорит старикам: «Хватит, поработали на своем веку! Отдохните!» — таким тоном, будто говорит: «Будете вы сидеть спокойно?»

Когда у них пропадает охота зарабатывать деньги, они, можно сказать, уже умирают. Сначала умирает их мозг, запущенный давно, и тянет их за собой.

*12 августа.* Я так добр, что никогда не потревожу кошку, которая спит на моем столе, как раз в том месте, где я пишу: лучше сам пройду прогуляюсь.

*16 августа.* Им кажется вполне естественным, что со старостью приходит бедность, и поэтому любого нищего они зовут «стариком».

\* Он говорит: «Я хочу стать лучше, но не могу. Это не в моей натуре».

*19 августа.* Он за свободу, но сам он столь ничтожен, что, глядя на него, предпочтешь жить с рабами, чем с таким, как он.

*20 августа.* Очень приличный молодой человек готовит докторскую диссертацию по юриспруденции. Но вы бы послушали, как он разговаривает с родной матерью!

\* Кто-нибудь, должно быть, уже сказал: «Дерево похоже на человека, воздевшего руки к небесам».

\* Дым — голубое дыхание дома.

*23 августа.* Щемяще прекрасная луна. Ах, если бы с луны до нас доносилось хоть немного музыки!

*25 августа.* Я точно знаю, где литература теряет почву под ногами и перестает соприкасаться с жизнью.

*29 августа.* Фантеку. Если ты будешь венчаться в церкви, не говори, по примеру прочих,

что делаешь это из любезности и ничем не жертвуешь, тогда как твоя жена в противном случае пожертвовала бы своим вечным спасением. Не забывай, что в церкви ты дашь обещание, пусть даже без намерения его сдержать, — воспитывать твоих детей в римско-католической апостольской вере. Даже священнику не следует обещать того, что решил не выполнять.

Не презирай свою невесту до такой степени, чтобы уважать ее веру, которой нет у тебя. То, что является для тебя заблуждением, и для нее может быть лишь заблуждением. Она создана, как и ты, для истины.

Не воображай, что все у вас может быть общим: состояние, радости, горести, кроме одного, самого существенного, — общности мысли. Ты еще страдаешь от веры твоей жены, из-за этой веры она останется для тебя непонятной, чужой...

Женись на женщине, у которой религиозное умонастроение — а это не религия — имело бы те же права, что и твое умонастроение. Постарайся обратить ее в свою веру, пока она не обратила тебя в свою. Пусть у вас обоих представление о боге будет представлением о мироздании и о вашей собственной судьбе. А если нет, то лучше не женись.

Иначе будешь несчастным, даже не понимая, почему ты несчастен.

\* Правда может шокировать, и в этом ее немалое очарование.

\* Я не пишу потому, что мне нечего писать.

Я считал, что это достоинство, но, услышав ваши упреки, думаю теперь, что это добродетель.

*2 сентября.* Смотрю на звезды. Хочу узнать их

названия, зажигаю спички и заглядываю в астрономический атлас. Но спичка тухнет, глаза ослепленно моргают, и я не нахожу больше в небе той звезды, название которой вычитал в атласе.

*4 сентября.* Прогулки. Вдоль канала до Мариньи, от Мариньи по дороге на Жермене. Возвращение по этой же дороге в Шомо. Вместе с Маринеттой, а также с кобелем и сукой, которые не ссорятся.

На берегу канала крестьянин косит траву. Он здороваётся с нами. Хотя он вполне вежлив, мы обходим его с чувством тревоги в ногах, так, словно коса скользит за нами следом, чтобы нас поранить.

Когда мы проходим оба по одну сторону тачки или повозки, крестьяне глядят на мой орден и на Маринетту. Когда она проходит слева, а я справа, они жертвуют удовольствием любоваться мною и смотрят только на Маринетту, потому что у нее платье с вырезом.

Завидя нас, какая-то женщина возвращается домой и, чтобы лучше нас разглядеть, смотрит, приподняв занавеску. Значит, эта развалившаяся лачуга обитаема? Спокон века здесь жили люди. Для чего жили?

Я прохожу. Делаю запись. Какой-нибудь будущий Ренан ее прочтет, и она войдет в жизнь людей. Во вселенную. Ведь эти люди только для того и живут.

В своей книге «Будущее науки» Ренан пишет: «Подумайте о бесчисленных поколениях, которые погребены на деревенских кладбищах. Мертвы! Мертвы! Навсегда ли? Нет! Они живут в человечестве. Эти мертвецы участвовали в создании Бретани (Мариньи, Нивернэ). И когда

Бретани не будет, Франция останется. И когда Франции не будет, человечество останется... В тот день самый несчастный из крестьян, которому нужно было сделать всего два шага, чтобы от хижины своей дойти до своей могилы, будет жить, как и мы, в этом великом бессмертном имени».

Да, но как втолковать это Онорине, у которой от нищеты и работы руки задеревенели, как старые сучья? Значит, бог создал всех этих несчастных для умственных утех Ренана? Не слишком ли высока цена? Не слишком ли ничтожна конечная цель?

Крестьянин гонит коров и разговаривает с ними, повинуюсь инстинктивной потребности показать этим приезжим, что он тоже наделен даром речи, а также чтобы привлечь внимание незнакомой дамы. Дети кричат и играют на лугу. Маленькие девчушки глазуют на нас, прижавшись лицом к изгороди.

Кажется, что по ту сторону Жермене уже конец мира. Зелено-черные луга, леса, ни колокольни, ни человека, ни скотины. И как раз здесь садится солнце.

Для проживания в Париже есть лишь единственный понятный мотив: деньги. Ну, а слава? А жажда деятельности? Разве можно полнее ощущать жизнь, чем здесь, на жерменейской дороге? В эту минуту «широты» я не потратил бы и ста су на городские развлечения. Сто су — это хлеб, на сто су можно приодеть кого-нибудь из этих несчастных, которые, сами того не зная, помогают кому-то творить бога.

*6 сентября.* После грозы ночь такая черная, будто в ней растворены все потухшие молнии.



\* Великий поэт может пользоваться общепотребительными выражениями. Следует оставить маленьким поэтам заботу о благородном риске.

*11 сентября.* Старик крестьянин. Все зубы у него искрошились: слишком черствый хлеб приходится ему есть. Однажды неизвестно кто выстрелил из охотничьего ружья в голову его корове. Она выздоровела, но долго ходила дура душой.

*12 сентября.* Природа просыпается совсем свежей, а у человека после пробуждения еще долго во рту остается горечь.

\* Она становится бешеной. Глаза ее мечут молнии, не предвещающие добра. Одного она хочет — скорее околеть. Ребятишкам у чужих будет не хуже, чем с ней, родной матерью. Но особенно ее раздражают издевки прачек на реке: она разбила бы им вальком физиономии.

— Вот, говорят, что я злая, — объясняет она. — А как же иначе! Побыли бы в моей шкуре! Другая бы еще позлее была!

Она попросила отдельный вид на жительство. Суд в Кламси запросил мэра, а тот ответил, что она неуживчивая, что муж ее уехал, но вернется. Мэр забыл написать, что эта «неуживчивая» женщина кормит одна, без посторонней помощи пятерых ребятишек, и суд, введенный в заблуждение жандармами, обратившимися за справками к мэру, сообщил несчастной, что ее просьба отклонена.

Она возвращается с речки. Вымокшие с ног до головы ребятишки ждут ее на улице. Все, что она может, — это их раздеть и уложить. Графиня дает ей пятнадцать фунтов хлеба, Маринетта будет давать ей пеленки и по сто су в месяц.

За жилье она платит четыре франка в месяц. Хозяйка, полубезумная старуха, тоже не из богатых, время от времени заявляет жиличке, что легко найдет себе кого-нибудь другого, кто будет платить подороже. Это неправда, но бедняжка трясется. Муж не хочет с ней разводиться. Когда она поднимет на ноги детей и когда они с двенадцати до двадцати лет пойдут в люди, он сможет отбирать в свою пользу половину их заработка.

*17 сентября.* На охоте. Тщетно я стараюсь держаться рядом: Филипп упорно отстает.

Я замедляю шаг. Он останавливается. Наконец, не выдержав, я спрашиваю:

— Вы это нарочно, Филипп, идете сзади?

— Это как когда, — отвечает он. — Иной раз да, особенно когда мы на дороге.

— Но почему же? Подумают, что я вам приказал идти сзади. Как раз такого недостатка у меня нет. Это годится для важных господ или для маньяков, вспомните-ка того мастера, парижанина, который велел Борно идти в ста метрах позади.

— Нет, мосье, — возражает Филипп, — вовсе не потому я позади вас иду. А потому, что вы всегда идете справа, а я, значит, иду слева, и дуло моего ружья направлено на вас. Как-то неловко получается. Вот я из осторожности и иду позади.

*21 сентября.* Последнего своего ребенка она родила зимой. Через неделю она уже собирала в лесу под снегом хворост в летней нижней юбке.

*24 сентября.* Охота. По влажной люцерне бежит куропатка, а за ней петляет собака, которая время от времени подымает нос с налипшими желтыми листочками и дышит, как тюлень. Куропатка убегает. Видно, как шевелятся сте-

бельки люцерны, — легкая бороздка... Перья у куропатки намокли, она не может взлететь. Время от времени собака останавливается, делает стойку, и куропатка, воспользовавшись передышкой, удирает. Так мы проходим весь этот маленький люцерновый океан. Наконец Филипп стреляет, и куропатка убита. Трое слуг Букена начинают вопить: зачем стреляли так близко... Их совсем оглушило.

— А зачем, — возражает Филипп, — вы торчите на дороге, прямо у нас на следу?

Неосторожное замечание! Разве дороги не для всех? Надо заглазить промах. Я догоняю парней, и они говорят, что просто пошутили.

Слышно, как в лесу начинается дождь. Он шумит, словно река.

Дождь, дождь! Собаки пьют из луж.

Крестьяне копают картошку, пригнувшись к земле, и издали кажется, будто они ее едят.

*26 сентября.* Открыть глаза пошире. Я вижу Шомо и Шитри. В нынешнем году я почти вижу Мариньи. В будущем году я просто обязан видеть Жермене. Если я пойму весь этот уголок земли, — как фотография, «поймавшая» детали снимаемого пейзажа, — значит, я не зря прожил жизнь.

Солнце кончает свой день, но и деревья тоже, и деревушка. Дорога меркнет, и поля медленно умирают под серой дымкой. Когда солнце не заходит, засыпающая природа волнуется сильнее.

Если я состарюсь, возможно, я каждый день буду с грустью спрашивать себя: «Кто знает, может быть, завтра я уже не увижу всего этого?»

Вода последняя закрывает свои бесцветные глаза.

Замок скликает к себе свои ели.

Колокольня засыпает вся в трепете своих колоколов.

Дерево надевает клубук.

Белые быки шагают по лугу, словно ищут себе местечко для ночлега, надежно укрытые своими белыми рубахами.

Чуть подальше отходит ко сну река.

\* Через десять лет в Шитри тоже будет своя аристократия: из отставных лакеев.

*27 сентября.* Слова должны быть лишь одеждой мысли, строго по мерке.

*29 сентября.* По воскресеньям Раготта ничего не делает. Она то сцепит, то расцепит на животе руки и мечтает, тяжелоувесно, с натугой.

*7 октября.* Возвращение в Париж. Я говорю Капюсу:

— Эх, черт побери, твои фразы более сговорчивы, чем мои.

— Совершенно верно, — отвечает он. — Если вынуть из твоей фразы хоть одно слово, она рухнет. А из моей можно вынуть хоть все слова, и она все равно держится!

*17 октября.* Форен приносит в «Фигаро» рисунок, совсем простой.

— Все-таки, — говорит ему Родей, — за триста франков вы вполне могли что-нибудь пририсовать.

— Что именно?

— Сам не знаю. Ну хоть несколько штрихов.

\* Паук протянул свою паутину между двух телеграфных столбов, чтобы подслушивать наши разговоры.

\* В пустой комнате большая муха о чем-то разговаривает сама с собой.

\* Целый год я провожу в том, что повторяю: нельзя терять ни минуты.

*20 октября.* Тринадцать дней. Бедняги капитаны, чья единственная интеллектуальная радость — давать отсрочку артистам и писателям.

— По какому, значит, мотиву вы просите отсрочки? — допытывается жандарм.

— У меня как раз идет пьеса, и мне необходимо присутствовать на репетициях.

— Понятно. Какая же у вас профессия?

*5 ноября.* Что может быть очаровательнее иронии честного человека?

*7 ноября.* Жак Буланже с увлечением рассуждает о роли историка, отказавшегося раз навсегда создать исчерпывающий труд. Он знает — через два года или на следующий год чья-то новая книга убьет его прежние произведения.

Они ищут истину, которую нельзя найти. Лучший из них — тот, кто больше всего приближается к ней, другими словами — кто не старается ее истолковать.

Иных обуревают нездоровая, страстная любовь к историческому документу как таковому и боязнь добавлять к нему что-то свое.

А вот этот прожил десять лет с Филиппом Красивым, и все для того, чтобы «дать» его нам на десяти страницах.

*9 ноября.* «Игра любви и случая». Это шедевр с точки зрения вкуса. И вовсе не в силу традиции. Но после слов: «Мне так хотелось, чтобы это была Доранта» — пьеса, кажется, кончилась.

История ревности Марио длинновата.

Достаточно одного слова — и пьеса держится! «Ни тот, ни другой не на месте». Это образец водевиля, запутанной интриги.

Когда ты — Мариво, ты можешь позволить себе даже красоты: Мендесу этого не дано. Лишь изредка попадаются невыразительные слова. Два-три таких слова.

Стиль Мариво — это шелк.

*10 ноября.* Эти двое стариков взяли себе за привычку просыпаться среди ночи. Они спрашивают друг друга о самочувствии и болтают о своих будничных заботах.

*18 ноября.* В сорок лет можно засесть за работу. Любовные истории уже не отвлекают.

*27 ноября.* Драматическое искусство: слишком часто забывают, что это есть как-никак ремесло писателя.

*28 ноября.* Кролик, пучеглазый, с опущенным ухом, нагоняет страх на удава и вдруг, потеряв выдержку, падает в пасть удава, которому волей-неволей приходится его глотать.

\* — Доказывая ему свою любовь, — говорит Капюс, — она спала со всеми, кроме него. Директора театров доказывают ему свою любовь, ставя любые пьесы, кроме его пьес.

*22 декабря.* Жорес немного похож на медведя, которому не чужда любезность. Шея короткая, как раз такая, чтобы можно было повязать галстучек, какие носят провинциальные студенты. Живые глаза. Он похож на сорокапятилетнего отца семейства, знаете, такого папашу, которому взрослая дочка говорит по-приятельски: «Застегни сюртук, папа». Или: «Папа, подтяжки нужно немножко подтянуть».

Является в котелке, воротник пальто поднят.

Деланная простота, простота гражданина, который непременно начинает речь словами: «Граждане и гражданки», — но подчас в пылу

красноречия забывается до того, что говорит: «Господа».

Движения у Жореса резкие, но целеустремленные, руки не длинные. Часто подымает палец, как бы указывая путь к идеалу. Захватывая пригоршнями мысли, Жорес сталкивает сжатые кулаки, рука отстраняет какой-то невидимый предмет или описывает параболу. Временами Жорес начинает ходить, засунув одну руку в карман, вытаскивает носовой платок и утирает рот.

(Я слышал его только раз. Это лишь набросок.)

Начало речи медленное, слова отделены большими пустотами. Пугаешься: и это все? Внезапно большая, звучная и вздутая волна грозно вздымается и затем тихо спадает. С дюжину волн такого размаха. Это прекраснее всего. Это прекрасно.

Это не тирада вроде строфы в пять-шесть великолепных стихов, прочитанных великим актером. Разница в том, что ты не уверен, что Жорес знает их, и боишься: вдруг последний стих не придет. Понятие «повисание» лучше всего передает это. Действительно, повисаешь, боясь, что и сам Жорес сорвется, и его падение причинит боль... нам.

Между спадами этих больших волн — переходы, нейтральные зоны, когда публика отдыхает, когда соседи могут перегляднуться, а кто-нибудь вспомнит о свидании и выйдет.

Он говорит два часа и выпивает каплю воды.

Подчас, очень редко, период не удается, резко обрывается, и аплодисменты затухают сразу, как аплодисменты клакеров.

Он называет великое имя Боссюэ. По-види-

тому, независимо от темы, он всегда старается упомянуть этого великого человека.

Но не все, что он говорит, интересно. Он говорит прекрасные вещи, и говорит их с полным основанием, но возможно, что они мне уже известны или что я в недостаточной степени народен. И вдруг великолепная формула:

«Когда мы излагаем наше учение, нам возражают, что оно неосуществимо, но не смеют говорить, что оно несправедливо».

Или:

«Пролетарий не забудет человечества, ибо пролетарий несет его в себе. Он не владеет ничем, кроме своего звания человека. С ним и в нем звание человека восторжествует».

Голос, который доходит до последних рядов, но не перестает быть приятным, голос ясный, очень большого диапазона, несколько резкий, не грома грохотанье, но салютов.

Здоровенная глотка, но крик, выходящий из этой глотки, остается благородным.

Единственный дар, которому можно позавидовать. Не зная усталости, он пользуется самыми тяжелыми словами, которые составляют костяк его фразы и которые, упади они с пера, оцарапали бы бумагу и пальцы писателя.

Подчас неправильно употребленное слово выражает противоположное тому, что он хотел сказать, но жест, — пресловутый жест, которым так дорожат актеры, — снимает неточность и тянет за собой подлинный смысл.

Только немногие его фразы можно записать такими, как они возникают, но если глаз — зеркало, то ухо — воронка.

Мысль, широкая и неоспоримая, всегда поддерживает слова Жореса, — это позвоночник его



речей. Пример: прогресс справедливости в человеческом обществе не есть результат игры слепых сил, но результат сознательного действия, мыслей все более высоких и направленных к идеалу все более возвышенному.

*26 декабря.* То, что он знает, он знает хорошо, но он не знает ничего.

\* Моему мозгу требуется мечтать не меньше двух часов — тогда можно заставить его работать в течение пятнадцати минут.

\* Мы смотрим на дым, поднимающийся из трубы, с чувством умиления, так, словно там, у камелька, сидит молодая покинутая женщина и сжигает, перечитав в последний раз, любовные письма.

*28 декабря.* «Пьеса, — говорит Капюс, — не окончена, если она, подобно жизни, не оканчивается смертью».

Да нет же! Пьеса окончена, когда ее продолжение перестает вас интересовать.

Не будь Тартюфа, какое значение имела бы для нас жизнь семьи, откуда его прогоняют? И то, что произойдет с ним самим? Все это совершенно безразлично. Пьеса окончена тогда, когда она нас больше не интересуется. Вот почему пьеса часто оканчивается прежде, чем она началась.

*31 декабря.* Год — как ломоть времени, его отрезают, а время остается, каким было.

---

## 1903

*10 января.* Слезы у тебя на щеке блестят, как дождь на птичьем оперении.

*13 января.* Критик пишет только о переизданиях.

*15 января.* Глядя на красивую женщину, я не могу не влюбиться в нее, я от нее без ума. Это как удар молнии и длится столько же: мгновение.

*19 января.* Он ничего не говорит, зато известно, что он думает: глупости.

*26 января.* В омнибусе толстая женщина, упитанная, здоровый цвет лица, но глупая, как ее бриллианты. Беседует с господином, сидящим напротив, и через несколько минут мы уже видим воочию всю их идиотскую жизнь.

— Театр — это накладно, — говорит она, — если приходится платить за билеты.

— У меня, — говорит господин, — билетов всегда сколько угодно. Часто я даже возвращаю билеты в ложу Оперы, если их присылают не вовремя.

— А мы, — говорит дама, — всегда платим за билеты.

Она рассказывает об одном очень хорошем спектакле, на котором ее супруг плакал, как дитя. Она говорит о «Рыжике»: «Это глупость.

Если бы я знала... и если бы не артисты... «Воскресение» — это не для девиц, но за исключением социалистической части, мне это нравится».

\* Доброта никогда не ведет к глупости.

*6 февраля.* Бернштейн поет хвалу Расину, но не Расину — создателю трагедий, не Расину-человеку... Так какому же Расину?

\* В палате депутатов с Леоном Блюмом.

Сначала ничего не разберешь. Все непонятно. Постепенно устанавливается порядок. Время от времени внизу, у трибуны председателя, собираются депутаты, министры — нечто вроде семейного совета. Очень точно выразился Жорес: никто, даже Дешанель, не интересуется публикой, что на галерке...

...У нас отнимают трости и шляпы из страха, что нам захочется бросить их в голову правительству... Стакан с водой служитель меняет каждый раз, когда меняется оратор. Пьют воду очень немногие.

Это прекрасный театральный зал. Это театр.

*1 марта.* Грустный, дождливый, ветренный день. Представляешь себе одинокий замок, где вся семья, позевывая, говорит: «Как жалко, что сейчас не сезон больших маневров. Хотя бы офицеры заглянули».

*2 марта.* Крестьянин, с которым я учился в школе и для которого остался «старинной Жюлем».

\* Женщина показывает свою грудь и верит, будто предлагает свое сердце.

\* Муж, жена и священник — это и есть настоящий треугольник.

*3 марта.* Леон Блюм очень умен и ни грана остроумия. Это утешение людям вроде меня,

которые считают себя остроумными и не очень уверены в своем уме.

*4 марта.* Стиль, изборожденный молниями.

*6 марта.* В театре. Маленькая старушка на откидном стуле, которую я заметил лишь потому, что наступил ей на ноги. В последнем акте «Болтуна» подошла к рампе и с целью вызвать автора или актрису, которой она приходится матерью, стала бить в сухие ладошки, локти прижала к телу, голову склонила набок, прислушиваясь, не последуют ли ее примеру. Это было трогательно.

И она добилась своего.

\* Ирония входит в состав счастья.

*21 марта.* «Кренкебиль». Закрытая репетиция.

Все охвачены энтузиазмом, но без посторонней помощи он вот-вот потухнет. Франс их гипнотизирует. Лично я не слишком увлечен. Все это очень элементарно, очень старательно выделано. Франс беспечен, как может быть беспечен лишь новичок в театре. Все ему по душе, и любит он всех подряд — от Гитри до Фредаля.

Гитри сделал себе грим, о котором все сначала заявили, что «это просто шик», потом разглядели, что он слишком смахивает на карнавальную маску. Он нацепил сверх того картонный нос, и никакого Кренкебиля не получилось, а получился Гитри с картонным носом.

Театр совсем пустой. Все актеры разошлись.

Мы сидим в креслах в оркестре. Франс, мадам де Кайаве, которая дважды или трижды смотрела «Рыжика». Здесь совсем темно. На сцене — светильник в виде длинной черной палки, воткнутой в пол, — так называемый «дьявол».

Я говорю Франсу о развязке пьесы, которая, по моему мнению, хоть и закономерна, все же менее правдива, чем в новелле.

— Это мне подсказала мадам де Кайаве, — говорит он.

— В конце концов, — говорю я, — Мышонок — это спаситель.

— Не совсем, — отвечает Франс. — Он не обычный условный спаситель, он вовсе не богатый господин, который из эгоистических соображений позволяет себе роскошь приютить бедняка: это дитя, причем непричастное к хорошему обществу. Кренкебиль ему говорит: «Ты не от мира сего!» Это просто слабое существо, чей добрый поступок не обязательно даже объяснять к выгоде людей. Заметьте, что Мышонок живет на самом верху старого дома, который как раз ремонтируют, чуть ли не на небесах живет. Да, он небесный и он земной. Впрочем, он вовсе даже не спасает Кренкебиля: просто как-то вечером делит с ним хлеб и колбасу. Он дает ему приют лишь на одну ночь, и Кренкебиль завтра прямым путем пойдет топиться в Сене. Но публика этого не увидит: надо же что-то сделать и для публики!

Какой изумительный собеседник Франс! Он знает и говорит все.

*27 марта.* Капюс говорит:

— Мир устроен плохо, потому что бог создал его один. Если бы он советовался с двумя-тремя друзьями, с одним в первый день, с другим — на пятый, с третьим — на седьмой, — мир был бы совершенством.

Как только работа переносится на сцену, — уже ничего не видишь.

Те тридцать пьес, что я написал, подготовили меня к тем сорока, что я еще напишу.



Жюль Ренар. Рисунок художника Сэма

Швобу явно недостает классического образования.

Расин никогда не отделял окончание стиха.

Для празднования «Тридцати лет театра» я собираюсь сделать доклад о Мольере, но не с точки зрения XVII века. Я буду говорить о нем, как если бы он жил в наши дни, как если бы это был наш Гитри, наш товарищ...

*30 марта.* Приторные пирожные, после них ценишь хлеб.

\* Успех других меня затрагивает меньше, если он незаслужен.

\* Всякий драматург рассуждает про себя так: есть только один актер, которому под силу играть мои пьесы. Это я сам. Я играл бы их как сапожник, но не в этом дело...

\* Наполеону следовало бы застрелиться на одном из полей его сражений.

\* Неожиданно естественные интонации актера, который во время репетиции прервал себя, чтобы сказать что-то суфлеру.

\* Религия спала с меня, как кожа.

*1 апреля.* «Господин Верне». Репетиция. Антуан гонит первое действие с головокружительной быстротой, от чего слова превращаются в пылинки. Через некоторое время слышу:

— Синьорэ, это слишком напыщенно. Вы же не на сцене «Комеди Франсез». Вы испугались Ренара. Играйте это, как Грене-Данкура.

Когда я делаю ему замечание, что смысл фразы, мол, не таков, его губы кривятся, что не предвещало бы мне ничего доброго, если бы он в душе меня не побаивался.

— Играйте весело! — говорит он Синьорэ.

— Так мне еще легче, — отвечает Синьорэ.

У Шейрель две совсем различные улыбки: одна — порядочной женщины и другая — пригородной феи.

— Я вам сделаю любую улыбку, на выбор! — говорит она. — Только закажите.

Приносят макет декорации второго действия. Неизбежная в таких случаях фраза:

— Вот здесь следовало бы играть спектакли.

Антуан велит все разрушить. Движение руки, и все валится.

— Какое горе, что я не умею рисовать! — говорит он.

С помощью костяшек домино он пытается построить такой дом, какой ему хочется: костяшки рассыпаются.

— Нужно, чтобы получилось еще более по-деревенски! — твердит он.

— Хорошо, хорошо, — успокаивает художник. — Деревня — это по моей части.

\* До чего же легко строить диалог.

Она:

— Нет!

Он:

— Да.

И вот уже готовы четыре строчки!

*5 апреля.* У птицы гордый вид: будто она пролетела над Парижем.

*15 апреля.* Дюма-сын для своего времени был талантлив. С тех пор мы научились говорить другим языком. Сегодня нужно переписать его пьесы, я не скажу — более талантливо, а просто другими словами. Через двадцать лет придется, быть может, проделать ту же работу над пьесами Капюса и Эрвье.

*18 апреля.* «Орленок». Да, это другой мир, но он волнует меня всякое мгновение...



*2 мая.* ...«Господин Верне». Ночью не спал. Дрожь, лихорадка, лицо горит.

Совсем не уверен в первом акте; чтобы подбодрить себя, вспоминаю, что Фейдо похвалил второй акт. Почти весь день остаюсь в постели, нервничаю, хандрю.

Маринетта — герой. Она пришлет Фантека сказать, как прошел первый акт: «Очень хорошо. Хорошо. Так себе. Плохо».

Маринетта говорит: «Не волнуйся. Клянусь, что я тебе скажу всю правду. Во всяком случае, не приукрашу. Скорее уж наоборот».

Постепенно я успокаиваюсь. И потом, если бы не деньги, к чему вся эта театральная лихорадка!

\* Десять часов вечера. Я спокоен, как будто сегодня и не играют моей пьесы. Это спокойствие не предвещает ничего доброго. Провал все-таки ощущение более острое, чем успех. Прибегает Фантек. Весь первый акт удался.

*10 мая.* Театр. Не слушать друзей и журналистов, которые находят в пьесе длинноты. Они видели столько пьес, что всегда склонны сказать: «Быстрее! Да ну, быстрее же!» А зритель скажет: «Постойте-ка. Не так быстро. Я уплатил за весь вечер, а вы хотите меня выставить за дверь».

\* Франк-Ноэн:

— Вы никогда не заработаете много денег в театре... Я еще верил после постановки «Рыжика», но...

Тристан Бернар:

— Вы заработаете много денег в театре. Я не верил в это после «Рыжика», но...

*16 мая.* Театр. Если хочешь, чтобы я заплакал, не визжи.

\* Она стареет на глазах: виден снег, посыпавший голову.

\* В споре ничего не рождается: свет рождается из доброго согласия. Этот свет — он-то и озаряет близкие по сути рассуждения.

\* Хороший вкус вовсе не у меня, а у правды.

\* Нужна такая ясная фраза, чтобы она сразу радовала и чтобы ее все-таки перечитывали именно ради этой радости.

\* Такой череп, а мозг с горошину.

\* Кенгуру везет ручную тележку.

\* Среди душевного молчания вдруг удар колокола.

*27 мая.* Автору не следует слишком вслушиваться в свои пьесы: рано или поздно он убедится, что наиболее доходчивы как раз посредственные места, и в следующей своей пьесе будет налегать на посредственность.

*12 июля.* Ростан — поэт толпы, которая считает себя элитой.

*16 июля.* Мопассан не наблюдает: его реальность — плод воображения. Это все-таки приблизительно.

\* Природа никогда не бывает безобразной. Как легко дышится деревьям!

*22 июля.* Держитесь от меня поодаль, чтобы я мог вас уважать.

*23 июля.* Легенда — эти крестьянские свадьбы, на которых якобы едят целый день. Если говорить по правде, они едят мало, но медленно. Чтобы съесть много, нужно иметь привычное к еде брюхо богатых.

\* Их «трапеза» — пресловутый чеснок, картофель, ломоть черного, именно черного, хлеба, кувшин с водой в тени изгороди, — все это мучит нашу совесть и прибавляет нам аппетита.

*30 июля.* Сон праведника. Разве может праведник спать спокойно?

*18 августа.* Нынче утром Раготта, когда выводила корову, услышала такой крик, такой крик!.. Побежала в поле и видит мальчонку, который стережет баранов Букена. Кричал он от тоски, потому что его еще на Иванов день наняли в подпаски. Ему двенадцать лет. Он стосковался по своим родителям, которые живут в Муроне, и вот он кричит, и крупные слезы текут у него по щекам.

\* Больно видеть, когда крестьянин выказывает презрение к другому крестьянину.

*10 сентября.* В Шитри будут долго помнить здешнюю графиню, толстую даму, которая давала много белья в стирку, а могла бы давать больше, если бы не ее приживалки; а в церкви у нее было свое особое место, и когда благословляли хлеб, она съедала целый ломоть, будто она ест только раз в неделю.

...На похоронах графини раздавали хлеб — больше сотни пятифунтовых буханок. Раготте не досталось. Если бы ей предложили хлеб, Раготта приняла бы из вежливости, всем известно, что у Раготты хорошие хозяева.

*14 сентября.* Можно обойти все лавки в Корбиньи и не найти там зубной щетки, пилочки для ногтей, губки, — не считая губок для мытья карет.

\* Религия служит извинением их умственной лени. Им дается готовое и самое посредственное объяснение вселенной. Но они и не помышляют о другом, потому что не способны искать, а также в силу безразличия. Нет ничего более неизменно-практичного, чем религия.

*26 сентября.* Охота. Брожу около часа. Ма-

шинально нажимаю курок, пугаю перепелок. Откуда эта мания пугать?

Поля принадлежат труженикам. Бездельникам, вроде меня, стыдно бродить так просто, вот и берешь ружье. Будто для дела.

Слышу, как в тачке перекатываются картофелины.

Возвращаюсь домой. Идем вдоль канала. Пуантю не переставая обнюхивает землю, заставляя лягушек прыгать в воду.

\* Существуют ли мудрецы, которые любят природу так, как я ее люблю, понимают, что этой любви вполне достаточно и что незачем делать из этого литературу?

\* Борно говорит мне: «Я неверующий, но уважаю религиозные убеждения других. Религия — это дело священное».

Почему такие привилегии, такая неприкосновенность? Верующий — это человек, который верит словам священника и не желает верить тому, что говорят Ренан или Виктор Гюго. Что же тут священного? Чем отличается такой верующий от любого пошляка, который предпочитает бульварную литературу произведениям наших великих поэтов?

Верующий создает господа бога по своему подобию. Если он уродлив, то и бог его нравственный урод. Чего ради мы обязаны почитать нравственное уродство? Религия дурака не должна служить ему защитой от нашего презрения и наших насмешек.

Будем же нетерпимы к себе! Пусть все стадо наших идей идет прямой дорожкой, подгоняемое своим пастухом Разумом. Зачеркнем неудачные строфы человечества!

\* Литература прекрасна. У меня пала корова.

Я описываю ее смерть и получаю за это деньги — теперь у меня есть на что купить другую корову.

\* Одерживая над самим собой крохотные победы, с трудом избегаешь больших поражений.

28 сентября. Он приближается, толкая перед собой тачку, доверху наполненную мешками с картофелем. Уже темно, и он меня не замечает и идет напрямик, тропинкой, проходящей перед нашими дверьми и перед той самой скамейкой, на которой сижу я и наблюдаю отходящую ко сну природу. Он делает два-три шага: слишком круто, колесо тачки перестает вертеться, земля мокра, а сам он стар и припадает на ногу. Разговор с тачкой:

— Это еще что? Горки испугалась?

Он сбрасывает один мешок и оставляет его на траве, заберет после. Но тачка отказывается карабкаться выше. Он решает вернуться.

— Слишком тяжело, Филипп?

Он удивлен, услышав мой голос.

— Не то что слишком тяжело, а скользко здесь.

— Подождите, я вам помогу.

Я взялся неловкими руками за тачку, и пока Филипп, шедший сзади, говорил: «Спасибо, спасибо, мосье Ренар», — мне удалось одним толчком добраться с тачкой до скамейки, — я был в сабо и обеими ногами крепко упирался в камни на мокрой тропинке.

— Теперь уж она сама покатится.

— Спасибо, — еще раз сказал он.

Не так уж часто приходилось мне заниматься таким нужным делом, как нынче вечером. А если бы было светло, разве я бы осмелился?

\* Я вижу отсюда Шитри. Нашего Шомо не видно, я ведь сам — часть его. Интересно, где поставят мой бюст. На этой соломенной крыше? И мне представляется, как я гляжу своими каменными глазами на этот пейзаж, в котором все удачно пригнано одно к другому.

\* Все-таки сделать книгу из Раготты труднее, чем из Наполеона или Сирано.

\* Раготта. Тонкость и простота ее чувств.

Ее идеал: заплатить долги и больше не должать.

\* Охота на кроликов. Идет дождь. Туча. Над лесом целых две триумфальных арки.

Кажется, что солнце задерживается у тех деревьев, у которых листья золотые...

Белка прыгает с ветки на ветку такими воздушными прыжками, что хочется крикнуть, как в цирке: «Довольно! Довольно!» Она останавливается и начинает своими острыми зубками что-то пилить.

*7 октября.* Слышно, как он зовет, идя за плугом: «Робинэ! Робинэ!» — и, чуть не плача, уверяет, что с этим быком нужно иметь ангельское терпение.

\* «Буколики». Незабываемый в их жизни день: с часу дня и до шести утра они играли в карты, а в перерывах, отдыха ради, пукали, как боги.

\* Гуси в поле беспокоятся, растерянные: придется взлететь, чтобы добраться до дому.

\* Закат. Весь горизонт красный, — там, должно быть, у людей разгар празднеств.

\* Вечер. Звон колоколов что-то запаздывает. Нет, вот он.

\* Гуси с змеиными шеями.

\* Раготта — это тип, но маленький, скром-

ный, который прячется в зарослях других типов.

Когда Раготта выходила замуж, ее свекор пожелал сделать ей подарок: цепочку, крестик или медальон со «Святым духом» — нечто вроде серебряной облатки, от которой во все стороны отходят лучи. Она от всего отказалась.

У нее было три платья: с тех пор она ни разу не покупала себе платьев; корсажи сменяла, но только не платья...

\* Куропатки открываются, как зонтики.

*9 октября.* Тайна миров нас ошеломляет. Что же сказать о дрозде, который, сидя на ветке, вдруг получает кусочек свинца в грудь!

*10 октября.* Он болен. Сидит на стуле у огня, который подогревает ему живот, но спина мерзнет. На нем старенький черный пиджачок и брюки в заплатках.

Так он сидит, окруженный своими запасами: горохом, луком, картошкой, которая должна еще подсохнуть. Если бы он мог есть, — а он весь в жару! — он бы вылечился.

— Вы харкаете кровью?

— Пока еще нет. А хорошо бы! Наверняка бы полегчало.

Он попьет бульону, а если не поможет, то воды.

\* У литературы нет полномочий выдавать за чувство то, что чувством не является.

\* О н: Чтобы создать шедевр, мне бы надо пережить драму.

О н а: За чем же дело стало? Создавай свой шедевр: ты рогат!

\* Смерть плохо устроена. Нужно, чтобы наши мертвецы от времени до времени посещали нас по нашему зову, беседовали с полчаса.

Как много мы не успели им сказать, пока они были здесь.

*13 октября.* Листья уже вздрагивают от холода. Они пытаются войти в окно, шевелятся, как маленькие оледеневшие руки.

\* Он ходил в церковь в день всех святых потому, что в этот день графиня раздавала не освященный хлеб, а маленькие пирожные, и он надеялся, что ему перепадет пирожное.

\* Раготта вышла замуж в октябре. Три месяца она жала по двадцати франков за месяц. Она не брала их, копила на обзаведение.

— С такой суммой, вы сами понимаете, можно начинать. Но, — сказала она покорно, — мой отец отнял их у меня.

— Как же он сумел?

— Да он просто пошел к фермеру и сказал: «Я пришел за шестьюдесятью франками, которые вы должны моей дочке за жатву».

— И он не дал вам ни гроша?

— У меня другого приданого, кроме моих рук, не было.

*15 октября.* Скромность актрис не выдумка. Да, да. Есть такие, что говорят: «Я сама знаю, что никакого дарования у меня нет». Затем они смотрят на вас. Они ждут. Потом начинают перечислять все, что умеют делать.

*17 октября.* А какие груди! Я целые ночи мог бы просиживать без сна под этими светящимися шарами!

*21 октября.* Мендес — человек, неспособный распознать поэта, когда этот поэт пишет прозой.

\* Театр. Кулисы. Все эти люди не чувствуют жизни, волнуются они только на генеральных репетициях. Один из них ловкий делец. Но



единственное дело, о котором он нам рассказывает, не удалось ему.

И еще взбешенный муж, который неведомо почему вдруг стихает и предлагает жене, еще не остывшей от объятий любовника, уехать вместе с ним, мужем...

Наши авторы хотели бы превратить любовь в нечто непостижимое для здравомыслящего человека.

Усилиями подобных драматургов в конце концов создан был некий мир, где-то в стороне от жизни, который верит в собственные иллюзии и в то, что он живой мир.

*2 ноября.* Они поздравляют меня с тем, что я мало пишу. Скоро они будут меня поздравлять с тем, что я не пишу совсем.

*23 ноября.* Провинция. Они любят надевать к обеду черные перчатки. Они говорят: «Но, помилуйте, капиталист тоже рискует». Они извиняются за то, что ходят в церковь: «Это только чтобы послушать музыку». Аудитория — церемонная, холодная. Дамы опускают глаза, когда лектор имеет несчастье взглянуть в их сторону.

*5 декабря.* Надо читать Поля Бурже, чтобы убить того Бурже, которого каждый носит в себе.

\* Христианство — ересь иудейской веры.

\* Доклад в Кламси. Старик франкмасон, разговаривая со мной, обнажает голову и ни за что не хочет надеть шляпу. Он был старейшим в какой-то масонской ложе. Делает масонский знак: каким-то неопределенным движением осеняет мне лоб. Не зная, как ответить, я говорю: «Да, да».

---

## 1904

*21 января.* У этого издателя есть любовница — актриса Икс из театра Одеон.

К нему приходит автор и спрашивает:

— Согласны вы издать мою пьесу?

— Какую пьесу?

— Она будет идти в Одеоне.

— Да? А кто участвует?

— Ламбер-младший и прочие и прочие, а в женской роли — мадемуазель Икс...

— Вот как?

— Да, таланта у нее никакого, но она живет с... (тут следует имя министра).

*1 февраля.* Помещик, не из знатных, показывает старинный портрет своего предка, участника крестовых походов:

— Каких именно?

— Всех.

*15 февраля.* Оба очень сентиментальны — если могут быть сентиментальными пень и бывшая шлюха. В театре она обожает любовные сцены. Она трепещет и томно смотрит на своего муженька. Он антисемит.

— Представьте себе, мадам, еврей взял у меня две тысячи франков и решительно не желает отдавать долг.

— Скотина, — говорит мадам.

— Да, — говорю я, — но мой еврей католик.

И я привожу им слова Сары Бернар:

— Я жду, чтобы христиане стали лучше, чем мы.

— Вы любите евреев? — спрашивает мадам.

— Я стараюсь любить всех умных и добрых людей.

*2 марта.* Леда? Это не более неправдоподобно, чем дева Мария.

*21 марта.* «Ивовый манекен». — Две закрытые репетиции.

Первое впечатление — посредственно; второе — превосходно. Почти вся пьеса и особенно оригинальная сцена в третьем действии, — создание Гитри, — почему Франс и говорит во всеуслышание:

— По-моему, пьеса очень хороша.

И совсем тихо добавляет, обращаясь к Гитри:

— Это ваша пьеса. Так как меня будут хвалить, я непременно забуду, что она ваша. Поэтому-то я говорю вам это в последний раз.

Он продолжает:

— Мы с Ренаром делаем одно дело: смешиваем комическое и трогательное. Пьесы надо писать просто, без нагромождений: уж кто-кто, а автор «Рыжика» не будет против этого возражать.

Капюс находит пьесу Франса в высшей степени оригинальной и относится к ней с величайшим почтением. Должно быть, он здорово проскучал на репетиции. Он не писатель. Его репутация создана лишь успехом, и даже деньги не сделали его богачом среди тех богачей, с которыми он водится.

*1 апреля.* Такие деревни, как Шамо или Шитри, лучшее доказательство того, что вселенная бессмысленна.

*2 апреля.* Выборы. Неприятное время. Бо-

ишься сделать шаг, поздороваться, пожать руку. Вид такой, словно вымаливаешь голос у избирателя. Каждая улыбка похожа на мольбу.

Избиратель чувствует себя хозяином. Он не совсем прав. Вы, дорогой мой, голосуете за себя, оказываете услугу самому себе, а не мне. Вы мой должник.

Это может привлекать профессиональных политиков, но противно человеку, у которого есть идеалы.

\* Кюре рассказывает им скучнейшие небылицы и сулит райские кущи.

Мэру только и дорого что его шарф.

Учитель мог бы, но...

Кто же взглянет крестьянину прямо в глаза и скажет: «Ты спишь уже века. Проснись!»

*8 апреля.* Мама. Все-таки она женщина, которая была в свое время молода и которую местные дамы называли просто Роза.

\* Мученица, быть может. Всю зиму они питались только кроликами, съели пятнадцать кроликов и ни кусочка другого мяса. На пятнадцатом он все еще утверждал, что крольчатина ему не надоела.

Он, конечно, мучает ее, как рабыню, однако называет при людях не без уважения «моя супружница».

Шестнадцать лет подряд она носит один и тот же корсаж.

Долгу у них всего тридцать франков, которые они уплатили за сало.

Она никогда не выходит из дому. Целый день работает у окошка, откуда открывается самый прелестный вид на свете.

*18 апреля.* Коолюс заходит в редакцию «Жиль Бласа».

— То, о чем я пишу, я не могу поместить нигде, кроме как у вас.

— Хорошо, хорошо! Приносите.

И он приносит статью о весне.

\* Ключья лазури. Прожорливые облака вырывают их друг у друга.

*19 апреля.* «Юманите». Говорят, первый номер разошелся в количестве ста тридцати восьми тысяч экземпляров.

Сто тридцать восемь тысяч читателей прочли мою «Старуху». Атис мне говорит, что одна женщина, не глупее всех прочих из числа ста тридцати восьми тысяч, заявила ему:

— Я не поняла, что хочет сказать Жюль Ренар своей «Старухой». Кого он имеет в виду?

Она, должно быть, решила, что речь идет о Луизе Мишель. Вот и все, — а мне уже сорок лет!

\* «Юманите». Жорес, Бриан, Эрр забрасывают меня комплиментами. Никогда еще меня так не принимали в редакциях. Социалисты хотят быть любезными. Я постеснялся сказать Эрру: «Ведь и вы написали хорошо». Мне кажется, что комплименты, которые доставляют мне удовольствие, другим не могут быть приятны. Если бы не это, я охотно бы их говорил.

Франс рассказывает, Мирбо смеется, Жорес слушает, поворачивая голову, смотрит то на одного, то на другого, Бриан весел. Не смею ничего сказать в присутствии этих людей, которые ведут Францию. Сколько знаменитостей в одной комнате! А ведь быть может, и я произвожу на них какое-то впечатление, и, быть может, любая моя шутка рассмешила бы их.

— Знатоки, — говорит Жорес, — предсказывают нашей газете хорошее будущее. Наш тираж сто сорок тысяч. Будет огромный срыв, но у нас

большие возможности. При семидесяти тысячах газета покрывает свои расходы.

Леон Блюм, деятельный, лихорадочный, похож на нимфу Эгерю. Смотрит на Жореса, который что-то начал писать, и говорит:

— Прекрасно.

Жорес, подойдя ко мне, благодарит, просит не медлить со следующим очерком. Мне кажется, что я вижу все это во сне. И вечно эта смешная боязнь отвечать комплиментами на комплименты.

*28 апреля.* В Шомо. Прежде всего, почему я решил уехать из Шомо? По трем причинам: административным, религиозным и моральным.

Необходима более тесная связь между мэром, советниками и избирателями. Избиратели не должны терять на другой день после выборов всякий интерес к тому, что происходит в мэрии. Центром должна быть школа. Хорошие дороги, гигиена, и все это — экономно, но без скарденности. Дело не в том, чтобы сказать: «Наша касса полна», — а в том, чтобы сказать: «Мы израсходовали деньги, но с пользой».

...Республика. Ей мы прежде всего обязаны всеобщим избирательным правом. Когда-то обвиняли республиканцев в том, что у них грязные руки; теперь их обвиняют в том, что они хотят предать все мечу и огню. Если они кричат: «Да здравствует всеобщий мир!» — их обвиняют в том, что они продались. Так как же наконец? У республиканца должно быть высокое представление о морали. Он хочет свободы для человека. Положить предел обогащению одних и помочь другим в их нищете.

*10 мая.* Маринетта растеряна. По ее словам, я похож на блаженного. Она плачет.

— Мне кажется, что ты перестал быть литератором.

— Я тот же, что и был, но вырос, стал шире. Я ищу в ее глазах огонек, но он не зажигается.

— Столько усилий, и для чего? — продолжает она. — Эти люди не понимают тебя. Ставят себя выше. Какая нелепость!

— Ничто не пропадает. Я буду доволен, если хоть один из них сдвинется с мертвой точки. Если шевельнется в нем мысль. К тому же никогда не следует думать о результатах.

— Но ведь ты так рискуешь.

— Чем? Что меня будут оскорблять? Вызовут на дуэль? Но ведь если я не буду делать то, что должен делать, то умру от тоски, от отвращения.

— Вот, вот. Ты говоришь, как апостол. Кончится тем, что ты станешь святым.

— Ну и что же?

— Святым безбожником.

— Если такова моя судьба... Мысль у меня течет светло, как ручей, и ее не остановишь.

\* Вишневые деревья. На каждой ветке перевязь из цветов.

\* Сад. Почти слышно, как гудят новые ростки.

*18 мая.* Выборы. Может быть, только я один отношусь к ним серьезно.

*8 июня.* Стиль чистый, какую бывает вода, когда она светлеет, как бы постепенно стачиваясь о каменистое русло.

\* В Париже я им рассказываю о выборах, о делах мэрии. «Неужто до того дошло? А мы думали, что ты это для смеху...»

\* Беспроволочный телеграф. Согласен. Но

куда же денутся наши очаровательные ласточки?  
Где же им сидеть?

*11 июня.* Я получаю на имя мэрии одни лишь проспекты фейерверков. Неужели они воображают, что мы только и делаем, что устраиваем празднества?

*20 августа.* Старуха пробует поднять вилами сноп люцерны и перекинуть себе на спину. Но не в силах. Она зовет Филиппа.

— Да вы надорветесь до смерти, — говорит он.

Она отвечает:

— Вот и хорошо!

Филипп не спорит, да и она не настаивает.

Он вскидывает вилы с люцерной ей на плечо.

— Подожди, дай передохнуть, — говорит она, ослабев.

Она подкладывает под вилы носовой платок. Теперь ее совсем не видно. Место старухи занял сноп люцерны, и он удаляется.

Кролики выглянут из ящика и увидят — о, Шекспир! — эту шагающую люцерну.

*30 августа.* Я потерял в своей жизни тысячу лет.

*1 сентября.* Почему я записал это? Почему сохранил записанное? Мысль ничем не примечательная, серая. Да, да, вспоминаю. Я написал эти строки, лежа в траве, и сохранил их потому, что они спасли жизнь перепелке.

*6 сентября.* Поэт Понж. Я не совсем уверен, что моя статья о нем ему понравилась.

Соседи говорят ему: «Господин Ренар пишет, что ты запрягаешь в плуг звезды. Что же это, он смеется над тобой?» Другие говорят: «У тебя будто бы пальцы запачканы в земле, когда ты пишешь. Что же это он тебя попрекает, что ты



рук не моешь?» Третьи: «Ты говорил, что вы с господином Ренаром — друзья. А он тебя здорово отделал!..»

\* Я подслушиваю у дверей, даже через замочную скважину, шумы жизни.

\* Крестьянин. Вот простой человек. Присмотритесь к нему. Смотрите подольше... и через две недели, три недели, через десять лет напишите об этом человеке одну страницу... Во всем, что вы скажете о нем, быть может, не будет ни слова правды.

*12 сентября.* Каждая строчка в записной книжке должна быть сочной, как земляника.

*19 сентября.* С того дня как я узнал крестьянина, все буколики, даже мои собственные, мне кажутся ложью.

*24 сентября.* — И я думаю также о социализме, — говорю я Маринетте. — Это увлекает. Я говорю: нужно жить, писать, зарабатывать деньги для тебя, для Фантека и для Баи, но я не могу не думать о социализме. В нем — целый новый мир, и там надо не создавать себе положение, а отдавать всего себя.

— Вот этого, — говорит она, — я не понимаю.

— Чего «этого»?

— Когда ясно видят, что нужно делать, и не делают.

— Значит, — говорю я, — если тебя увлечет мысль стать сестрой милосердия, ты ею станешь?

— Конечно.

— А муж? А дети?

Она не отвечает потому, что плита раскалена и нужно жарить куропаток.

Баи сидит на буфете, я целую ее и говорю:

— Твоя мать сама не знает, что говорит.

— Нет, знает, — отвечает Баи, точно я назвал ее маму сумасшедшей.

Хотя я и не являюсь социалистом на практике, я убежден, что в этом была бы для меня настоящая жизнь. Если я не живу так, то это не от невежества, это от слабости. Здесь всё: ты, и дети, и наши буржуазные традиции, и привычки человека, для которого искусство все же профессия. У меня нет мужества порвать цепи. Если я не претендую на триста тысяч франков гонорара, как Капюс, я хочу иметь десять тысяч, пятнадцать тысяч. Если мне и наплевать на Академию, успех мне не безразличен. Если мне безразлична светская жизнь, у меня все же есть двое-трое друзей в Париже, с которыми мне приятно провести два-три вечера в неделю. Я не способен блистать в этой среде и никак не способен броситься вот таким, как я есть, в ту, другую среду. Вот и все.

*4 октября.* Да, да! Они невежественны, лукавы, злы, но существуют нищета и болезни. Выворачивай свои карманы, вместо того чтобы их поучать!

*5 октября.* Отъезд. О, как это подло возвращаться туда, где светло, и покинуть эту маленькую деревушку, которую ждет такой холод и такая печаль!

\* Один день в неделю я верю в прогресс человечества, я призываю его изо всех сил; остальные шесть дней — отдыхаю.

*11 октября.* Крестьяне и природа. Все эти физические и моральные бедствия под таким небом! А ведь земля вся усеяна деревьями.

\* Девочка прыгает через ограду, останавливается, прислушивается, никого не замечает; один прыжок — и она уже в поле, вытаскивает

из-за пазухи любовное письмо и читает его, укрывшись среди стада огромных быков, которое она погонит на ферму.

\* На картофельном поле у всех крестьян такой вид, будто они роют себе могилы.

\* Вечер. Луна, Юпитер. Ползущие туманы. Кучка деревьев, переходящих вброд реку. Собака делает стойку. Невидимые быки.

В замке темно, но столовая освещена, свидетельствуя о том, что там люди обедают согласно этикету.

Тонкие тополя, тяжелые вязы. Наплывает туман — тополя тонут, а вязы поднимают голову.

Слышно, как река течет в самых недрах земли.

Минутами все тонет. Это потоп.

Возвращаемся домой, даже во рту сырость. И немного страшно.

\* А все-таки самые низменные черты мы обнаруживаем у наших врагов.

*19 октября.* Ах, какие прекрасные вещи можно было бы написать, если бы не мешал вкус. Но в том-то и дело, что вкус — это вся французская литература.

*21 октября.* Осенний салон. Каррьер, Ренуар, Сезанн, Лотрек. Хорошо, но все же слишком мудрено.

Величие и порок у Лотрека.

Сезанн. Варвар. Надо пройти через увлечение всякой прославленной мазней, прежде чем полюбишь этого мастера, плотничающего в живописи.

Ренуар, быть может, самый сильный, и дай ему бог! Этот не боится красок: на соломенной шляпке посажен целый сад, просто ослепляет в первую минуту. Присматриваясь, замечаешь,

что губки у девушек Ренуара начинают улыбаться!.. А у цветов открываются глаза. У меня тоже открываются глаза.

Валлотон, грустящий по пустякам обойщик.

\* Прекрасной жизнью живет Сезанн, не выезжающий из деревни на юге. Не приехал даже на свою осеннюю выставку. Не прочь получить орден. Как, впрочем, и другие бедные старики-художники, прожившие достойную удивления жизнь и видящие теперь, когда смерть уже близко, как наживаются на них торговцы картинами.

Ренуар, старый, с орденом, говорит:

— И в самом деле, случается, ходишь повесив нос, вдруг замечаешь эту красную ленточку — и скидываешь голову.

*22 октября.* Я — как потерпевший крушение человек, который не может доплыть до берега, ни до левого — где роман, ни до правого — где театр, и который, в конце концов, говорит себе: «Но мне неплохо здесь, посередине. Просто нужно держаться на поверхности, рассчитывая только на свои силы, и поглядывать на оба берега».

*24 октября.* Автомобили. Никогда еще роскошь не была так нахальна. Капитал безнаказанно давит все, — сколько краж с убийством понадобится ему, чтобы поддерживать подобный разгул!

*12 ноября.* Аптекарь говорит мне:

— А знаешь, я получил письмо от одной дамы насчет моей мази. Целых четыре страницы. У меня таких писем четыре сотни. Тебе бы следовало их почитать: тут есть из чего сделать несколько книг. Да, это тебе не «Рыжик»!

*13 ноября.* Когда я впервые в жизни столкнулся с критикой, я верил, что это сама справедливость. Отсюда мое отвращение к критике.

\* Зима. Воробей уже готов забраться в клетку к канарейкам.

\* У нищеты есть маленькая сестрица, которая всегда при ней и которая ее тайком утешает, — беспечность.

*29 ноября.* Шекспир. Король Лир — сумасшедший, который, прежде чем стать сумасшедшим, делает глупость. Это слишком ярко размазанный лубок. Ледяные восторги. Аплодируют Жюссому и стараниям Антуана. Отрадно видеть, что чувство выработало себе вкус. Нам теперь не удивишь этими карточными дворцами.

*1 декабря.* Жорес: «Шекспир яснее и более латинянин, чем принято думать. Гамлет человек неглубокий, это скорее несчастный юноша, надорвавшийся под бременем непосильного для него дела».

\* В редакции. Дюжина молодых людей работает и болтает. Свет электрических рожков. Южный говор. Я чувствую себя крайне смущенным. К счастью, имеется камин, о который можно облокотиться.

Ждут Жореса. Он произнес в палате великолепную речь в честь Жанны д'Арк и спас Шомье. Он действительно написал письмо Деруледу. Все поражены. Секретарь показывает нам рукопись. Он ее хранит. Я дорого бы дал за один из этих трех листков, исписанных размашистым почерком без помарок. Некоторые критикуют решение Жореса, кто-то утверждает, что Дерулед выстрелит в воздух, как он уже поступил в случае с Клемансо.

Жорес подходит ко мне, пожимает руку, а я ему говорю:

— Пока будет тянуться вся эта нелепая история, ваши друзья не смогут вас любить и вами восхищаться.

— Это было бы мне неприятно, — говорит он, — но я прав. Я все обдумал, я больше так не могу. С некоторых пор я чувствую их постоянно за своей спиной; из-за меня они готовы оскорбить и мою жену, и мою дочь. Я получаю гнусные письма. Я чувствую, как сползаются все эти слизняки. Мне кажется, что я покрыт плевками. Я хочу пресечь это одним движением; оно, быть может, и нелепо, но необходимо. Пусть не думают, что все позволено, что можно меня выставить на всеобщее осмеяние в дурацком колпаке.

— Сократ не стал бы снимать дурацкого колпака и сказал бы несколько замечательных вещей. Если бы вы прочитали десяток стихов Деруледи, вы не захотели бы ему писать.

Жорес смеется и говорит:

— Вы должны нам что-нибудь дать на эту тему для «Юманите».

— Вы думаете только о ваших врагах, а не о друзьях. Вы забываете о той толпе в Трокадеро, которая приветствовала вас вчера вечером. Никто из друзей не одобрит вашего поступка.

— Я думаю обо всех, — говорит он.

Следовало сказать ему: в сущности, вы не настоящий социалист. Вы — гений социализма.

— Вы когда-нибудь уже дрались на дуэли?

— Да как сказать, — отвечает он.

— А вы, оказывается, настоящий исповедник, — отвечает мне секретарь Жореса.

— Он меня исповедует в грехах, которых я не совершал, — говорит Жорес.

— Простите мою нескромность.

— Да что вы, помилуйте.

Он пожимает нам руки и уходит. На улице он обгоняет нас с Атисом, и мы его останавливаем.

— Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?

— Нет, надеюсь, я не сказал ничего для вас неприятного.

Он уверяет, что нет, и мы идем рядом.

О дуэли мы больше не говорим. Он спрашивает, как прошел «Король Лир». Потом:

— Все-таки мы спасли Шомье. Спасли, но скомпрометировали. Он, в сущности, признался, что был не прав.

— А он хороший оратор?

— Скорее краснобай.

— А Таламаса вы знаете?

— Это вполне порядочный человек.

— Я обязательно прочту в завтрашнем номере «Офисиель», что вы говорили о Жанне д'Арк.

— Ну, знаете, когда идет такая драка, вряд ли можно сказать что-нибудь интересное.

— Мне бы хотелось чего-нибудь выпить, согреться. Не составите ли мне компанию?

Он останавливается перед кафе и говорит со своим характерным акцентом:

— Надеюсь, хоть кафе-то приличное?

Я подымаю глаза и читаю на вывеске: «Неаполитанское кафе».

— О, вполне приличное.

Входим.

— Вы будете пить пиво? — спрашивает Жорес.

Время уже за полночь.

— Нет. Закажу американский грог.

— А что это за штука?

— Горячая вода с ромом.

— Ну, и как, недурно?

— Жажду утоляет лучше самого холодного пива.

Он наливает воды в свой стакан и требует себе соломинку.

На нем узенький галстучек, который вполне мог бы носить наш деревенский поэт Понж, и низенький воротничок, сильно помятый, будто он танцевал всю ночь. Но воротничок этот взмок от парламентского пота. Лицо у него красное, как помидор, и румянец этот тоже парламентского происхождения.

Публика расходится из театра. Входит Ламбер-сын, потом Бернштейн и Саша, — все трое подходят и здороваются со мною. Жорес, конечно, решит, что меня знает весь Париж и что все ночи я провожу в кафе.

Он признается мне, что когда говорит, то старается всматриваться в чье-нибудь лицо, адресуется к какому-нибудь одному слушателю.

— Это воздействие на массу людей, пожалуй, самое интересное.

Я подробно описываю Жоресу «портрет», который я пишу с него.

— Да, — говорит он. — Сам-то я не заметил. Пожалуй, это точно.

Он признается, что спешит произносить фразу за фразой из боязни, что публика зааплодирует раньше срока.

Посетители оборачиваются. Знают ли они Жореса? Опасаются ли его?

Он расплачивается, вынимает из кармана жетоны различной величины вперемешку с мо-



нетами. И, как щедрый провинциал, оставляет гарсону десять су.

Атис ему говорит:

— Вам слишком жарко. Не простудитесь на улице. Наденьте шляпу.

— Нет, — говорит он. — Это только лоб у меня мокрый.

Он произносит эти наивные слова со своим особым акцентом.

Выйдя на улицу, он говорит:

— Как чудесен наш Париж.

Но он беспокоится, как бы не пропустить свой трамвай.

— А вы из-за меня не сделаете лишнего крюка?

— Нет, — отвечаю я.

Звать его «мэтр» невозможно, а говорить ему «гражданин» я не решаюсь.

— Вы ведь преподавали. Наверное, кто-нибудь из ваших учеников испытал на себе ваше влияние?

— Нет, — отвечает он, — я был тогда слишком молод. Во всяком случае, это ни в чем не сказалось.

Но, видимо, он продолжает думать о своем трамвае, который отходит от Мадлен. Последний трамвай вот-вот тронется. Жорес бросается за ним вдогонку, но потом останавливается и говорит:

— Нет, это он только маневрирует.

Он добавляет, что, впрочем, ученики перенимают у учителя обычно его худшие черты.

— До свидания, добрый друг! Будьте здоровы.

— Он вам желает здоровья, — говорит Атис. — А ведь драться-то придется ему.

— Вы невероятно много работаете, Жорес!

— Да, но моя работа — политика. Тут бывает отдых, перемены: пишешь, говоришь. Парламент, трибуна развлекают. Я убежден, что художник, занятый только своим искусством, не выдержал бы такого груза.

— Но возьмите Виктора Гюго...

— Да, правда, — говорит он.

Вернувшись к себе, полный удивленного и нежного восхищения этим необычайным человеком, я не могу уснуть, я чувствую некоторую гордость, оттого что не растерялся. Впрочем, я ничем не рисковал. Но на следующий день я встаю в десять часов и хорошо знаю, что он уже за работой и не думает о своей дуэли. Вчера: его письмо Деруледу, великолепная импровизация о Жанне д'Арк, передовая в «Юманите».

Хочется отдать себя ему, работать за него. Точно крыса, вылезшая из норы, я ослеплен этим великолепным зверем, обнюхивающим всю природу. Да, это не то, что стремиться в академики!

Хотел бы он стать богатым? Министром? Не могу этому поверить. Правда, он хочет драться с Деруледом, и это, может быть, явление того же порядка.

Просыпаюсь с мыслью посвятить ему новое издание «Буколик». Подумаешь, подвиг!

*4 декабря.* Женщина, которая столько любила, что, когда подходишь к ней слишком близко, слышно, как в ее ухе — этой нежной раковине — гудят отголоски любовных признаний.

*5 декабря.* Уверенный, что доживу до восьмого десятка, я стараюсь щадить себя.

\* Можно посадить свой эгоизм на цепь: но нельзя его убить, не приговорив самого себя к смерти.

*12 декабря.* Реальность убила во мне воображение, которое было вроде красивой и богатой дамы. Сама же реальность до того бедна, что я буду вынужден зарабатывать себе на хлеб.

*15 декабря.* Счастье жизни. Безногий калека катит по улице Роше в своей трехколесной повозочке, отталкиваясь двумя чугунными утюгами, и распевает во все горло.

\* О, конечно, быть социалистом и зарабатывать много денег!

\* Бывают в жизни некие туманы, из которых не хочется выходить; это состояние близкое к смерти. Если бы туман сгустился, и в самом деле можно бы сойти за мертвеца. Как это было бы просто! Разве намного труднее покончить с собой?

*16 декабря.* Наконец-то я узнал, что отличает человека от животного: денежные неприятности.

\* Как легко остаться без головы! В любую минуту вас отделяет от смерти лишь клоунский бумажный обруч, ей-богу же, не так уж трудно прыгнуть! Нет тебя, вот и все.

\* Валлотон упивается только горечью. Станет ему известно, что дама разводится, он тут же отведет ее в уголок и будет смаковать ее историю, как гурман, в одиночку.

\* Трудно даже представить себе, до какой степени этот господин, прогуливающийся в глубочайшей задумчивости, способен ни о чем не думать.

\* Сажусь за письменный стол. Весь сжимаюсь и жду. Я как ручеек, который согласен

задержать свой бег, лишь бы отразить что-то. Не важно, если на берегах ничего нет!

\* Женщина — это легкомыслящий тростник.

*19 декабря.* Семейный праздник социалистов из нашего Нивернэзского землячества.

У «Жюля» дама за конторкой говорит мне: «Подымитесь на второй этаж». Один социалист пришел с внучкой. Убогий зал, через который публика из нижнего этажа проходит в уборную. Я в смущении присаживаюсь к мраморному столику. Последним является Роблен. Ему говорят:

— Тут тебя какой-то гражданин спрашивает.

И я сразу понимаю, что буду здесь чужим.

Как к ним обращаться: граждане? соотечественники? господа?

— Что вы будете пить? Белое вино?

— Да.

Мужья с женами и ребятами. Впрочем, настоящих уроженцев Нивернэ среди них мало. Первым берет слово советник парижского муниципалитета, кажется, от округа Ла-Виллет. Похож на писателя Жюля Леметра, такой же крупный и жирный. Природа любит повторяться. Говорит громко и неинтересно.

Другой парижский советник — гражданин Фрибур, сначала отказывается, манерничает, а потом его не остановишь. Говорит он хорошо, неглупо и ясно, но он такого низенького роста, такое у него невыразительное еврейское лицо!..

Я не осмеливаюсь вынуть из кармана приготовленный заранее клочок бумаги. Я произношу свою незамысловатую речь. Это тоже не бог весть что, но все же лучше, потому что свое. Какая-то женщина продает мне женскую газету с целой программой требований.

Сотрудник газеты «Орор» пришел, чтобы меня послушать. Очень удивился, что я не прочел речь, которую подготовил и которую он намеревался попросить у меня для газеты. Он сказал:

— Я слышал, что вы резко говорили с Жоресом накануне его дуэли.

Начинают петь. Кричат дети. Присутствующих обходит мальчик и взимает с каждого по десять су. С меня денег брать не хотят. Я — гость. Я сижу как чужой, может быть, из-за ленточки в петлице или из-за того, что у меня слишком скромный вид, — вид человека, мнящего себя знаменитым.

*22 декабря.* Профессиональная тайна, а у них и профессии-то нет.

*26 декабря.* Я еще не настолько презираю театр, чтобы в нем преуспеть.

---

## 1905

*1 января.* Филипп. Уши у него отморожены, горят и шелушатся.

Вся деревня дрожит от холода.

\* В Мариньи. Беседа о Викторе Гюго. Спрашиваю: продолжать ли? Слышу: «Да, да. Хоть всю ночь».

Холод. Географические карты, развешанные на классной доске, еле видны во мраке. Единственная лампа. Все толпятся возле печки.

Поэт Понж представляет меня присутствующим и зачитывает свою речь по бумаге. Господин Руа не делает мне комплиментов, но он слышал одного, «который тоже хорошо говорит».

\* — Мне холодно.

— На то и зима, чтобы мерзнуть, — отвечает богач.

\* Зима. Оконные стекла, расписанные Валлотом.

\* Даже ветер и тот замерз.

\* Лед на лугах, как разбросанные осколки разбитого зеркала.

\* Им хочется увидеть душу огня.

Огонь в очаге, который то и дело гаснет, с которого ни на минуту нельзя спускать глаз, — их единственный собеседник.

\* Корова. Приходится задавать ей корм в три

приема. Иначе она все сено затопчет в подстилку. Это не то, что лошадь.

*7 января.* Простая жизнь. Нам нужен слуга для того, чтобы запира́ть ставни, зажигать лампы, а ведь всякий честный человек должен сам черпать удовольствие в этом несложном домашнем труде.

\* Бывают часы, когда, сам не знаю почему, мне хочется себя наказать.

*9 января.* ...У того, кто является социалистом от рассудка, могут быть все недостатки богатых; социалист чувства должен обладать всеми добродетелями бедных.

\* — Я более уверен в Жоресе, чем в самом себе, — говорит Леон Блюм. — Это человек абсолютной честности.

Он смел во всем, но стыдлив. Его коробит от грубостей Вивиани. Он никак не может привыкнуть.

Он живет интересами семьи. Жена не понимает его, но гордится им, как гордится своим мужем жена сборщика налогов или субпрефекта. То, что его дочь крестили в церкви, — это победа жены и тещи. Возможно, что так было условлено при заключении брака.

Он в фальшивом положении, и сам его всячески осложняет. Все вокруг используют его, чтобы обделывать свои собственные дела. Социалисты его предадут, а республиканцы эксплуатируют.

— Это великий писатель, — говорит Леон Блюм.

— Да, — говорю я, — это человек великих дарований. Ему следовало бы написать две-три поэмы в прозе. Эта тонкая работа научила бы его остерегаться словесного изобилия.

*12 января.* Бурже психолог! А вы прочтите хоть одну страницу Тристана Бернара или мою!

*13 января.* В моем остывшем сердце несколько редкостных красивых чувств, словно птицы с маленькими лапками прогуливаются по снегу.

\* Заметили ли вы, что если женщине говорят, что она хорошенькая, она всегда верит, что это правда.

\* — Что, в сущности, вы ставите женщинам в упрек?

— Я считаю, что женщины глупы.

— Возможно, только некоторые.

— Нет, все! Все, с которыми мне приходилось беседовать.

— Значит, у вас ни разу не было с женщиной интересного разговора?

— Нет, были.

— А остроумного?

— И остроумные были.

— Тогда в чем же дело?

— Дело в том, что это еще не доказательство в пользу дам, ведь это я лез из кожи, чтобы поддерживать с ними остроумную и интересную беседу.

*16 января.* У Ростана был свой кучер, который возил только его. Ростан ужасно его жалел. Когда он после театра ужинал, то не мог без содрогания думать о том, что кучер мерзнет на козлах, мокнет под дождем далеко за полночь. Эта мысль отравляла ему все удовольствие. Поэтому он приказывал поднести вознице стакан грога и сказать, чтобы тот ехал домой, хозяин, мол, наймет фиакр.

Как-то ночью кучер ввалился в кафе и заявил «мосье», что уходит. Обозлился, что его не принимают всерьез.



20 января. Сжимать свою жизнь так же интересно, как и раздвигать ее вширь.

21 января. В театре Эвр. Идет «Джоконда» д'Аннунцио. Строфы про белый мрамор звучат красиво, да и то лишь потому, что мы считаем мрамор более шикарным, чем обычный строительный камень...

В первом, слащавейшем акте Леон Блюм позади меня дает сигнал к аплодисментам.

— Ренару это не нравится, — говорит он.

— Не нравится.

— Но это же лирика, красота.

— А по-моему, это пустячки.

— Вы, кажется, сердитесь, — говорит он.

— Да, меня сердят ваши восторги.

Он доказывает мне, что между нами непроходимая пропасть, которую я, впрочем, и не собираюсь преодолевать.

Второе действие. Я аплодирую строфе о мраморе. В своей ложе Мендес заявляет: «Как это прекрасно», — и аплодирует, стуча тростью.

— Ага! А почему вы вдруг зааплодировали? — спрашивает меня Блюм.

— Потому что, по-моему, это хорошо.

В антракте.

— Да, — говорю я, — строфа неплоха. У д'Аннунцио, не спорю, есть известное чувство пластической красоты, но нравственная его красота оставляет меня холодным. Его страдания меня не трогают. И плевать мне на его скульптора!

— Вы нарочно себя сдерживаете.

— Нет. Я возражаю против вашего преклонения перед этим итальянцем, тогда как у нас есть Виктор Гюго, у которого на каждой странице по двадцать таких «мраморных» красот.

— Ну ладно, Виктор Гюго, а после него кто? — возражает он. — Только один д'Аннунцио и есть.

— Далеко ему до этого «после», — говорю я. — Я предпочитаю Готье, Банвиля.

— Нет, — протестует Блюм.

— Во всяком случае, таких, как Бодлер, Верлен.

Я поворачиваюсь и нечаянно толкаю трость, не заметив, что Блюм упирается в нее подбородком. Очевидно, ему очень больно.

— Надеюсь, зубы уцелели?

— Да, но зато губа рассечена.

— Я просто в отчаянии! Но вы сами виноваты, кто же так держит трость!

— Вы правы, — подтверждает его жена.

Потом снова начинается спор, еще более резкий.

— Вы хоть читали пьесу? — спрашивает он меня.

— Нет. Но я слушаю.

— Там множество очаровательных мест.

— Какие же именно? Прочитайте хоть что-нибудь.

— Не помню, — говорит он. — Кстати, актеры играют ужасно плохо.

— Я и чувствую и мыслю иначе, чем вы, потому что вы человек умный, даже чересчур, а человек чересчур умный — плохой ценитель искусства.

— Разве? — спрашивает мадам Блюм.

— Какая чепуха! — говорит он.

— Вовсе не чепуха! Чтобы не попасть впро- сак, вы стараетесь непременно все понимать. Вы в плену любых эмоций. То, что идет от ума, у вас получается очаровательно, но одновременно ваш ум уводит вас от главного, и сразу понимаешь,

что вы не менее умно стали бы говорить обратное.

*26 января.* Холод, который идет у меня изнутри.

*27 января.* Добывать свою славу в поте лица своего.

*28 января.* Спящая, застегнутая на все пуговицы кошка.

*30 января.* Конечно, есть плохие и есть хорошие минуты. Но наше настроение меняется чаще, чем наша фортуна.

\* Я сектант, признаюсь в этом. И не уважаю то, что нахожу глупым.

*31 января.* Воробьи на краю печной трубы: не смеют войти внутрь.

\* Красота похлебки. Морковка, репа, луковица, гвоздика, как гвоздиком пронзившая луковицу, чеснок, лавровый лист, лук-порей на своей ниточке, листок сельдерея.

— Да, — гордо говорит Маринетта, — и все это кипит, как в кулуарах министерства.

*8 февраля.* Прогулки с Маринеттой. Какой-то старик со своим слугой, прилично одетым и выступающим чуть впереди своего хозяина.

Какая-то старая дама с идиотским лицом и в шляпе, как у мушкетера.

Ободранные деревья, от которых остались лишь кожа да кости.

И вдруг начинает казаться, что это сон! Что это за город? Кто эти гуляющие? Уверенность, которая вас обычно поддерживает и помогает жить, сразу улетучивается.

*13 февраля.* Поэт Понж делает доклад.

На кафедре стоит лампа. Человек тридцать крестьян сидят на столах.

Понж в блузе. Говорит о галльской веселос-

ти. С трудом разбирает написанное. Крестьяне понимают и хохочут. Они понимают лучше меня.

Он замолкает.

— Я отдохну, — говорит он. — А ты, Пьер, спой-ка нам пока.

Пьер поет песню, где блестит звездочка любви, а он ищет губ милой, которые как плоды.

После пения Понж читает вслух Рабле, но из-за Маринетты не дочитывает до конца: слишком уж это солоно.

Печка гаснет, все мерзнут.

Понж читает одну мою страничку, но меня не называет, а говорит: «Страничку одного известного автора». Лучше бы все-таки он меня назвал.

*1 марта.* Похороны Швоба. Почему писатели не пишут сами те речи, которые желают услышать после своей смерти? Это отняло бы у них не более пяти минут жизни перед кончиной.

В честь Вийона он поселился на улице Сен-Луи-ан-Иль. Кто-то спрашивает здешнего зеленщика:

— Кого хоронят?

— Поэта, — отвечает зеленщик.

Что не совсем точно в отношении Швоба.

Мосье Круазе произносит банальную речь, но самый звук голоса этого старого учителя внушает к нему симпатию.

Кажется, мой котелок неуместен, впрочем, Жарри явился в каскетке с меховой опушкой.

Возле могилы китаец Швоба в обычной одежде.

Жорж Гюго уже напоминает тех красивых старцев, которые не умеют соорудить подобающую случаю физиономию.

Тело Швоба опускают во временный склеп. Он спускается, спускается прямо на тот свет.

«Проводите меня немного: мне это будет приятно, но умоляю — наденьте котелок, если боитесь схватить насморк. Если погода будет хорошая, не берите зонтика. Венки? Что ж, согласен, только не забудьте хоть один лавровый!

И потом, не стройте печальной мины, это вас уродует. Старайтесь не походить на меня.

И не утверждайте, что у меня были все совершенства. Вы же лучше меня знаете, что это не так. Особенно же не говорите, что у меня был хороший характер. Хороший характер — это не добродетель, это вечный порок, и вам прекрасно известно, что я ненавидел, когда мне докучали.

Пусть хотя бы некоторые из вас будут взволнованы, если им это удастся, а остальные пусть улыбаются и острят».

Почему, в сущности, не аплодируют надгробным речам? Покойника это не стеснит, он все равно ничего не слышит, зато приятно оратору, который не знает, куда девать исписанные листки, когда сосед уже возвращает ему его шляпу.

\* Анри де Ренье говорит мне, что Малларме не понимал, как можно употреблять в стихах слово «бог» и «сердце»: «бог» в строке производит впечатление камня в паутине, «сердце» должно вызвать слишком материальный образ.

*6 марта.* Жизнь и без того была не очень веселой. Религия сделала из смерти что-то ужасное и нелепое.

*9 марта.* Нескромное молчание дипломатов.

\* Эрвье не пишет уже ничего от себя: очень мудро и веско он как бы переводит какого-то

неведомого мне Тацита, которым ему хотелось бы быть. Пользуется самыми туманными оборотами. Словом, из кожи лезет вон, лишь бы его не поняли.

\* Казармы. Все прочие дома никто не охраняет: вполне обходятся одним привратником; а перед казармой, где полно солдат, ставят почему-то для охраны часового.

*14 марта.* В нашей любви к еврею всегда есть немножко гордыни. Думаешь про себя: «До чего же я благородный, что его люблю!»

*15 марта.* Да, то, что делает смерть, очень интересно, но она слишком повторяется.

\* Писатель, если бы он был вежлив, если бы отвечал на письма, благодарил бы за присланную ему книгу, перестал бы верить, что он знаменит.

\* Чего только солнце не может сделать со старой облезлой стеной!

\* Работа — это отчасти тюрьма: она мешает нам видеть столько хорошего, что происходит вокруг!

\* Потерянный день, прошедший в мечтах о работе, откладываемой с часу на час. Заметка, возможно, несколько находок, много лишнего и ничего действительно необходимого.

Завидую Маринетте: она варит нам суп.

Я же ничего не наварил.

Если бы я забивал гвозди, колол бы дрова, сажал бы морковь, писал о чем-нибудь несколько строчек, которые назавтра вышли бы из печати и принесли мне несколько грошей! Я тогда бы что-то сделал и день не пропал бы зря!

Ради работы отказываешься от обязанностей, которые накладывает на тебя жизнь. Не ходишь в гости, ни у кого не обедаешь, ни

фехтования, ни прогулок. Тут бы, кажется, тебе и работать, создавать прекрасные вещи, но вот на этот огромный серый лист, который и есть наш день, мозг не проецирует ровно ничего.

\* Я зачеркнул с размаху многое из того, что очень любил: стихи, фехтование, рыбную ловлю, охоту, плавание. Когда же я зачеркну прозу, литературу? Когда — жизнь?

\* Бессонные ночи, долгие ночи, когда мозг пылает огнями, как огромный город. И какая прекрасная вереница грез, которые кажутся тебе живыми! Приходит утро, и их уже нет. Безжалостный подметальщик — пробуждение — смел их все на помойку.

\* Умеренные — это те господа, которые умеренно пекутся об интересах ближнего.

\* Присядьте, пожалуйста, и объясните мне, что такое жизнь.

*17 марта.* Какой-то журналистик из «Ла Патри» — меховой воротник, желтые ботинки, дурацки дергается щека.

— С таким пайщиком, как Жалюзозо, — говорит он, — «Ла Патри» стала глупейшей газетой, но надо же жить. Я предпочел бы писать пьесы.

Ему двадцать четыре года. Я поднимаюсь и «очень сожалею, что пора идти».

Я ему сказал, что крестьяне часто вступают в брак по любви, а он напечатал прямо противоположное.

*20 марта.* Их вдохновляют шлюхи и театральные дельцы, а вот душа крестьянина, по их мнению, неинтересный предмет.

*25 марта.* Вечный страх перед жизнью, а когда она прошла, не могу оторвать от нее глаз.

*26 марта.* Мы требуем в театре жизни, а в жизни — театра.

*30 марта.* Просмотрел за зиму пятьдесят пьес. Нет ни одной, автором которой мне хотелось бы быть.

*1 апреля.* Театр. На него я, возможно, израсходовал свое самое прекрасное негодование.

*5 апреля.* Элеонора Дузе. Красота, благородство, ум. Лицо ее никогда «не леденеет». В пьесе Гольдони она не просто щеголяет остроумием, на лице ее написан острый ум.

У нее прекрасные туалеты, но было бы лучше, если бы она меньше тратилась на мишуру.

Когда она покидает сцену, она просто уходит, а не рвется прочь.

*Апрель.* ...Любовный язык создан уже давным-давно, а деловой — нет.

Если мужчина хочет переспать с женщиной, он всегда найдет средство сообщить об этом предмету своей страсти, и почти все средства тут хороши; он может сказать все, что угодно: сойдет и так! Когда деловой человек хочет окопачить другого, все выглядит ужасно глупо. Самый ловкий так же первобытен, как и самый неумелый. И вот так делаются дела?.. Ну и ну. Пусть бы еще речь шла о каком-нибудь простофиле, но ведь это банкир надеется облапошить директора казино. Банкир показывает ему какую-то довольно туманно составленную бумагу. Гитри бросает на нее туманный взгляд и говорит: «Я тоже не дурак!» И все. Оказывается, мы присутствовали при кровавой борьбе, и если мы ничуть не взволновались, то...

\* Итак, сегодня утром я набросал план драматической комедии, драмы в трех, даже в четырех действиях, и сам прослезился от умиления.

Набрасывать план пьесы — это очень забав-



но, но как только приступишь к писанию и подумаешь, что пишешь для театра, для актеров, для отвратительной публики, хочется занять свои мысли чем-нибудь другим.

\* Никогда не целует руку женщине, боится проглотить кольцо!

*22 апреля.* Смотреть на человека глазами естествоиспытателя, а не психологического романиста. Человек — животное, которое почти не мыслит.

*28 апреля.* Немножко ненависти очищает доброту.

\* Возможно, река перестала бы течь, узнай она, что ручеек пересох; человек спокойно ест среди других людей, подыхающих с голоду.

*3 мая.* Мопассан. Слишком легко удовлетворялся правдоподобием.

\* Стиль. Я всегда останавливаюсь на той грани, за которой может начаться неправда.

*6 мая.* Слезы на лице холодного человека — крупные капли дождя на каменной стене.

\* Жестокосердие богача в глазах крестьянина не такой уж большой недостаток.

\* У старика в поле такой жалкий вид и стоит он так неподвижно, что Маринетта приняла его за пугало.

Я жду, что он нас догонит: я уже приготовился дать ему два су.

Но это было действительно пугало.

*16 мая.* Бог — это не решение. Оно ничего не улаживает.

\* Никакого вкуса к доходной литературе. Хочу одного — видеть жизнь и довольствоваться тем, что дает жизнь.

\* Возможно, если мы будем слишком холить свою мораль, мы станем вроде того корявого

деревца, которое я вижу из своего окошка и которое не приносит даже листьев.

*23 мая.* Ветер! Все деревья в отчаянии всплескивают ветвями и уныло стонут.

\* Солнце садится там, вдали, как красивый золотистый фазан на ветви...

\* Цыпленок на своих спичечках.

\* Север шлет Югу кипы своих белых туч.

*30 мая.* Растерялся, как букашка, добравшаяся до кончика пальца.

\* Моя небольшая речь не имеет успеха, вот я и говорю, что все суета сует.

*1 июня.* Несчастливые люди! Надо научиться подходить к ним, как к ребятишкам, обирать с них мелкое вранье и лицемерие, утирать им нос, когда они, сами не зная почему, начинают хныкать, и закрывать рот, который готов вас укусить, ласковым поцелуем, говоря им: «Выскажитесь! Объяснитесь!»

*7 июня.* Выдача школьных аттестатов 5 и 6 июня. Сюрприз! Оба текста для диктовки инспектор Академии взял из моих «Естественных историй». Девочка не принимает меня всерьез и пишет мою фамилию с маленькой буквы<sup>1</sup>.

*9 июня.* Воробей: прелестная маленькая птичка, которая не умеет петь.

\* Открываю окно и выпускаю муху, которая с унылым жужжанием бьется о стекло.

— Какой вы добрый!

— О нет, уверяю вас. Просто она мне надоела.

\* Реалист. Да, но ведь реальность-то повсюду.

\* От них все еще несет рабством. Из труб

---

<sup>1</sup> Ренар (renard) по-французски значит «лисица».

осознающий свою глупость, уже не так глуп, но ленивец может осознавать свою лень, сетовать на нее и при ней остаться.

\* Буржуа в Кламси. В Бурже Стендалю казалось, что он задыхается от буржуазной ограниченности. Побывал бы он в Кламси!

В Кламси, в крохотном чопорном городке, принято отправлять свою малую нужду на углу ратуши. Место не отгорожено даже железным листом, и все буржуа, которые живут в домах, выходящих окнами на площадь, могут при желании, приподняв занавеску, узнать по спине, кто именно остановился по нужде.

Все здесь весьма вежливы. Меня всегда пропускают вперед; очевидно, учитываются личные заслуги каждого.

Я не связываюсь ни с кем, потому что твердо знаю, что непременно со всеми перессорюсь.

*5 июля.* Мама восклицает:

— Десять метров ткани! О душенька, это слишком много, в сто раз больше того, что требуется. Мне вполне хватит девяти метров.

*20 июля.* Радость от оконченного труда портит начинаемую вслед за этим работу: еще веришь, что она пойдет легко.

*27 июля.* Читая «De Profundis» Оскара Уайльда, мы испытываем сожаление, что сами не в тюрьме.

\* Отныне я согласен ходить лишь при условии, что у меня будут крылья.

*9 августа.* Красота огромного луга, где быки, кажется, гуляют сами по себе, красота, которую ничто не ограничивает, разве что эта полоска леса.

\* Берегись переполнить чашу счастья, чтобы не забрызгать твоего соседа.

*18 августа.* Социализм должен сойти от мозга к сердцу.

\* Родина. Никто не станет менять свой край ради красоты пейзажа.

\* Меня спрашивают о моих делах только для того, чтобы иметь право рассказать мне о своих напастях.

*21 августа.* Свинья. Ее соски расположены строго в ряд, как маленькие горшочки.

\* Летом от источников веяло бы прохладой, если бы они не пересыхали.

\* Во время засухи корова побирается по краям дороги, но неизменно приносит в стойло вымя, полное молока.

\* В нашей деревенской глуши появился новый зверь — железнодорожный.

*23 августа.* Раготта не умеет стирать в корыте. Для того чтобы простирнуть какую-нибудь тряпку, она отправляется на речку, к проточной воде.

Ходить к обедне и стирать в реке — это две ее старинные и равно священные привычки.

\* — Я не занимаюсь политикой.

— А знаете, это все равно что сказать: «Не занимаюсь жизнью».

\* Их дочь умерла в воскресенье, а во вторник ее похоронили.

Он весь понедельник орудовал цепом. Да и она, она отнюдь не похожа на женщину, потерявшую дочь: она похожа на женщину, которой дважды в день, утром и вечером, приходится доить четырех коров.

Откуда же им взять время предаваться горю?

*3 сентября.* Шлюзовщик жалуется на свое одиночество. Ни отпуска, ни денег. Приходится сидеть на месте по восемнадцати часов в сутки

замка валит дым, окна в столовой открыты, входит граф. Через минуту они все заулыбаются, согнутся в три погибели, а шляпы уже сейчас, заранее, послетали с их голов.

*17 июня.* Чувствую, что, если начнется война, я стану патриотом.

\* Бледный, как стена в лунном сиянии.

*21 июня.* Помечтав в саду на скамейке, заснул с глазами, полными звезд.

\* Иной раз я прохожу через небольшие мрачные пустыни, где нечего даже записать.

\* Помню тот особый запах, который я впервые ощутил после смерти отца. Запах этот возвращается каждый год в то же самое время. Неужели это и есть вкус смерти?

Я догадываюсь, что это запах роз, увядающих в вазе.

Отец умер в июне, в сезон роз.

\* Склоненные ветром камыши тихо приветствовали меня поднятием шпаг.

\* Желая доказать другим, что колодец представляет собой опасность, он бросился бы туда вниз головой.

*24 июня.* Марокканские события...

Да, война мне ненавистна. Да, я хочу мира, и я пожертвовал бы всеми Марокко ради мира. Но если немцы примут эту жажду мира за трусость, если они воображают, что нас так легко слопать, — черт возьми, в таком случае — нет!

В сущности, мир мне дороже жизни. Уверяю вас, мы бы сумели показать себя, и еще как!

*26 июня.* К чему хранить различные сувенирчики, даже фотографические карточки? Приятно думать, что вещи умирают так же, как люди.

\* Прочел в «Записках туриста», том I, Стендаля несколько страниц, посвященных Буржу. Очевидно, скоро мне придется краснеть за свое невежество. Стендаль меня забавляет, но когда я был в Бурже на военной службе, я даже ни разу не поглядел на кафедральный собор. А мимо особняка Жака Кера я проходил десятки раз, но чуть ли не бегом, так как торопился попасть на парижский поезд. При всем том отнюдь не желаю снова попасть в Бурж на воинский сбор.

Стендаль пишет, что когда он приехал в Бурж, его чуть было не задушил дух мешанства. Кстати, я и этого тоже не почувствовал.

\* Свободомыслящий. Достаточно — просто «мыслящий».

28 июня. Вечер такой кроткий... У кого бы мне попросить прощения?

\* Он возвращается с работы на своей тележке, которую тащит осел. Тележка крохотная, как у безногого калеки.

— Да наденьте шляпу.

— О, мосье, мне жарко.

Он кладет шляпу на тележку. Мы начинаем разговор.

Его лицо, как слезами, покрыто маленькими капельками извести. Одни свежие, очевидно сегодняшнего происхождения, другие остались со вчерашнего дня или с понедельника — с первого дня недели.

Завтра я снова увижу их всех на месте.

\* Мозг пустой, как ковчег бедняка.

\* Без горечи жизнь была бы вообще непереносима.

Июль. О лени. Ах, я просто обязан написать ее, написать книгу о лени! Человек глупый,

и ждать, придет судно или нет. Да и кто он такой, этот несчастный шлюзовщик? Никто на него даже не глядит. Если ему повстречается учитель (а ведь учитель тоже мелкий служащий вроде него), учитель и не заметит, что перед ним шлюзовщик.

\* У рыболова несколько раз срывается с крючка рыба, и он говорит: «Ну и дура!»

\* Свинья: и вся эта грязь на нежно-розовом фоне.

\* — Я ведь старой школы, — говорит железнодорожный сторож.

И с улыбкой добавляет:

— Из той школы, где грамоты не знают.

\* Фантек мне рассказывает:

— Я сказал господину Монтаньону в Невере, желая посетить его фаянсовую фабрику: «Я сын Жюль Ренара». Монтаньон мне ответил: «А, знаю, аптекаря из Кламси». — «Нет». — «А, знаю, лейтенанта флота». — «Да нет, писателя». — «А, знаю, того, который пишет маленькие романы. Они довольно известны».

*20 сентября. Тилье. Праздник. Заметки.*

Министр ест виноград и слушает комплименты, тяжелые, как удары цепом по голове. Отделение церкви от государства. О Бриане ни слова.

Одному не досталось зеленого горошка, другому салата — вот и весь их комментарий к банкету.

Меня представляют ему, так сказать, в тройном качестве: как мэра, как члена республиканского комитета в Корбиньи и как оратора комитета имени Клода Тилье.

— Господин Жюль Ренар? Я вас знаю. Видел какую-то бумагу из мэрии с вашей подписью. Вы ведь мэр Шитри?

— Да, господин министр.

— У нас тоже есть Шитри, только в департаменте Ионн.

Один из приглашенных величает меня Жа-ном.

А другой мне говорит:

— Они рассчитывают на вашу речь. Да, да, надеются, что вы их посмешите.

\* Похоронив своего дядю, он плакал, разливался! Желая его утешить, Тристан Бернар сказал:

— Ничего, скоро вы успокоитесь.

— А когда?

— Недели через три.

— Ох, как много, — сказал племянник и зарыдал с новой силой.

*1 октября.* Псовая охота, всякая охота гнусна и не имеет оправдания. Ведь охотятся не для того, чтобы снискать себе пропитание. Если уж можно найти извинение охотнику, так это браконьеру. Он продает дичь и живет этим круглый год.

— Но ведь вы убиваете кур, быков?

— Никакого отношения к охоте это не имеет.

Ни курица, ни бык не предвидят своей смерти. И не боятся нас. И живут-то они благодаря нам: их смерть — это, так сказать, уплата долга. Разумное животное не будет колебаться в выборе — быть курицей или куропаткой.

Посмотрите, как в первых числах октября мечутся, обезумев от страха, куропатки. Их жизнь, которую они с таким трудом отстояли против заморозков, засухи, хищников, превращается в кошмар при появлении человека со своей палкой, откуда со страшным грохотом вылетает дым. А теперь посмотрите на курицу, которую вы завтра скушаете за обедом!



\* Крестьянин, быть может, единственный из всех людей, который не любит сельского пейзажа и на него никогда не смотрит.

4 октября. Мама грустит, и грусть ее вполне искренняя, — правда, долго такое состояние не продлится, но оно все же производит впечатление.

Она начинает думать, что одними визитами всего не уладишь.

Грусть: старуха на стуле о двух ножках, который вот-вот развалится. Она наклоняется к очагу, где чадят два полена. А позади — холод кухни.

В своем сыне она видит такого же молчаливого мужчину, каким был ее муж; и это еще страшнее, потому что мужа уже нет.

Для услуг у нее имеется Люси, молоденькая служаночка в трауре, которой, кстати сказать, никогда нет на месте.

Ей уже не хватает сил на прежнюю болтовню. Слова ее падают в огонь, и продолжения не следует. Между фразами долгие паузы.

Она плачет, твердит:

— Ох, как я несчастна! Вы даже представить себе не можете, как я несчастна!

Возможно, несчастна оттого, что не сумела добиться любви ни мужа, ни детей, зря сгубила свою жизнь.

Почему не может она исчезнуть, потихоньку сгореть в очаге, смешать свой пепел с пеплом поленьев!

А ветер! Дыхание всех ветров бушует у ее двери.

\* Умер Эредиа. Он оставил только том стихов. И решил, что в этом его спасение: не отвергнет же потомство всего один какой-то томик.

Потомству так же легко отвергнуть один том, как и тысячу томов!

*9 октября.* Живу в своей лени, как в тюрьме.

\* Когда у меня остается не более ста су, я пугаюсь; когда у меня остается не более десяти су, я обретаю моральный покой.

*10 октября.* Старости не существует. По крайней мере, не существует непрерывных мук старости в конце жизни: ежегодно мы, как деревья, переживаем приступы старости. Мы теряем листву, ясность духа, вкус к жизни. Потом все возвращается. Не просто: детство, зрелость, старость. У нас есть по несколько раз в жизни свои времена года, но их смена для нас неуловима: она не закономерна.

*11 октября.* Философия — это нечто вроде стрельбы наугад: не видно, где прячется бог, и не знаешь, попал ты в него или нет.

\* ...Я охотно отдал бы свою пьесу театру, который был бы пуст, не имел бы ни директора, ни актеров, ни публики, ни прессы.

Генеральная репетиция всегда превращает в пытку.

Как так! Этот господин, в котором я не нахожу ни грана таланта, вдруг возьмет и скажет, что я талантлив.

Самая прекрасная хвалебная речь доставляет не больше удовольствия, чем самая банальная любезность, и любая критика кажется мне грубой.

Очень быстро привыкаешь к молчанию прессы.

Когда критик разбирает чужую пьесу, я просто ее не узнаю, хотя видел ее своими глазами. Почему же критика должна быть справедливой, когда речь идет обо мне?

Статья господина Фаге может позабавить или нагнать скуку, но какое отношение имеет она к литературной справедливости? Имеются всего три-четыре талантливых критика, а все остальные — тьфу!

Я не знаю, — что такое торговый дом, но я отлично знаю, что театр — это такое место, где больше всего говорят о деньгах. Я знаю только одного директора театра, осмелившегося поставить пьесу, которая не делала сборов. И то я не решаюсь его назвать: он подал бы на меня в суд...

\* Жирных овец пасет такой малыш, что волк непременно утащит его, как только овцы отвернутся.

*18 октября.* Онорина уже не отличает дня от ночи. Встает ночью, чтобы съесть кусок хлеба. Неужели до самой смерти ее так и будет мучить голод?

\* Осень. Тяжелая пелена туманов уползает к югу, и является север, солнечный, ясный и холодный.

\* На охоте. Парочка ежей устроила себе гнездо в опавшей листве. Пуантю лапой выкапывает их из-под изгороди, как горячие каштаны, потом берет их по очереди в пасть и кладет на землю — жжется.

*23 октября.* В час перед самым закатом солнца ко мне приходят лишь самые тонкие мысли, такие тонкие, что мой мозг становится похож на дерево, с которого облетела вся листва.

\* Любовь к природе — самая настоящая любовь, и деревня мешает мне работать, как любовница.

\* Бессмертие моего имени мне так же безразлично, как бессмертие души.

Если бы я мог договориться с богом, я бы

попросил его превратить меня в дерево, дерево, которое с вершины Круазетт глядит на нашу деревню. Да, я предпочел бы это, а не статую.

\* Эгоистичен, как святой.

*25 октября.* Листья разбегаются, словно ворон крикнул им с верхушки дерева: «Зима идет!»

*26 октября.* Приходится метлой расчищать дорожки в опавшей листве, как в снегу.

\* Священник: он социалист, бунтарь, а главное — вольнодумец.

— Вас хочет видеть священник, — сказали мне.

Он приходит, не застаёт меня дома, беседует со служанкой, называет ее «милочка», греется в кухне у очага и обещает заглянуть завтра.

— О нем всякие слухи ходят, — говорит служанка. — Он за девушками бегает. Его у нас любят.

Итак, он приезжает на следующий день на велосипеде. Он пожимает мне руку, которую я ему протягиваю, и начинает вести беседу в тоне превосходства.

К чему было уходить, все равно от него не скроешься!

Роста скорее невысокого, коренастый, лысоватый. Бедный, но грязный. Шнурки на башмаках висят. Слезающиеся глаза, ногти черные, нагрудник слез на сторону, после каждой фразы облизывает губы, причем язык белый, а зубы зеленые. Похож на священника с театральных подмостков, словно играет роль священника, а мог бы и сменить шкуру. Под красными веками — он их то и дело трет — поблескивают глазки, причем он умеет тушить их блеск. Говорит легко, тонким голоском, который доносится как будто сквозь сукно. Улыбки, слишком много

улыбок, и внезапная важность, вид фатовской и недобрый, пытается произвести впечатление, очаровать. Это смешно. Видно, хочет выложить все, но сдерживается.

Предвидит, что при отделении церкви от государства его лишат места. Ему этого не говорят: он сам знает. Что он тогда будет делать? Бунтовать? Может быть, останется, вопреки увольнению, в своем приходе, — благо здесь все его любят, — или будет жить сочинительством. Он оставляет мне несколько засаленных образчиков своего творчества, которые я должен прочесть не как друг, а как «критик».

Он социалист, если социалисты хотят быть справедливыми и возместить церкви ее потери.

Он написал несколько страниц о разделе земельной собственности: усадьбы делить поровну, деление производить под наблюдением хотя бы священника.

— Это немного напоминает проекты Жореса, — говорю я.

— Я их не знал. Мне это пришло в голову раньше, года три тому назад.

Он еще медлит обращаться к политическим деятелям.

— А ко мне? — спрашиваю я. — Вы себя уже скомпрометировали.

— Вы не политик. Я пришел к вам, как к литератору.

О священнике из Шитри он говорит:

— Это болван.

О священнике из Пази:

— Это хороший священник. — И добавляет: — Говорили о вас, что вы, как мэр, сторонник антицерковного блока. Я возразил: «Да, но он хорошо пишет. Никто из нас не сумел бы так

писать». — «Верно, — согласился священник из Пази. — Я его читаю, и с удовольствием, но никогда ему об этом не скажу».

— Почему? — спрашиваю я.

— Боится, — отвечает он.

*30 октября.* Слышу голоса. Откуда? Кругом ни души. Это говорят деревья.

*1 ноября.* Сегодня, в день всех святых, Филиппу скучно. Работать он не решается, а идти на кладбище поминать покойников — неохота. Он лушит горошек, но горошек мерзлый. Скоро он управился с делом и заскучал снова.

\* Слышен перезвон колоколов в Шитри и Пази. Звонить будут до девяти часов. А завтра снова начнут звонить к утрени.

Когда-то они звонили всю ночь, особенно в Пази. Филипп мне рассказал, что господин Жарде, будучи мэром Корбиньи, дал распоряжение прекращать звон к девяти часам вечера...

\* Я наблюдаю лишь то, что само силком входит в глаз.

*2 ноября.* Ее свекровь говорила о ней: «Ее все мужчины будут хотеть, и всем она готова угодить». Так оно и вышло. У них что-то вроде борделя. Утром она танцует со своей прислугой и с подручным пекаря; вечерами напивается, и ее муж рад, когда ему удастся попасть в число тех, кому она «готова угодить».

\* Священник, с которым я встретился вновь, столь же беден, сколь и неопрятен. Нюхает табак. Ногти черные, весь черный. После трех часов беседы с ним приходится открывать настежь все окна. Чисто священнические повадки. Рука то и дело касается лба, спускается к глазам, потом к губам, где конец фразы замирает, как

молитва. Когда начинает витийствовать, слова звучат вульгарно.

— В вашем приходе есть замок? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает он. — Мне не повезло, впрочем, владельцы замка люди неплохие. Они с нами.

Рассчитывает, что правительство будет благосклонно к «непокорным» священникам.

— Есть же у них секретные фонды, — говорит он.

И добавляет:

— В социализме надо отвергать лишь то, что несправедливо. Но если социалисты возместят нам убытки, тогда другое дело.

— А по-вашему, возмещение было бы справедливо?

— Благоразумие этого требует. Своего рода тактика.

И еще:

— Папа римский мне не помеха. Пускай где-то там вдалеке сидит наш глава, лишь бы нас оставили в покое, но этого-то как раз и нет. Епископ может меня лишиться сана хоть завтра, и никому он отчетом не обязан.

И еще:

— Как-то в проповеди я говорил об идеале. В тот же вечер двое моих прихожан повздорили в харчевне. Один обозвал другого «идеалом». Тот обозлился: «Зови меня как угодно, но я запрещаю тебе обзывать меня «идеалом»!

\* Иметь право сказать: «Я написал в новом стиле!»

5 ноября. Мороз. У звезд на глазах выступили от холода слезы.

\* Жизнь плохо устроена. Бедные невежес-

твенные люди должны бы быть богатыми, а образованный человек бедным.

\* Луна за облаками, разодранными как будто по ее вине. Луна скрытная и злобная.

6 ноября. Возвращение в Париж. Я приехал искать работу, устроиться на работу.

— А вы раньше работали?

Я даже не подготовил ответа.

\* Приезжаем в Париж. Печаль. Если бы я не любил Маринетту, я бы обязательно удрал обратно десятичасовым поездом.

Слабости Маринетты:

— Там мы живем, как короли, — говорит она. — А здесь мы живем, как привратники.

Столовая кажется нам маленькой. Да и дом несолидный. Пол трещит под ногами. Это мрачно, это глупо: иметь там удобное жилье, воздух, счастливую жизнь и поселиться на полгода в меблированных комнатах!

\* Жорес. Его газета тонет. Никому не платят. И один из его акционеров, который дал две или три тысячи франков, пишет ему: «Вы знаете, ведь я один из ваших пайщиков: я хотел бы получить пальмы». Бедный Жорес!

\* Любовная сцена. Заголовок: «Вызов». Сначала идет в робких тонах:

— О, вы меня не полюбите.

— Да, но и вы тоже.

— А если я вас поцелую, ну вот так.

— Как так?

— Вот так, и сейчас же.

— Не посмеете.

— Увы, не посмею.

— А, вот видите!

— Хитрая какая! Вы же дадите мне пощечину.



— Я? И не собираюсь.

— Значит, если я вас поцелую, вы не дадите мне пощечины?

— Нет.

— Притворщица!

— Попробуйте.

— Это же нехорошо! Попробуйте! Попробуйте! Вы-то чем рискуете? Ничем: просто вас поцелует мужчина ничуть не хуже других. А я, я рискую получить пощечину.

— Бойтесь, что будет больно?

— Это же бесчестье, позор!

— О! женская рука... маленькая женская ручка... Ну как, по-вашему, я могу вас обесчестить вот такой рукой? И потом, я вам ее не дам.

— Кого? руку?

— Нет, пощечину.

— Правда?

— Да вы, я вижу, упрямец.

Он ее целует.

— Видите, пощечины не получили!

— А ведь верно! Значит, я могу повторить.

— И продолжать.

— Пощечины я не получу, но вы до конца ваших дней будете надо мной потешаться.

Целует ее.

— С вами все не так, как с другими. Впервые я ошибся до такой степени. Впервые показал себя столь скверным физиономистом. Я думал: «Вот женщина, которая будет надо мной потешаться!» Думал до того упорно, что даже помыслить не мог ни о чем.

— О, как я рада!

— Я тоже.

— Я так взволнована. Мы не можем оставаться здесь.

— Мы не можем остановиться на этом.

— Нас увидят.

— Нам нужно найти маленькое гнездышко на две подушки, потом хватит и одной.

Отворяется дверь. Входит супруга; дама сидит с таким естественным видом, будто ничего и не произошло.

\* Когда они уже собираются идти, он останавливается:

— Нет, я за вами не пойду! Не выйду из дома. И, пожалуйста, не говорите ничего, все равно не поможет. Я не боюсь показаться смешным. Идите, я не боюсь честно объясниться с вами. Речь идет не о морали, не о доброте, не о верности. Если бы моя жена ничего не узнала, тогда — будь что будет. Но она обязательно узнает. Она просто не может не узнать, потому что ей скажут...

— Кто же?

— Да я! Я! Сразу же скажу ей. Напишу, как только выйду из ваших объятий. Пошлю ей телеграмму и сообщу, что я ей изменил... Возможно, я не скажу, что изменил с вами. Вот единственное, что я скрою. Она ужасно огорчится; возможно, она даже умрет с горя. До свидания, мадам!

— До свидания, прощайте!

Она уходит, улыбаясь.

Все это должно быть просто, правдиво, без всяких драматических излишеств. Должно чувствоваться, что удалось избежать большого страдания.

\* Я дуюсь на Париж. Просидел четыре дня дома, чтобы его не видеть.

*15 ноября.* Чтобы оправиться от трехдневной работы, мне требуется промечтать три месяца.

\* Военный министр подал в отставку: война отменяется.

\* Талант: видеть правду глазами поэта.

*16 ноября.* Елисейские поля, Булонский лес. Роскошь и скука текут во всю ширину улицы. Можно пройти под Триумфальной аркой — от этого выше не станешь. Наглость отеля Дюфейель: кажется, достаточно нажать кнопку, и этажи по твоему желанию будут подниматься и опускаться — они готовы встретить гостя у самых дверей. И все эти скверные рожи. И все эти лица без выражения. И автомобили такие большие, что кажутся пустыми. Какие отменные шлюхи!

Следовало бы расставить здесь — посредине, справа и слева — несколько тысяч жертв голода в России с котелками, полными пороха. Я не любопытен, но хотелось бы увидеть, как все это взлетит на воздух.

*19 ноября.* Гостям подавали обильный завтрак, после чего хозяин начинал читать свои произведения, но все засыпали от сытости.

\* Бывают дни, когда мне начинает казаться, что я первый увидел жизнь.

*20 ноября.* Из всех состояний своей души предпочитаю снег.

*21 ноября.* Часы, когда внимание подобно ослу, которого тащат за поводок, а он ни с места.

\* Творение должно рождаться и расти подобно дереву. В воздухе нет правил, невидимых линий, по которым будут точно располагаться ветви: дерево выходит из семени, где оно заложено все целиком, и развивается вольно на вольном воздухе. Это садовник набрасывает планы, пути развития и губит дерево.

\* Флюгер замирает, как будто он способен погружаться в размышления.

\* Хриплый лай пилы.

*24 ноября.* Лежа в постели, я изливаю свою скорбь. Для художника нет выхода в этом литературном мире, где все достается ворами. То, что создает художник, не может его прокормить... Я жалуюсь, а Маринетта садится ко мне на постель и время от времени повторяет:

— Вставай, милый.

*28 ноября.* «Женитьба Фигаро»: чистейший шедевр, легкий, как воздух всех времен.

*29 ноября.* Книга, которая растет разом во все стороны. Сегодня она дерево. Вчера она была самым заходящим солнцем. Завтра будет животным, людьми.

*1 декабря.* Общество писателей. Ришпен, истинный полубог, даже кудри выются. Мишель Карре, получивший бессмертье благодаря поэтическому дару Ришпена. Марсель Прево, покровитель юных дев. Капюс, чьи поры сочатся ложью. Бесконечно милый Тристан Бернар. Эрвье — старый академик.

О, этот усталый, лицемерный и вульгарный мирок!

Единственно, что искренне, — это желание поговорить. Иначе все эти произнесенные речи превратились бы в желчь.

*3 декабря.* О, кротчайшая греза, ты извинение моей лени.

О, легкие, как бабочки, мысли, летите, спешите прочь. Если я вас поймаю, если я приколю вас кончиком пера к листу бумаги, вам будет слишком больно.

\* Даже в Париже я обнаруживаю деревню. От проезжающей мимо повозки сотрясается дом, и

всякий раз что-то начинает в стене петь, как сверчок.

5 декабря. О Тристане Бернаре.

«Уважаемые коллеги по перу.

В конце нашего последнего собрания мой учитель и друг господин Жан Ришпен бросил мне: «А вы, Ренар, ничего не сказали!» Не знаю, заключался ли в этих словах упрек или похвала.

Действительно, в тот раз я не взял слова. Все слова уже взяли другие, и львиную их долю, говорю это не в осуждение, — Анри Бернштейн, чьи залпики вы, надеюсь, не забыли. Я ничего не сказал, но я дал понять, что намерен голосовать против раскольников, в числе коих находится мой лучший друг Тристан Бернар. Свое обещание я выполняю сегодня. Все эти две недели я спрашивал себя, совершу ли я акт мужества или проявлю трусость, учитывая дружбу, связывающую меня с Тристаном. Я не пришел ни к какому определенному выводу. Моя совесть ничего мне не подсказывает. Бывают минуты, когда совесть чадит.

Но вот что я утверждаю, в чем я уверен — так это в том, что я голосую, проникшись интересами нашего цеха, духом защиты, поскольку я являюсь частью драматического монолита, то есть нашего Общества, которому я приношу самую искреннюю благодарность. Таким образом, я из личных интересов и эгоизма голосую за Общество и против Тристана Бернара. Вы, крупные драматурги, вы даже представить себе не можете, чем обязан вашему Обществу такой писатель, как я, такой мало угрожающий вам деятель. Я подсчитал, что до сего дня мои книги принесли мне ровно столько, чтобы оплатить керосин для лампы, и что самый короткий акт

пьесы приносит столько... сколько требуется, чтобы прожить год, а то и два и иметь возможность писать новую книгу.

Когда я думаю, что, возможно, даже сегодня вечером мой «Рыжик» благодаря безупречному механизму нашего Общества принесет мне — принесет обязательно, ибо он малый послушный, хотя я для этого ничего не сделал, даже не знал, — принесет со сцены какого-нибудь провинциального театришка три, а не то и четыре франка, то есть столько, сколько зарабатывает в день скромный рабочий, — я готов плакать от умиления в кругу моей умиляющейся семьи.

Если Бернар пожелает напасть на наше Общество, ему придется переступить через мой труп, но я не боюсь — он не такой уж прыткий. Я проголосую за изгнание, даже за смерть Тристана.

Но давайте условимся. По поводу раскольника часто говорят о честности. Я тоже хотел говорить с Тристаном, как честный человек. Мы много говорили, правда, с неравной степенью тонкости. Может быть, потому, что я был не уверен в себе? Или, быть может, потому, что Тристан обладает особой способностью запутывать моральные проблемы? Его честность кажется мне неуязвимой. Вряд ли можно надеяться, что мы уьем ее бюллетенем для голосования...»

*9 декабря.* Мне достаточно одного дерева, а тебе подавай весь лес.

*12 декабря.* Париж становится фантастическим. Эти омнибусы без лошадей... Кажется, что живешь в царстве теней. И мне в голову приходит такая мысль: а что, если мы в самом деле уже умерли, не заметив этого? В этом шуме, в этих вспышках света, в этом тумане ходишь со стра-

хом, боишься не того, что тебя раздавят, а того, что ты уже больше не живешь. Такое впечатление, что ты в огромном погребе, и голова идет кругом от всего этого гама.

\* Сколько нужно нотариусов, торговцев, инженеров, путешественников и коммивояжеров, чтобы получилась публика, которая судит артиста?

*15 декабря.* Дым: голубой и легкий, белый, серый, черный, густой — все дымы поднимаются к небу и сливаются с лазурью, а она так и остается лазурной.

*22 декабря.* В войне 70-го года он потерял ногу, — бережет оставшуюся для новой войны.

\* В музыке меня волнует все — от широких звучаний до дробной звуковой капли фортепьяно.

*25 декабря.* Работа. Я не иду за плугом: я его волоку.

\* Конец года. Последняя наша энергия облетает, как последние листья.

*26 декабря.* Если не в деньгах счастье, так отдайте их соседу.

\* Как длинна жизнь зимой.

---

## 1906

3—7 января. Господин кюре разослал циркулярное письмо, в котором спрашивал адресатов, останутся ли они верными религии. Тем, что отвечали «да», обеспечена порция супа из кухни господина графа.

\* Насквозь промокший край. На тоненькие веточки нанизываются капли дождя. Солнце, пройдясь светлой полосой, осушит луг, деревушку, рошу.

\* Крестьянин. Деревянные сабо, сабо свинцовые, чтобы он мог держаться на ногах и не падать.

\* Ветер, как слепой упрямец, трясет деревья, с которых уже давно сняли плоды.

\* — Вот вам, — говорит скупой, — новый календарь, это вам на целый год.

\* Фрапье, жалкий, усердный и несчастный. Ставит Достоевского «на сто тысяч футов» выше Толстого.

10 января. Тучи проползают по луне, как пауки по потолку.

17 января. «Юманите». Конец: там выключили электричество. Газету делают три человека. Наступает вечер, и они ждут, когда принесут свечи.

\* Быстрый полет собранных в комок воробь-



ев, будто они вылетели из ружья, как свинцовая дробь.

*19 января.* Часы ходят на месте размеренным тяжелым шагом. Ать-два, ать-два!

\* Тесно прижавшись друг к другу, неподвижные крыши ждут снега.

*22 января.* Не надо, чтобы я из-за своей независимости зависел от неудачников.

*24 января.* Потомки! На каком это основании люди завтра будут умнее, чем сегодня?

\* — Будущая среда — последний день в этом месяце, — говорю я.

— От нее всего можно ждать, — отвечает Брандес.

*25 января.* Вот Баррес стал членом Французской академии. Ну и что? Неужели ты завидуешь человеку, которым ты не всегда восхищался и которого редко уважал?

Как ни затруднен вход в Академию, войти в нее легче, чем перестать о ней думать.

*26 января.* Самое правдивое, самое точное слово, слово, наиболее полное смысла, — это слово «ничего».

\* Я готов верить во все, что угодно, но справедливость, существующая в этом мире, не слишком обнадеживает насчет той, загробной. Боюсь, что господь бог возьмет и опять наделает глупостей: соберет злых в рай, а добрых загонит в ад.

Кошка, которая спит двадцать часов в сутки, является, возможно, наиболее совершенным творением бога.

Да, бог существует, но сам он в этом вопросе смыслит не больше нас.

Вот у кого настоящая божественная улыбка!

Нам приходится исправлять его несправедливости. Мы сами больше, чем боги.

Не знаю, существует ли он, но для него самого, для его собственной чести было бы лучше, если бы он не существовал.

\* Порывы дыма. Думаешь, вот сейчас он наберется сил, подымет к тучам, но он остается здесь, тяжелый, рваный, а потом ложится на землю.

*28 января.* Сделать доклад о боге с туманными картинами.

*30 января.* Народный театр. Научите сначала народ смеяться и плакать: он то и дело ошибается.

\* Только сегодня я по-настоящему смотрю на Париж.

Целых двадцать лет я его не видел. Был слишком честолюбив. Читал, но только книги.

А сейчас останавливаюсь перед Лувром, перед церковью где-нибудь на углу улицы и говорю: «Как это чудесно!»

О чем я думал, прежде чем глаза мои открылись?

Все мне в тебе нравится: твои памятники, розовые облака твоих закатов, и петухи, и курочки на набережных.

Я был студентом. Я тогда что-то записывал, а этим вечером я впервые с удовольствием брожу по Латинскому кварталу.

Какой-то господинчик, очень шикарный, очень богатый, представитель светского общества глупцов, в цилиндре, держит за поводок диковинную собачонку, а та налегает на ошейник, тянет за собой хозяина, словно он слепой и параличный.

*31 января.* Кончик ветви устремляется вслед за вспорхнувшей с него птицей.

\* Гений в отношении таланта, возможно, то же самое, что инстинкт в отношении разума.

\* Баррес входит в книжный магазин Флури. Только что вышло его «Путешествие в Спарту».

Пожимаем друг другу руки. Его улыбка тут же гаснет, в сущности, это только милая приманка, за которой скрывается его высокомерный нрав: дескать, я улыбаюсь, но это вовсе не значит, что я вам ровня и что вы можете класть ноги на стол.

Его сопровождает какой-то господинчик с бритой вульгарной физиономией, не то его слуга, не то секретарь, не то лучший друг.

Все так же смущенно (смущен и я) он разглядывает свою книгу. А я ищу слова. Нет! Не могу я поздравлять его с его Академией.

Протягиваю ему экземпляр его книги.

— Вы должны, — говорю я, — надписать ее мне.

— Я вам ее пришлю.

— Зачем же! Я уже ее купил.

И верно, я только что заплатил за один экземпляр.

— В таком случае, — говорит Баррес, — я вам пришлю какую-нибудь из прежних своих книжек. Вы по-прежнему живете в деревне?

— Нет. Живу все там же, улица Роше, сорок четыре.

— Ах да. Вечный адрес.

Он присаживается, пишет что-то на книге, а я не смотрю в его сторону.

Потом, после восклицания: «Ну вот!» — машинального подергивания плечами, молодой бог, избалованный и равнодушный, протягивает мне руку и уходит.

На книге написано: «Жюлю Ренару от друга». Нет уж! Я им восхищаюсь, дивлюсь ему,

возможно, и он не отказывает мне в таланте, но мы с ним не друзья.

*1 февраля.* В тени всякого знаменитого человека всегда есть женщина, которая страдает.

*9 февраля.* Театр. У Гитри. Все эти лица, когда на них смотришь со сцены! Похоже, что люди по шею сидят в бассейне и от тесноты не могут даже плавать.

\* Для того чтобы писать пьесы, нужно быть энтузиастом лжи.

*9 февраля.* В Шомо.

Филипп чистит бобы и считает их, чтобы в конце концов сказать, что всем хватит. Отсчитав сотню, откладывает один боб в сторону.

Он все время гладит кошку.

Встает он в шесть часов, в восемь ложится.

Его уши: две половинки абрикоса, изъеденного осами.

На дороге никого — один лишь дорожный рабочий.

Я осматриваюсь кругом и говорю Маринетте:

— Какая тут кровавая тоска.

— Почему «кровавая»?

Плуг — огромная раненая птица, которую лошади волокут боком по земле.

*10 февраля.* Зеленые воды памяти, поглощающие все. Необходимо взбаламутить воду. И что-то непременно всплывет.

\* У него не осталось ни гроша. Из снобизма он продал отцовскую аптеку и ухлопал все деньги на свою усадьбу. Жена выписывала из Парижа парикмахера. Сейчас он ищет места за двести франков в месяц; но по-прежнему продолжает завтракать в самых шикарных ресторанах и курит самые дорогие сигары. Одно

только изменилось: теперь за него платят друзья.

\* Вообразите восхищение человека, который в наши дни увидел бы впервые розу! Он старался бы найти для нее самое необыкновенное имя.

\* Онорина. Смерть словно говорит: «Никогда она ничем не болела. Не так-то легко будет ее заполучить. Не знаю, с какого конца за нее взяться».

\* — А вы не можете сказать, какого цвета у меня было платье при нашей первой встрече?

— О, мадам, я могу даже сказать, какого цвета на вас были штанишки.

\* Женщине следовало бы жить всего один сезон из четырех существующих, как цветку. Она вновь появлялась бы каждый год.

\* Лист, этот бедный родственник цветка.

*11 февраля.* У Гитри. Скука, скука, не хочется говорить. Франс заработал вчера двести франков своей пьесой «Наудачу». А я — десять своим «Приглашением». Нельзя сказать, что я требователен.

*12 февраля.* Религия высших умов: потребность в дисциплине. У них нет веры, они верят потому, что желают верить. Так иногда людей тянет к тюрьме, я по себе это знаю.

*15 февраля.* — Какая прелестная пьеса, не правда ли? — спрашивает Эллен Андре. — Она вас захватывает. Вы согласны?

— Нет, — отвечает Маринетта.

— Смотрите-ка! Вы единственная разделяете мое мнение о пьесе.

\* Белые быки лежат на лугу, как половинки яйца на блюде шпината.

*17 февраля.* Мечты. Пораженный недугом

мозг еле влачится и может так влачиться всю жизнь.

*21 февраля.* Морис Кан является интервьюировать меня о драматургии Мюссе. Я, кажется, понимаю, почему знаменитости так не любят подобные посещения. Посетитель не дает тебе слова сказать. Он говорит непрерывно сам. Через час я уже знал все вкусы господина Мориса Кана, редактора «Свободных страниц», и вкусы молодежи, которую он представляет. А он ушел с мыслью о том, что я скромный человек.

*22 февраля.* Сорок два года. Что я сделал? Не очень много. И я уже не делаю почти ничего.

У меня стало меньше таланта, денег, здоровья, читателей, друзей. Но я стал относиться к этому спокойнее.

Смерть представляется мне большим озером, к которому я приближаюсь, все яснее различаю его очертания.

Стал ли я мудрее? Если стал, то очень немного. Зато у меня меньше побуждений быть плохим.

Из сорока двух лет восемнадцать я провел вместе с Маринеттой. Я не способен причинить ей зло, но способен ли я на усилие ради ее блага?

Сожалею о том времени, когда Фантек и Баи были маленькими и забавными. Что с ними станется? Достаточно ли волнует меня этот вопрос?

Иногда вспоминаю об отце, реже о Морисе, которые умерли уже давно. А моя мать еще жива. Как сделать так, чтобы не прошел незамеченным для меня ее переход от жизни к смерти?

Вставать, работать, заниматься другими — все это меня утомляет.

То, что приятно, я делаю хорошо: сплю, ем, мечтаю без натуги.

Я по-прежнему завистлив и поношу других. Спорить я так и не научился; кричу изо всех сил, как и раньше, только не так часто, как раньше.

К женщинам, собственно говоря, стал равнодушен. Только изредка набегут любовные мечты. Я почти не читаю новых книг, люблю перечитывать.

Как обстоит дело со славой? Так как у меня ее никогда не будет, мне удастся без особого труда говорить о ней с презрением. Это почти искренне, но я слишком много об этом говорю.

Ничего не желаю страстно: чтобы добиться успеха, пришлось бы слишком неистовствовать. Уж не неврастеник ли я? Нет. Неврастения болезнь серьезная: человек мучается, чувствует себя несчастным. А у меня болезнь приятная, полная очарования. По-моему, у меня было чересчур много энергии, и я ее потерял. Обхожусь без нее прекрасно.

Иногда меня мучают угрызения совести, но я искусно осуждаю себя за это, и они смягчаются.

Откровенно говоря, невыносимых угрызений у меня нет.

В свое время я боялся действовать, когда предвидел опасность. Сейчас я боюсь действия или, вернее, приобрел вкус к бездействию.

Я с удовольствием вижу напечатанным свое имя, но я не подарил бы и улыбки самому королю критиков ради того, чтобы он упомянул обо мне. Разве только он пришел бы ко мне сам: Да, да, в этом отношении я, кажется, молодец, и дается мне это легко.

*25 февраля.* Невидимые рычаги ветра.

\* Маленькой Полетте Алле нянька, женщина набожная, сказала, что ее папаша наверняка находится в аду, и теперь девочка просыпается ночью с криком: «Папа горит! Папа горит!»

*26 февраля.* Голубоватый дым, а возможно, в печи жгут какую-нибудь дрянь.

\* Если бы флюгер умел говорить, он наверняка сказал бы, что управляет ветром.

\* Неврастеник: человек, пользующийся отменным здоровьем и страдающий смертельным недугом.

\* Разум еле плетется. Жизнь тяжела, как тачка.

\* Мое прошлое — это три четверти моего настоящего. Я больше мечтаю, чем живу, но мечтаю я не «вперед», а «назад».

*27 февраля.* Воровство менее гнусно, чем ложь.

\* Вкушаю горькую усладу блистательного одиночества.

\* Тучи таких очертаний, словно их выдумал поэт.

\* Гурмон из гордости боится совпасть во мнениях с кучей глупцов.

*2 марта.* Он сэкономил двадцать франков, чтобы купить лотерейный билет. Можно выиграть миллион. Но он узнал, что государство удерживает в свою пользу столько-то процентов. Нет уж, увольте! Он хочет, чтобы ему заплатили все до последней копейки. Все или ничего. Поэтому билета он не покупает.

\* Ночь — это ослепший день.

*5 марта.* В одном только Маринетта мне отказывает: в праве мечтать в сумерках. Неумолимо спрашивает:

— Пора зажигать?



Я не смею сказать нет, и она приносит мою непримиримую лампу, обращающую в бегство все мои мечты.

\* Жизнь коротка, но скука ее удлиняет. Нет такой короткой жизни, где бы не нашла себе места скука.

\* Погода пронзительная, свежая и нездоровая, как непросохшая известка на стенах.

\* Высохшее дерево, я жду теперь листьев от других деревьев.

\* Фабричная труба — толстый палец, марающий небеса дымом.

\* Слуховые окошки — четырехугольные глазки крыши.

\* Деревья, почки на них уже улыбаются, а завтра лопнут от смеха.

*10 марта.* Академия Гонкуров. Ладно, я согласен, при одном лишь условии, если меня не заставят говорить всем моим коллегам, что они талантливы.

\* Не знаю, можно ли избавиться от своих недостатков, но зато знаю, как приедаются свои достоинства, а особенно если обнаруживаешь их у другого.

\* Моя слава, слава, которой я жаждал, — это уже прошлое.

\* Надо, чтобы одна твоя страница об осени доставила мне такое же удовольствие, как прогулка по опавшей листве.

*13 марта.* Подытоживать год за годом мои заметки, чтобы показать, каким я был. Сказать: «То-то я любил, то-то читал, в это верил». В сущности, ни малейшего прогресса.

\* Вообразите себе жизнь без смерти. От отчаяния каждый день мы пытались бы себя убить.



Жюль Ренар с женой

\* Имманентная несправедливость.

\* Есть друзья, которые опасаются нас, будто верят, что мы знаем глубину их души.

\* Перечитываю свои заметки. Моя жизнь не могла быть сложнее, что бы я ни совершил. Если бы даже написал еще что-то, — что далось бы нелегко, — ничего бы к моему творчеству не прибавилось. Мое творчество!

Есть имена, которые уже ничего мне не говорят. Не могу вспомнить лица тех, кто ушел из моей жизни.

Если бы я начинал жизнь сызнова, я пожелал бы себе такой же. Только я смотрел бы лучше. У меня плохое зрение, и я до сих пор не разглядел как следует эту маленькую вселенную, где продвигался ощупью.

Может быть, все-таки еще попробовать работать регулярно, ежедневно, как ученик, которому хочется быть первым по словесности. Не для денег, не для славы, но чтобы оставить после себя маленькую книжку, страницу, несколько фраз. Ибо я все еще не успокоился.

\* ...Мы краснеем до корней наших седеющих или уже выпавших волос при мысли о тех гнусных желаниях, которые мучили нас в свое время, — даже воспоминания иной раз вызывают тошноту.

Не особенно рассчитывайте на общество в смысле реформ: постарайтесь реформировать сами себя.

Но, скажете вы мне, значит, мы'становимся святыми.

Не бойтесь! Я даю вам в общих чертах туманную, невыполнимую программу. Вы навсегда останетесь собой, но только в меньшей степени. Недостатки можно смягчить: их не искореня-

ют, но даже небольшой прогресс, — которого вы добьетесь не без труда, — озарит вашу жизнь. Вы будете жить с веселой душой.

Такой-то говорит: «Я признаю только разум», — а сам только что не дурак.

Не держитесь слишком усердно за ваши недостатки под тем предлогом, что совершенство — не от мира сего.

*15 марта.* «Арлезианка». Старо, словно какая-нибудь драма Деннери. Ох, этот старик пастух! И это называется украсить жизнь! Но настоящий пастух прекраснее этого.

*17 марта.* Изобретатель, создавший любезный барометр, стрелки которого показывают хорошую погоду, даже когда погода плохая.

*19 марта.* Пьеса хороша, когда захватывает зрителя вопреки репликам, и превосходна, когда действующие лица говорят те слова, которых от них ждут.

\* Птица, которая видит воздушный шар, быть может, говорит себе: «Хотела бы я летать, как он, без крыльев». Это и есть прогресс.

\* Правда на нашем земном шаре в таком же отношении ко лжи, как булавочная головка к самому земному шару.

*20 марта.* Сельскохозяйственная выставка. Голубь, вылетевший из клетки, порхает под стропилами: ему очень хотелось бы вернуться в клетку...

Чучело совы. Юный натуралист дергает за ниточку: сова вращает головой, глазами, взмахивает крыльями. Живая, она проделывала все это гораздо лучше.

Прекрасно выделанные шкурки кроликов. Другие кролики сидят рядом и ждут очереди.

*21 марта.* У меня лоб, как у больного водян-

кой, и мои мысли каждую минуту захлебываются в воде. Потом всплывают, как утопленницы.

*22 марта.* Бог будет нам то и дело напоминать: «Я взял вас на небо не для того, чтобы вы тут развлекались».

\* Остряку:

— Простите, мосье, но я дал себе клятву никогда не смеяться, если мне не очень хочется.

\* Фраза, которую приходится перечитывать дважды, не потому, что она полна глубокого смысла, а потому, что недостаточно ясна.

*26 марта.* Гитри в своем огромном и холодном автомобиле. Так как он сказал мне, что в театре я совершаю подвиги, я ответил:

— Можете мне этого дважды не повторять.

И я ему открываю не без внутренней дрожи свой план — написать пьесу в трех действиях о Филиппе. Он тут же предлагает мне поработать с Лебрейлем. Я не излагаю подробно сюжет, боюсь, что получится недостаточно ясно.

— В сущности, — говорю я, — у меня богатое воображение. Но я вечно его подавляю.

— Знаю, — отвечает он. — Вы решили сочетать совершенство и правду, но все равно воображение к вам вернется.

\* Я становлюсь все более скромным, но все более горжусь своею скромностью.

\* Священник в рясе, а нижнее белье, как у кокотки.

*28 марта.* Театр. Триумфы, почет, успехи, провалы — все это создает известность, и за всем этим стоит некий господин, о котором начинают говорить. И в сущности, наших театральные деятели интересуется только это, да еще деньги.

*4 апреля.* «Независимые художники». Вот где

я скучал, как, пожалуй, нигде на свете. После «пуантилизма» — «пьердетаизм», и вот несколько молодых художников прилагают все усилия, чтобы вызвать у нас тошноту. Убийственно тоскливо, как любое собрание стихов и прозы, изданное автором за свой счет. В этот салон вход свободный.

Детская головка, ясная по линиям и краскам, кисти Патерна Беришона, на фоне всех этих полотен кажется чуть ли не шедевром.

\* Иметь успех в театре без прессы, без друзей и врагов, без премьер и генеральных репетиций — вот она, мечта.

*6 апреля.* Жизнь и театр, отделенные друг от друга занавесом.

*7 апреля.* Когда эти водевилисты решают что-нибудь написать, им недоступен даже юмор старого генерала в отставке.

\* Туманная, но впечатляющая авторитетность портного, объясняющего, почему костюм, который вам ужасно не идет, вам ужасно идет.

*14 апреля.* Весна. Желтые дороги, украшенные белыми букетами.

Белоснежный взрыв зацветшей яблоньки.

*15 апреля.* Филипп. На дне его сабо такая же грязь, что и на его голых пятках.

\* Онорина: длинейшие ногти. Она ничего уже не слышит, никого не узнает. Ее кормят чуть ли не с ложечки. Перед смертью она превратилась в растение.

*16 апреля.* Я слишком суетен, слишком нетерпелив. Я не хочу сам привлекать к себе внимание, но мне неприятно, что не находится никого, кто взял бы меня за руку, вывел и сказал: вот человек, который нам нужен. Впрочем, я не последовал бы за ним.

Я люблю возвышенные идеи. Я страдаю, когда вижу, что они служат ширмой для людей невозвышенных...

В общем, больше всего я страдаю от того, что я не понят и что не могу быть таким, каким — в минуты благородной прозорливости — мне хочется быть.

Слишком, слишком суетен!

\* Мама. Нет, нет, не буду лгать. До последнего вздоха не перестану твердить, что мне это безразлично.

Она приходит. Маринетта вводит ее и говорит:

— Вот и бабушка пришла.

Она целует меня (а я не могу), садится прежде, чем ей предложили сесть. Я говорю:

— Добрый день, мама. Ну, как дела?

И ни звука больше.

Но ей большего и не требуется. Она не нуждается в собеседнике. Она говорит:

— Я зашла посмотреть в последний раз на Онорину. Она отходит. Никого не узнает. Должно быть, у нее высокая температура. Ее внучки дают ей пить из грязной, ох, какой грязной чашки!.. Ох, если бы мне пришлось пить из такой чашки!.. Ах, детки, когда я совсем состарюсь, ни на что больше не буду годна, стану вам в тягость, дайте мне одну пилюльку.

— Хорошо, обещаем, — говорит Маринетта. — Дадим, дадим! Пойдемте ко мне в спальню, поболтаем.

И маме приходится вставать со стула и идти за Маринеттой. Все расписано, как на официальной церемонии.

— А как ты себя чувствуешь, Жюль?

— Неплохо.

— Тем лучше!

За дверью она целует Маринетту, благодарит ее. Я взволнован. Я не растроган, а взволнован. Волнует меня не присутствие матери, а сама ситуация. Это просто старуха, на которую я со временем буду похож. Седые, по-прежнему вьющиеся волосы, усохшее тело. Кожа обтягивает кости, и кости вдруг стали заметны!.. На коже какая-то короста, как на деревянной, давно не крашенной стене.

Она горбится. Когда я стою, мне не видно ее страшных глаз. До меня порой долетает блеклая молния, но грома, как когда-то, не следует.

\* Почти всегда данная минута мне скучна или противна. Только в воспоминаниях все устраивается, и жизнь развлекает меня.

*19 апреля.* Очень люблю комплименты. Я на них не напрашиваюсь, но страдаю, когда их мне не говорят, а когда говорят, я тут же останавливаю собеседника: я не даю ему развернуться, как мне хотелось бы.

\* Онорина лежит в постели, скорчившись в три погибели. В течение двух недель у нее не действует желудок. Она говорит что-то, но никто не понимает. Тогда она кричит:

— Да давите же меня!

Простыни, одеяло, все чистое. Две невестки, из которых одна глухая и прислушивается с беспокойством к тому, что говорит другая, — ухаживают за старухой. Заботятся о чистоте — ведь это их наследство. Но перина сгнила. Когда Онорину перекадывают на бок или стараются распрямить ноги (она вопит), во все стороны разлетаются перья. Отдельные перышки прилипают к ее язвам, а ребятишки — все свечи в комнате зажжены — играют перьями.



Она просит пить. Ей держат голову. Она кричит:

— Да не трогайте голову, шлюхи проклятые!

*24 апреля.* Собака слепого с чашкой в зубах похожа на чайник с ситечком...

\* Жаворонок взлетает все выше, выше. Сейчас он сядет на кончик пальца господа бога.

\* Цветущая яблоня, нарядная, как шафер. Деревья идут к венцу.

\* Все те животные, которых ты не видишь, потому что они удирают, услышав твои шаги.

\* Черный дрозд на белой вишенке.

\* Неподвижный бык на зеленом лугу, как белый шар на бильярде.

*30 апреля.* Тринадцатилетнего воспитанника приюта наняли на работу где-то в Сервоне. Он глуховат. За пятнадцать месяцев заработал сто двадцать франков. Я имел неосторожность сказать, что это немного. Тогда, подняв на меня глаза, — до сих пор он стоял потупившись, — он гордо говорит:

— Это еще не все. Стирка за их счет, и башмаки дали.

*10 мая.* Подготовка к грозе. По небу медленно громяхают повозки, полные туч.

\* Богу недурно удалось создать природу, но с человеком у него произошла осечка.

\* Если твой друг хромает на правую ногу, начни хромать на левую, дабы ваша дружба пребывала в постоянном равновесии.

\* Гораздо легче говорить с толпой, чем с отдельным индивидуумом.

*11 мая.* Я не живу больше реальной жизнью. Я как отражение человека в воде.

\* Муравьи — маленькие черные бусинки, рассыпавшиеся с порванной нитки.

*15 мая.* Суп кипит. Горошинки пляшут в нем, как в ручье.

Я стал ленивым потому, что Маринетта боялась мне сказать, что я не работаю.

*17 мая.* Не писать слишком сжато. Необходимо помогать публике, бросая ей банальные фразы. Доде умел вставлять их, где надо.

*18 мая.* Жизнь спящей кошки. Время от времени вскакивает, показывает когти, потягивается так, что ее движение кажется осмысленным действием, но потом все исчезает в шерстке и все засыпает.

\* Рукопись перемаранная, как сорочье гнездо.

*22 мая.* Соловей прекрасно поет! Легко сказать. Да, я пою хорошо, но что? Но как? Неужели среди людей нет музыкальных критиков?

\* Лень: привычка отдыхать перед усталостью.

*24 мая.* Прогулка в Пази. Я выбрал прелестную дорожку через лес, а оказалась сплошная грязь. Каждый раз, попадая ногой в лужу, Маринетта говорит: «Ничего, ничего», или: «Не беспокойся, я пройду. Вытру ноги о траву». Жена, которая безропотно сносит дорожную грязь, — верный товарищ, не боящийся жизни.

*26 мая.* Голое дерево с низко подрезанными сучьями показывает кулак.

*31 мая.* Онорина жила так долго, что ее смерть прошла незамеченной.

Иной раз мне чудятся ее шаги.

*1 июня.* Я смотрю на природу до тех пор, пока мне не начинает казаться, что все растет во мне самом.

\* Всегда начинаешь немного презирать тех, кто слишком легко соглашается с твоим мнением.

\* Работа — это иной раз нечто вроде рыбной ловли в местах, где заведомо не бывает рыбы.

*12 июня.* Раздача школьных свидетельств. Благожелательное солдафонство инспектора. Они говорят: «Воспитывайте нам свободных людей», — но стоит учителю запросить объяснение по поводу плохой отметки, он тут же получает письмо, где с притворным удивлением и в самых сухих выражениях его призывают к духу субординации.

*14 июня.* Маринетта неотделима от иголки, как курица от клюва.

*15 июня.* Учителя. Они произносят: «Господин инспектор» — словно говорят: «Ваше королевское» или «императорское величество».

\* Филипп косит сено, но не может сказать мне названия трав. Так как лужок идет под уклон, у Филиппа на правой ноге сабо, а на левой шлепанец, чтобы не поскользнуться. На краю лужка, прямо на земле, лежит его жилет, рядом — молоток и наковальня, чтобы сначала направить косу, а уж потом ее точить. На траве два следа от его ног.

*17 июня.* От творений Флобера чуть-чуть отдает скукой.

\* Праздник тела господня. Он идет к обедне, засунув руки в брюки, но даже ради праздника он не желает потерять ни одного воза сена, и слуги его от зари до зари гнут спину, будто никакого бога никогда и не существовало.

\* Я — социалист, но становлюсь свирепым собственником, когда мальчишки швыряют палками в мою яблоню, а я грожусь взять ружье.

*18 июня.* Изгородь протягивает мне блюдечки своей бузины, надушенной сверх меры.

Я иду, вокруг моей головы толчется мошкара, а голова моя полна пылью мыслей.

Стога сена: стоят целой деревушкой пахучие хижинки; стоят, но скоро исчезнут. Завтра вечером ничего не будет: все свезут на сеновал...

\* Китайская пагода папоротника.

\* Я буду долго познавать сладость угасания.

\* Жизнь всегда была подпоркой моей литературы: стоит мне отойти от жизни, и я валюсь.

19 июня. Я люблю только споры о политике или о религии. Болтовня о литературе меня убивает.

\* Я не гнусь, а ломаюсь.

\* Судороги жирной гусеницы, на которую напали муравьи; они взбираются на нее, выедают ей голову, брюхо, глаза. Гулливер у лилипутов. Ее отчаянные усилия: она сжимается и разжимается, как тетива. Последняя спазма, наступает смерть. Теперь сбегаются даже самые пугливые муравьи. Черная шевелящаяся масса. Муравьи уволакивают ее под земляничник кустик.

23 июня. Жорес: возможно, сверху и пар, зато снизу все кипит.

\* Он постоянно жалуется на то, что его не уважают.

Его месячный бюджет — полсотни франков, на которые он еще кормит ослика, свинью и двух коров. Молоко он продает матросам, но иной раз приходится с ними ругаться, потому что народ здесь всякий — из тюрьмы, с каторги.

У него хороший колодец, кролики и куры.

Еще немного, и он скажет: «Вы разговариваете с нами потому, что вы неплохой человек, потому что вы жалеете несчастного шлюзовщика!»

— А к вам все-таки наведываются, — говорю ему я.

— Да нет. Просто идут прогуляться, приятно ведь пройтись вдоль канала, но кому же в голову придет навещать меня, несчастного шлюзовщика? Как бы не так!

\* Пусть я достиг солидного возраста и избран мэром: при виде жандарма я начинаю тревожиться.

*25 июня.* По одному богу на каждую планетную систему. В конце концов где-то в вечности они все приходят к мирному соглашению. Все же изредка ссорятся и при этом крушат миры.

\* Новый поэт. Запомните хорошенько его имя, потому что больше о нем говорить не будут.

\* Старушки, устав от болтовни, неподвижно сидят у порога, точно сушится на солнце куча хвороста.

*27 июня.* Обо мне теперь говорят только по поводу других.

*30 июня.* Лошади, не переставая щипать траву, прощаются взмахами хвоста с заходящим солнцем.

В этот час быки идут на водопой. Увы! львов у нас не водится.

*1 июля.* Быть счастливым — это значит внушать другим зависть. А ведь всегда есть человек, который нам завидует. Главное, узнать, кто он.

\* Париж. Люди обедают у водосточной канавы. Пыль садится на пищу, трещит на зубах. Это в их представлении «обед на лоне природы».

\* Природа выигрывает при ближайшем знакомстве.

*7 июля.* Ницше? Что я о нем думаю? Что в его фамилии много лишних согласных.

*17 июля.* Мировой судья. Идиотски замкнутый вид человека, который боится, как бы посторонние не догадались, что он судит наудачу.

*20 июля.* В сущности, мама приезжает к нам повидаться со мной. Но это ей не удается, и она уезжает со слезами на глазах. Благодарит Маринетту, а так как она обманулась в своих ожиданиях, то, прощаясь с Маринеттой, запускает ей в мякоть ладони ногти.

Иметь мать и не знать, о чем с ней разговаривать!

*27 июля.* Вглядись в пустоту! Ты обнаружишь там сокровища.

*30 июля.* Чаще всего симпатия возникает между двух тщеславий, которые еще не пришли в столкновение.

\* Манекен считает себя Венерой Милосской лишь потому, что у него тоже нет рук.

*31 июля.* Я укоротил себя, сжал, стиснул, — тому виной комплименты, успех. Быть может, моя истинная природа — широта, легкость, остроумие. Я пишу хорошо только письма Маринетте.

*1 августа.* Луна угнездилась в ветвях дерева, как большое светлое яйцо.

\* Я человек чувствительный, и жизнь меня ранит или радует. У меня нет хладнокровия равнодушного наблюдателя.

*6 августа.* Вы ошибаетесь, мосье. Вы предлагаете мне двадцать пять франков за рассказ. Да ведь это гонорар для гения!

\* Если бы я выдавал читателю то, что у меня есть посредством и велеречивого, я давно был бы богачом.

\* Из спора брызнула кровь.

\* Мое колесо фортуны — это луна.

*7 августа.* Жизненная сила кошки, с виду такой лентяйки! Ее глаза и уши в непрерывной работе. У нее в запасе готовые прыжки, а под ней — готовые вцепиться когти.

\* Как человек Иисус Христос был восхитителен. Но как бога его позволительно спросить: «Как? И это все, на что вы оказались способны?»

*10 августа.* Мечты: плющ мысли, который ее душил.

\* Перечитывал старые письма, которые я писал Маринетте. Человек не меняется. Мигрени, жадность к работе, лень, вкус к жизни, и Маринетта по-прежнему в центре всего.

Меня самого удивляет, что я был так скуп на детали. Мне кажется, что теперь мой глаз вобрал бы все. У меня теперь более совершенный зрительный аппарат. Но при этом замечаешь, что ты жил, а главное — жизнь проходит и кончается в конце концов. А как же иначе?

\* Ничто не важно, поскольку литературу можно делать из всего.

\* Живой листок оторвало волной ветра от ветки, за которую он цеплялся, как за мачту.

*11 августа.* Тетушка Шалюд не верит в бессмертие души, но она верит, что наше тело, такое, какое оно есть, перейдет в тот мир, где без хлопот получит «поесть-попить» — словом, «полные харчи».

\* Маринетта отдала мне всю себя. Могу ли я сказать, что я ей все отдал? Боюсь, что мой эгоизм остался неизменным.

Когда я ей говорю: «Будь же откровенна», — она по моим глазам прекрасно понимает, дальше чего идти опасно.

Это единственное существо, не считая меня самого, которое я люблю. Уверен в этом. Впро-

чем, насчет себя самого... я часто гримасничаю от отвращения к самому себе. Да, ее я очень люблю и никогда не сужу о ней плохо...

Достаточно заглянуть ей в глаза, чтобы увидеть ее сердце — розовое сердце. Солнечное.

Ее обнаженным рукам свежо.

У меня есть Маринетта: больше ни на что прав не имею...

При мысли, что она по моей вине может впасть в нищету, я на минуту пугаюсь, но тут же успокаиваю себя: «Она мужественно перенесет любые невзгоды! Будет любить меня еще сильнее!»

— Я не обманываю себя насчет своей участи, — говорит она, — но не поменяюсь ни с одной женщиной.

*16 августа.* Умный, но без малейшей тонкости. Путешествует третьим классом, за что и мстит какому-то бедняге, поставившему свой чемодан на зонтик его супруги. Как государственный чиновник презирает «дороги местного значения».

\* Чтение социальной литературы сломило мое личное честолюбие, но не дало мне мужества работать для других.

\* Наши мечты наталкиваются на тайну, как оса на стекло. Но бог, менее милостивый, чем человек, никогда не открывает окна.

*20 августа.* Люди в Комбре. До чего они дорожат своим углом! Как цепляются за этот склон, сбегаящий прямо к Ионне. Домики все-таки держатся. Одна стена ниже другой.

У них есть свой родник, огораживающая его стенка непосредственно примыкает к конюшне. Рядом с родником по желобку стекает навозная жижа. В водоеме барахтаются гуси.



Ни души, но если господин мэ́р явился по делам размежевания в воскресенье, они выйдут на улицу. Вот они все в сборе, кое-кто протирает глаза, потому что в воскресный день они после полудня любят поспать.

Им нравится бродить вокруг собственного домика и сада. Они не ходят даже на праздник в Корбиньи, который от них в нескольких сотнях метров и откуда доносится шарманка с карусели. Поселись они чуть повыше и чуть правее, они могли бы любоваться великолепным горизонтом, но они решили осесть здесь из-за источника. Отсюда виден Мон-Сабо, где есть часовня и где каждые две недели служат обедню, видна колокольня Сэзи, высоты Ньюара. Знают они, что деревня там за лесом зовется Нэффонтен, а за этим холмиком, если идти по пашне, есть деревня Виньоль. Они побывали там раза два и до сих пор помнят о путешествии и обо всем, что подалось им по дороге.

Они ждут до конца: а вдруг господин мэ́р зайдет в харчевню и угостит их?

Иногда, о чудо! в окне увидишь молодую хорошенькую женщину. Очевидно, приезжая? Да нет, у нее на руках ребенок. Загадка!

Союз лесорубов. Босоногий старик говорит:

— Мне шестьдесят пять стукнуло, а Деларю, лесоторговец, обманывал меня шестьдесят пять раз.

— Не желаем шлепать по воде, — заявляет молодой парень.

Какой-то мудрец из другой коммуны, бывший мэ́р — он в очках, благодаря чему у него ученый и лукавый вид, — говорит:

— Вы правы, что объединились, но вам не следует злоупотреблять своей силой...

«Один уголок мира». Вот как это могло бы называться.

*21 августа* ... Мон-Сабо. Сабо с правой ноги, носок продавлен. Мертвые липы. Одна из них сожжена молнией. Здесь еще хоронят. Церковь из гладких каменных плит стоит на запоре. Старые могилы, и чем старше могила, тем аккуратнее над ней холмик. Великолепный вид: Монтнуазон, замок Вобан, огромный амбар Везеле, Лорм. Покойникам достаточно приподняться на локте, чтобы увидеть все эти красоты.

Светлый край сам входит в сердце: пригорок, долина, еще пригорок, еще долина. На пригорках трудятся крестьяне, и им хорошо видно друг друга. Здешняя церковь — первая, какую мне захотелось осмотреть: она заперта.

Тропинка вьется по холму, как подвязка вокруг колена.

Потом наступает розовый, нежный час, час божественный. Этот сюрприз бог преподносит нам каждый вечер. Хорошо бы переночевать на всех этих лугах, выпить всю эту свежесть, жить здесь, здесь умереть.

Родиться здесь, у подножья Мон-Сабо, провести здесь детство — какая удача для поэта!

\* Маленький городишко. Дочки торговца скобяным товаром не желают знаться с дочерью кондитера. Железо благороднее теста. И даже в свой магазинчик они никогда не заглядывают.

\* Гусь балансирует на своих двух лапках. Жирный белый зад слишком тяжел, но зато шея достаточно длинна, чтобы служить противовесом.

*24 августа*. После двадцати лет службы у г-на Перрена Филипп получил в сельскохозяйствен-

ном совете в Лорме медаль и сорок франков. Он пошел за ними пешком: тридцать пять километров туда и обратно. Сорок франков он давно проел и сам не знает, куда девалась медаль.

\* Куропатки взлетают так стремительно, словно их застигли на месте преступления.

\* К чему путешествовать? Природа, жизнь и история есть повсюду.

*27 августа.* Собрание в Лорме. Благородные профили реакционеров, у которых остался лишь один повод для гордости — богатство.

Красивы карусельные деревянные лошадки, которые проносят перед нами человеческие лица, сначала радостные, потом унылые.

Красив Фокар, аптекарь, который фотографическим аппаратом снимает праздник и сокрушается потому, что не получилось переднего плана.

Красив мосье Картье, из которого вышел бы превосходный сенатор. Но все они ничто против крохотного прудика внизу у леса.

*28 августа.* У меня тоже бывает резкая перемена погоды и мои собственные длительные периоды засухи.

*29 августа.* Деревня, залитая лунным светом, как мебель в чехлах.

*31 августа.* Муха, потирающая руки.

\* Даже когда меня разобьет паралич, я буду критиковать чужую походку.

\* Единственное, что я могу сделать, это урезать свои недостатки: приступы хандры, злобы, тщеславия станут короче.

Но, боюсь, эгоизм останется прежнего размера.

*3 сентября.* Ах, чертовка луна! Из нее так и прет поэзия!

\* Бог. Из скромности не смеет хвастать тем, что создал мир.

*4 сентября.* Мелочи жизни парализуют меня как плющ.

Я подобен охотнику, решившему стрелять только наверняка и усомнившимся в своей меткости.

*6 сентября.* Ненависть ко лжи убила во мне воображение.

Все-таки ремесло писателя единственное, при котором можно, не вызывая насмешек, не зарабатывать денег.

*10 сентября.* Часы, когда я, как рыба в воде, уютно устраиваюсь в бесконечности.

*11 сентября.* Написать о них социальный роман. Но крестьянин — не герой романа. О нем можно написать книгу, не роман. Чтобы говорить о крестьянине, нужно отказаться от устаревших формул. Не рассчитывайте, что вы можете вложить в его уста все благоглупости, которые говорят буржуа. Он их не вынес бы.

*12 сентября.* «Стиль — это человек». Этими словами Бюффон хотел сказать, что у него своя собственная манера письма и что именно ею он хотел бы отличаться от своего соседа.

\* Делать крестьянина материалом романа — это значит в какой-то мере оскорблять его нищету. У крестьянина нет истории, во всяком случае — нет романических историй.

\* При наличии силы воли можно добиться всего; но как, скажите, приобрести силу воли?

\* У меня парализована душа. Я мертв изнутри.

\* Вечер, человек везет на тачке мешок картофеля и свой жилет.

\* Эти записи — моя ежедневная молитва.

\* Бюффон сказал: «Стиль — это человек», — и у него были сотрудники, которые писали «под Бюффона» лучше, чем он сам.

\* Я научил молодых людей искусству рыбной ловли, но они не умеют выбрать рыбу по себе.

*14 сентября.* Когда он говорит: «Мораль — вещь относительная», — чувствуется, что он искренен и что этой формулой он, как губкой, стирает кучу своих собственных мелких подлостей.

О Филиппе он говорит: «Да, он пожить любит». По его мнению, все старые крестьяне непременно браконьеры.

\* Смотрю на свою фотографию, приколотую кнопками к стене, и тоскливо говорю про себя: «Бедняга ты! Бедняга!»

*15 сентября.* Учительница отказывает человеку, у которого сто тысяч франков капитала, потому что он похож на рабочего и потому что, как она говорит, она не может иметь мужа ниже себя по воспитанию; но ее письмо, в котором она корчит из себя аристократку, содержит четыре орфографических ошибки.

Сцена: он читает письмо и хохочет.

\* Когда я не оригинален, я просто глуп.

*17 сентября.* Не обязательно жить, но обязательно жить счастливо.

\* Рожденный вскапывать грядку в уголке сада, я хотел бы перелопатить всю землю.

*18 сентября.* Каждое мгновение я гасну и вновь разгораюсь. В моей душе целая груда обугленных спичек.

На мою беду, литература развила во мне болезненную чувствительность.

Возможно, я не так уж плохо вооружен, чтобы наносить удары, но плохо защищен про-

тив ударов. При первом же нанесенном мне оскорблении я сжимаюсь, и в этом моя гордость и мой вызов.

*Г-н у В а д е з у  
Кандидату на выборах в округе Кламси  
20 сентября 1906 года*

«Дорогой господин Вадез!

Благодарю вас за ваше письмо и за доверие, которое вы мне оказываете. Вы не ошиблись, причислив меня к вашим идейным сторонникам.

Для меня это вполне естественно.

Я не представляю себе реально возможной обособленную жизнь художника. Он может уйти от людей, но не от человечества. То будущее, которым поглощены наши мысли (именно наши), единственно достойно нашего волнения, нашей страсти.

Все люди, которыми я восторгаюсь, обращаясь к прошлому, были социалистами. Можно ли представить себе гениального человека равнодушным к всеобщему неустройству? Со стороны могло показаться, что они приспособлялись к своему времени, потому что нужно было жить. Но как часто, читая их, чувствуешь, как их сердце «разрывалось», говоря прекрасными словами Виктора Гюго.

Социалистом был Монтень, социалистами были они все — Лафонтен, Лабрюйер, и Мольер, и Бюффон (да, Бюффон), Виктор Гюго умер социалистом.

Моя любовь к Жоресу и восхищение им растут с каждым днем. Жорес — человек большого ума, прекрасный человек. Я не знаю ниче-

го более волнующего и более нового, чем его определение патриотизма. Он проявил мужество и чистоту.

Клемансо поет с фальшивого голоса Деруллада, впрочем, не без таланта, и, кажется, вполне этим доволен. Я считаю, что Жорес совершенно чужд личной заинтересованности и что он равен крупнейшим людям.

Итак, вы понимаете, что меня не удовлетворили бы мелкие комбинации радикалов, но я хочу остаться писателем. Если бы я даже был уверен или имел смелость думать, что могу быть полезен нашему делу, я все же отказался бы брать на себя обязательства. Нет, не слова меня пугают, и вы, дорогой Вадез, проявили в Шитри такое почтительное отношение к крестьянской собственности, которого у меня нет уже давно. Мне незачем вводить вас в заблуждение, создавать себе иллюзии.

Примкнув, я, пожалуй, сумел бы сказать только неприятное вашим друзьям, которым иногда не хватает кругозора.

Говоря так, я не питаю никакой враждебности к вашим методам: напротив, я уважаю ваш талант и смелость.

Вам должен принадлежать тот пост честного руководителя, который вы мне великодушно предлагаете.

Мне хотелось в этих нескольких строчках выразить со всей искренностью мою мысль.

Был бы счастлив поговорить с вами на свободе, если бы дела пропаганды завели вас в Шомо.

*Жюль Ренар».*

\* В нашей деревушке есть улицы, по которым я ни разу не проходил со дня первого причастия.

*22 сентября.* Мельничиха. Все делает сама. «Мал, мал, мал», — сзывает цыплят, «Би-би», — сзывает индеек. «Гуль-гуль», — сзывает уток, «Тю-тю-тю», — сзывает свиней. Все делает сама. При этом она ухитряется проявлять какую-то проворную любезность и всем своим видом будто говорит: «А ну-ка, поторопись! Мне пора к моей живности!»

Во дворе слышен стук ее сабо.

Она собственноручно готовит корм для свиней, хотя это исконная мужская работа.

Муж при ней незаметен. Похоже, что он спит всю свою жизнь под грохот мельничных колес.

Прислуги не держит, зато сама работает за четверых.

Фермерша, напротив, настоящий командир. Порядок, чистота, любезность хозяйки дома. Посуда до того блестит, словно ею никогда не пользуются. Она делает превосходное масло, и от покупателя нет отбоя. Одевается она хорошо, почти всегда ходит в черном. У нее есть дочь, настоящая барышня. Все она критикует. Знает, что стойла слишком тесны и там неудобно доить коров.

\* Христос был весьма талантлив.

\* Когда Фаге говорит: «Слушайте меня внимательно», — можно не сомневаться, что он собьется.

\* Красавец мужчина; будь он при этом еще немым, он был бы само совершенство.

*24 сентября.* Солнце встает раньше меня, зато я ложусь позже: значит, мы квиты.



*25 сентября.* Осень. Ветер дует в новом приступе злобы. Солнце заледенело на шиферных крышах.

Все колышется под ветром, за исключением быка, который щиплет траву, прочно упершись носом в землю.

Светлое пятно окна, через которое то и дело устремляются вдаль мои взоры.

Завеса скворцов опускается на изгородь.

Видели цаплю.

Ночь водворяется в лесу; она останется там и на день.

*26 сентября.* Осень. Пять часов дня.

Безмолвная и медлительная борьба солнца с сумерками.

Сумерки побеждают. Деревья стоят уже по пояс в тени, их верхушки еще купаются в свете. Там, на лугу, сверкают белизной быки.

Шифер лиловый, черепицы розовые или красные.

Солнце сдается и отступает к горизонту. Верх фермы словно охватило пожаром; скоро вода сумерек зальет огонь.

\* Если бы мы были чуть поостроже с нашими друзьями, они, став нашими врагами, не казались бы нам столь ничтожными.

*27 сентября.* Десять часов утра, — тот торжественный и благовонный час, когда лавровый лист, сельдерей, репа, тмин, петрушка, лук-порей, зубчик чеснока, луковица и две морковки, перерезанные пополам, объединяются в чугуне вокруг телячьей головы, завернутой в белую тряпочку.

*30 сентября.* Дворяне. Титул, военный чин, автомобиль, шлюха и поп, со всем этим они могут спокойно дожидаться падения республики.

*1 октября.* Осень. Преждевременная старость одних деревьев, хотя соседние, по-видимому их ровесники, стоят еще совсем зеленые.

*3 октября.* Прогулки. Идем в Шатийон через Сен-Сож.

Каждую минуту, стоит подняться на любой пригорок, Морван открывает взорам путника самые красивые свои склоны.

По дороге в Премри позади нищей старой хижины — поле, округлое, как половинка яблока. Хлеб только что сжали. Ничего не видно: но угадывается нечто прекрасное. Я толкнул калитку и поднялся до середины поля. Всего несколько шагов, но сразу ослепляет. Это красиво, все в движении, и шумит, как море.

Какого-нибудь коммивояжера все это не интересует. Он покупает почтовые открытки, где в стихах изложены легенды о Сен-Соже, обычно просто идиотские. Только поэт или святой должен обитать в этом домишке; а живет здесь старуха, думающая свои грустные думы. Я мог бы добавить, что она слепая, но это был бы слишком дешевый эффект.

Здесь, вокруг Сен-Сожа еще двадцать таких же пригорков.

Маринетта готова пуститься в путь с мешком за плечами. Нас обгоняют две прелестные дамы. Красивая женщина кажется еще красивее на фоне пейзажа, который ей к лицу. Куда они направляются? В какой-нибудь замок? Что у них на душе? О Природа, сделай так, чтобы они не болтали глупостей.

Нас, людей обыкновенных, то есть почти всех людей, этот великий, чуть ли не мучительный трепет лишь волнует, а из груди гениев он

исторгает великолепнейшие, ламартиновские возгласы...

Наглухо закрытый дом. Стена. Ни души, если не считать собаки, взгромоздившейся на стену. По вопросу о найме обращаться к собаке. Она вас и примет.

\* Убежден, что я, ленивец, умру в глубокой старости и разовью к концу жизни лихорадочную деятельность.

\* Наблюдать природу — да, согласен, но хранить при этом спокойствие, как охотник на тяге. Вещи боязливы. Наше волнение смущает природу. Маленькая вспышка нашего дурного настроения ее страшит. Достаточно слишком пристального взгляда, и жизнь замирает.

*4 октября.* До сих пор говорили о крестьянах, только когда хотели рассказать что-нибудь забавное. Теперь — хватит смеяться! Надо приглядеться к ним повнимательней, до самых глубин их несчастной жизни. Здесь нет места смеху.

\* Хромая женщина, — кажется, что при каждом шаге она попадает в лужу.

*6 октября.* По поводу самых классических описаний мы можем сказать: «Нынче пишут и получше».

\* Я страстно люблю французский язык, я верю всему, что нам говорит грамматика, и я упиваюсь исключениями, неправильностями нашего языка.

*8 октября.* Автомобиль живет кровью животных, встречающихся на дороге, особенно кур. Каждые пятьдесят километров подавай ему курицу.

\* Эта молодая особа уже проявила достаточно таланта. Она будет еще талантливее, если похорошеет.

*9 октября.* На рынке в Корбиньи я охотно ношу за Маринеттой сумку, полную капусты, шпината и салата, потому что я кавалер... ордена Почетного легиона.

*10 октября.* Капюсу все-таки трудно будет сохраниться в памяти потомства. Потомство чувствительно к стилю.

\* Глазунья: все эти маленькие солнышки на сковороде.

\* Толстяк несет свой живот как духовой инструмент.

*13 октября.* Взбешен потому, что его жена больна и ему приходится самому себя обслуживать; когда у него спрашивают о здоровье жены, он удивленно смотрит на спрашивающего, — кажется, будто он с нею даже незнаком.

*14 октября.* Публичный аукцион. Следовало бы устроить аукцион при жизни его матери и отдать ей вырученные за этот скарб гроши...

*15 октября.* Научное и художественное общество в Кламси. Нолэн, приехавший в своем драндулете, знакомит меня с другими. Самый старый член общества, с академической розеткой, весельчак, спрашивает:

— Как поживает Рыжик?

Сейчас он скажет:

— Раз среди нас есть водевилист и юморист, можно будет посмеяться...

*17 октября.* Невезение весьма досадная штука, но в везении есть что-то унижительное.

*19 октября.* Счастье — это значит быть счастливым; это не значит стараться уверить других, что ты счастлив.

\* Ренан, пожалуй, сильнее всех людей любил бога. Иной раз его чувственность благовоспитанного старого монаха меня бесит.

\* Старье! Старые письма, старая одежда, старые вещи, от которых не можешь отделаться. Как хорошо понимает Природа, что каждый год она должна заново менять листья, цветы, плоды и овощи и пускать на удобрение воспоминания прошлых лет!

*23 октября.* Следовало бы вести учетные карточки, отражающие их нищету. Все они нищие, но в разной степени.

\* Тополя осенью: два-три ряда свечей, которые не зажигаются ни днем, ни ночью.

*3 ноября.* Я более способен к добрым делам, нежели к добрым чувствам...

Верить в деревню — это значит ограничивать свою жизнь; это значит приписывать ей смысл, а смысла она не имеет. Пожалуй, просто глупо воображать, что мы по тем или иным причинам должны жить здесь, а не где-нибудь в другом месте. Продолжать дело наших отцов? Но какое? Они сами этого не знали. Лист прикреплен к ветке, и этой привязи ему вполне достаточно. Мозг — кочевник. Это не «малая родина». Это вынужденный приют бегства. Быть невесть где, никогда не чувствовать себя ни к чему прикованным, так, словно в некоей точке вселенной для нас отведено особое место. Так не будем же поддаваться гордыне! При первом же проблеске прозорливости мы увидим, что обманываем себя, и проникнемся глубокой жалостью к самим себе.

Не быть человеком, который смотрит на свою деревню через лупу.

Не будем забывать, что этот мир не имеет никакого смысла.

*4 ноября.* Филипп в отчаянии, что мы уезжаем. Он рассчитывал удержать нас до конца месяца.

\* Позже, когда я узнаю множество вещей, все, что я могу и должен узнать, я проведу последние четыре-пять лет моей жизни как школьный учитель: буду учить своих односельчан тому, что им неизвестно.

*5 ноября.* Куда деваются все непролитые слезы?

*9 ноября.* Ворон в лазури кивает крылом.

\* Я владелец прекрасного окна, выходящего на природу.

*19 ноября.* Таде Натансон мне говорит:

— Один господин хочет переложить на музыку кое-что из ваших «Естественных историй». Он из передовых музыкантов, на него возлагают большие надежды, и Дебюсси для него уже старье. Ну, как вы на это смотрите?

— Никак.

— Но вы все-таки тронуты?

— Ничуть.

— Что ему передать от вашего имени?

— Все, что вам будет угодно. Поблагодарите его.

— А вам не хочется послушать его музыку?

— Ох, нет, увольте.

*22 ноября.* Все люди видят приблизительно одни и те же вещи, но лишь художник умеет воссоздать их в памяти.

\* Друзья, которых очень любишь и о которых никогда не вспоминаешь.

\* Я не слишком тороплюсь увидеть будущее общество; сегодняшнее благоприятствует писателю. Его уродства, несправедливости, пороки и глупость дают пищу наблюдениям писателя. Чем лучше будут становиться люди, тем приторнее будет человек.

\* Капюс приезжает на своем автомобиле,

еще более огромном, чем у Гитри, если даже не считать разницы в их телосложении. Он во фраке и едет обедать в гости.

— У меня довольно нелепый костюм, — говорит он. — Сейчас сниму пальто и покажусь вам.

— А у кого ты обедаешь?

— У... у... Забыл... У каких-то Уссэ. Там будет бридж. Еду, чтобы поиграть.

Неизвестно почему он вдруг целует Баи и говорит ей:

— Ох, как же ты изменилась! Изменилась к лучшему. Странная вещь: пустячные недостатки юности или проходят с годами, или становятся еще заметнее.

У этого человека, пожалуй одного из самых остроумных во Франции, невыразительное лицо, пенсне, так как близорукость его угрожающе растет.

Когда он лжет, у него обнажаются клыки, — а обнажаются они часто.

С такой кукольной физиономией можно лгать сколько угодно. Быть может, он сам это знает, но по выражению его лица нельзя догадаться об этом. Просто у него слишком уж невыразительное лицо.

Я вслушиваюсь в его болтовню. Иной раз мне удастся распознать ложь благодаря другой лжи, которая появится лишь через десяток фраз, но и этот десяток промежуточных фраз — тоже ложь.

Иногда он лжет так очевидно, что я опускаю глаза.

Люди маленького роста ужасны. Не то что сам чувствуешь себя меньше в их присутствии, но они стесняют. При них как-то не по себе. Было бы невеликодушно их прерывать.

\* Пусть же те несколько монет, которые у меня есть, позволят мне презирать богачей и превозносить добродетели бедняков! Благодаря им я могу прокормиться и говорить все, что мне угодно. Сказал бы я то же самое, не будь у меня этих нескольких су, то есть необходимой независимости? Разве я торгую? Разве я обогащаюсь? Прибавил хоть одно су к имеющимся у меня? Нет. Я израсходовал бы их все на то дело, которое защищаю. Возможно, со стороны может показаться, что я живу как богач: тем хуже, если вы в это верите; но я проповедовал против богатых и за бедных; я служил бедным, а только это существенно.

\* Самые печальные минуты: когда решаешь, что мудрость лишь обман.

*27 ноября.* Вы прочли все, но они прочли ту книгу, которую следовало бы прочесть вам, которая даем им сознание превосходства и подчеркивает все прочитанное вами.

*29 ноября.* Мои книги так уже далеки от меня, что я сам стал по отношению к ним потомком. Вот мое твердое решение: никогда не стану их перечитывать.

\* Невидимые пальцы ветра закидывают на крышу клубы дыма, как шевелюру.

\* Маринетта будет главной в моей книге, я ей это сообщаю. Она отвечает: «Маринетта бессмертная», — и счастливо улыбается. Полагаю, что ей безразлично потомство, но не безразлично то, что я о ней думаю.

*1 декабря.* Летучая мышь летает со своим зонтиком.

\* Это тетрадь выкидышей.

\* Какой у вас делается замкнутый вид, как только я начинаю говорить о себе!



2 декабря. О Мопассане можно бы сказать, что он умер от страха. Небытие свело его с ума, убило. Нас небытие занимает меньше. К нему привыкли, и эта эволюция в нашей жизни есть литературная революция.

К чему так желать наслаждений? Не испытывать наслаждения тоже приятно, и это меньше утомляет.

Его биографы говорят: он был прежде всего писатель. Да нет же! Он хотел зарабатывать много денег, он обязательно каждое утро садился за работу, изводил себя и часто повторялся. Нам приходится самим отбирать.

Небытие не откликается. Нужно быть великим поэтом, чтобы заставить его зазвучать.

Напрасно он таил от нас свою жизнь: значит, он не был до конца писателем, ибо его жизнью объясняется его творчество, а сумасшествие, быть может, самая прекрасная его страница.

Издатель давал ему советы, подгонял его, направлял. Флобер бы этого не допустил.

Он презирал женщин, но есть только один действительный способ доказать им свое презрение: не спать с ними. А он только этим и занимался.

Он отказался от креста Почетного легиона, как человек, сознающий свое тщеславие и не согласный на малое. Будучи чиновником, он принял награду, ибо в то время его имя никому ничего не говорило.

Тэн назвал его: печальный бык. Он действительно был печальным от сознания, что он больше бык, чем великий художник.

Он смотрел недостаточно пристально. Слишком быстро и слишком рано заскучал. Было еще много интересного, что следовало увидеть.

*4 декабря.* Театр Антуана. «Юлий Цезарь». Быть может, в первый раз я чувствую Шекспира. И, быть может, потому еще, что я всегда любил Брута. О, смерть великого и честного человека, который не достиг своей цели! Один такой вечер окупает наше изучение классиков.

Образ у Шекспира менее литературен, чем образы Виктора Гюго, но более человечен. У Виктора Гюго случается, что видишь только образ: у Шекспира не перестаешь видеть правду, мускулы и кровь правды.

Подчас кажется, что слушаешь Расина. Перевод сделан ритмической прозой. Без рифмы: приходится мириться с потерями.

Шекспира нужно любить только очень поздно, когда пресыщаешься совершенством.

*5 декабря.* Вчера вечером читал «Юлия Цезаря». Читал его раньше и забыл. После спектакля у Антуана и после чтения я понял, почему не любил Шекспира. Быть может, больше, чем кто-либо другой из великих драматургов, Шекспир, чтобы быть понятым, нуждается в сценическом воплощении. Виктора Гюго достаточно читать, но на сцене ни одна его драма не захватывала меня так, как «Юлий Цезарь» Шекспира. Это значит, что Шекспир больше художник театра, чем Виктор Гюго.

Шекспира не открывают: открываешь самого себя; будишь в себе восхищение им, которое ранее дремало.

*10 декабря.* Рыжик. Я все же не посмел написать все. Я не рассказал следующее: как господин Лепик послал Рыжика к госпоже Лепик спросить, не согласна ли она развестись, и как отнеслась к этому госпожа Лепик. Ну и сцена!..

\* О своем счастье надо говорить осторожно и признаваться в нем, как признаются в воровстве.

\* Брюнетьер был уродлив, скучен, болел туберкулезом и не думал ни о чем, кроме работы. И все-таки утверждают, что одна женщина покончила из-за него самоубийством.

\* Он запретил произносить на своей могиле речи. Он знал, насколько они лживы, ибо выступал неоднократно в качестве оратора на похоронах.

\* Редактор журнала продержит вас час, объясняя, почему у него не нашлось времени прочитать вашу рукопись; этот-то час у него все-таки нашелся.

*11 декабря.* У хорошенькой женщины ухо может быть не столь деликатно, как орган речи. Она может выслушать грубые слова; но ей самой не следует их произносить.

*12 декабря.* Стремясь поведать другому наши мелкие делишки, мы способны забыть все на свете, даже собственное равнодушие к чужим бедам.

*14 декабря.* Справедливость существует, только мы ее не всегда видим. Она рядом, здесь, скрытая, улыбающаяся, чуть позади несправедливости, которая производит много шума.

\* Я просиживаю дни за своим столом, как заяц у своей норы. Размышляю и тоже боюсь-боюсь писать.

*16 декабря.* Надгробная хвала. И половины хватило бы покойнику при жизни.

\* Гитри, который умеет зарабатывать деньги, подписывает чеки на десять тысяч франков. Очень довольный своей удачей, он рас-

сказывает нам различные истории об английских клоунах.

Самая прелестная — о стакане воды.

Какой-то человек вбегает в ресторан с криком: «Стакан воды! Дайте стакан воды!» Все бросаются к нему: прислуга, официанты, метрдотель. В суете разбито и опрокинуто с пяток стаканов. Наконец он получает стакан и ставит в воду гвоздику.

*17 декабря.* Я достигаю того возраста, когда уже могу понять, как в свое время докучал моим старшим собратьям (Альфонсу Доде), к которым являлся с визитом и ничего не говорил о них самих.

*19 декабря.* До того независимо мыслящий социалист, что даже не боится роскоши.

Жеро-Ришар. И это социализм?

У двери два звонка. На какой из двух следует нажать, чтобы попасть внутрь? Меню с шампанским, за обедом прислуживают две горничные, свой собственный секретарь, из окон великолепный вид на Париж. А ведь за все это надо платить!

Властный толстяк, завидующий Жоресу, которому он предпочитает Бриана, — если говорить о министрах. Ни одного путного слова. Издает газету, чтобы всем угодить...

\* Катюль Мендес. «Святая Тереза» лучшее его произведение. Никогда он не подымался до высот прекрасного, но зато часто писал очень хорошо.

Лучший ученик Ростана.

Человек начисто лишенный оригинальности, но такой талантливый, что умеет сыграть на оригинальности других.

\* Сара Бернар уже не актриса. Это как песнь

деревьев, как монотонный звук музыкального инструмента. Превосходно, но к этому уже привыкли.

\* В самых простых вещах есть красота, есть то, что вызывает изумление: тебе остается лишь извлечь их на свет божий.

*20 декабря.* Агония года слишком затягивается. Уже 20 декабря ты печален, а 31 даже не замечаешь, что он умер.

\* Всякий раз, когда я хочу взяться за работу, меня отвлекает литература.

\* Мечта: мысль, которой нечем кормиться.

*22 декабря.* Пингвин — кончики крыльев торчат у него из жилетного кармана.

\* Маринетта. Когда после целого дня работы она слушает, что ей рассказывают дети, смотрит то на одного, то на другого, стараясь не упустить ничего, — она прекрасна, в ней есть что-то священное.

Она смотрит на них и одним взглядом охватывает всю их жизнь, которую она помнит во всех подробностях.

*27 декабря.* Я набредаю на замысел, будто гляжу на птичку: мне всегда страшно, что она возьмет и улетит, а прикоснуться к ней я боюсь.

---

1907

*1 января.* Я хочу быть примерным, очень примерным, работать как вол, ни о чем не думая. По правде говоря, чувствую, что все проходит, что конец уже вырисовывается вдаль, в тумане, и нужно пользоваться тем, что осталось. Если хочешь что-нибудь сделать — пора!

\* Да, да, сердце подобно саду. Всех приглашаешь: «Зайдите, прогуляйтесь!» Потом внезапно гонишь всех, как воров, и швыряешь в них палками, как в соседских кур.

\* Извозчичья лошадь так устала, что не желает идти вперед и тихонько, не сломав оглобель, садится прямо на мостовую; прохожий помогает ей подняться, но через двадцать шагов она снова садится.

*4 января.* Классика — это не обязательно то, что совершенно; это просто значит, что человеку время от времени удается сделать нечто прекрасное.

*8 января.* Опыт: полезный подарок, которым никогда не пользуются.

*12 января.* Господин Равель — автор музыки к моим «Естественным историям», чернявый, богатый и тонкий, настаивает, чтобы я пришел сегодня вечером послушать его сочинения.

Я признаюсь ему в своем музыкальном не-

вежестве и спрашиваю, что он добавил к «Естественным историям».

— Я и не собирался ничего добавлять, — говорит он, — я хотел интерпретировать.

— В каком смысле?

— Сказать средствами музыки то, что вы говорите словами, когда, к примеру, видите дерево. Я мыслю и чувствую музыкой, и мне хотелось бы мыслить и чувствовать то же самое, что и вы. Существует музыка инстинктивная, музыка чувств, как у меня — само собой разумеется, прежде всего надо знать свое ремесло, — и существует музыка интеллектуальная, музыка Энди. Сегодня вечером соберутся только такие Энди. Они не признают эмоций, не желают их объяснять. Я придерживаюсь противоположного мнения; но поскольку то, что я делаю, кажется им интересным, они меня признают. Для меня это крайне важное испытание. Во всяком случае, я уверен в моей исполнительнице: она превосходна.

*14 января.* Сдается гнездо. Вода и солнце на любой ветке.

*20 января.* В редакции «Мессидора». Жеро-Ришар говорит:

— Никто больше меня не принимал участия в различных конференциях, банкетах, забастовках. И, как видите, я вынужден теперь питаться одним только рисом.

— Вы прожили деятельную жизнь?

— Еще бы!

Рассказывает о двухнедельном тюремном заключении, но я позабыл подробности.

— Вы отсидели весь срок?

— Да. Но не жалеете меня слишком.

Он говорит о Жоресе и его невероятной

небрежности. Мадам Жорес красива, элегантна, а о белье мужа не заботится.

— У него больше двадцати моих сорочек, — сообщает Жеро.

Мадам Жеро сама штопала ему брюки. Жорес забывает все — зонтики, пальто. А его чемодан! Чего только там нет: его собственная шляпа, шляпка его супруги, ботинки, грязное белье и сыр. Чемодан не запирается. Жорес говорит: «Я все забываю его починить!» И заливается хохотом.

Жеро хотелось бы выпускать вечернюю газету вроде «Фигаро». Он может в течение года располагать ежемесячно суммой в двадцать тысяч франков, и кроме того, он придумал трюк, чтобы затмить конкурсы «Фигаро». А еще он решил каждому подписчику выдавать золотые часы.

Он хочет приобрести какую-нибудь безделушку на камин. Отправляемся в Лувр в отдел гипсовых статуэток. Он выбирает гладиатора. Но там имеется прелестная головка девушки, приписываемая Рафаэлю, — оригинал находится в Лилльском музее. Мастер чуточку навеселе, ему смешно, что он занимается коммерцией, и он говорит нам:

— Пятнадцать франков! Всего пятнадцать франков за шедевр.

Удивляется, что богачи не живут в окружении произведений искусства.

— Ах, это Микеланджело Моисея! — говорит Жеро.

И тут же поправляется:

— Да что я! Это Моисей Микеланджело.

А я и не заметил ошибки.

*23 января.* Что такое мыслитель? Пока он не



объяснит мне вселенную, плевать мне на его мысли.

*6 февраля.* Три недели назад я поздравил его с награждением. Сегодня вечером получил от него благодарственную телеграмму: должно быть, он узнал, что я выступаю еще и как критик.

*9 февраля.* Завтрак у Леона Блюма. Жорес приходит раньше других и, приткнувшись за столом, составляет план большой речи, которую произнесет сегодня в палате. Говорю ему, что много думал о нем прошлым летом и что прочитал все, включая и «Социалистическое действие». Это великолепно.

— Там все то же, — говорит он.

— Нет! Образы у вас обновлены, они достойны величайших поэтов. Говорю это только сегодня, потому что раньше не видел вас.

— Значит, сбываете свои сбережения?

— Это меня не разорит.

Он говорит о Робеспьере, которого считает великим человеком революции. Вышучивает Тэна, который Робеспьера не понимал и пытался доказать его ограниченность тем, что Робеспьер ел одни только апельсины. Он повторяет, что если бы люди французской революции не были убиты, они умерли бы сумасшедшими: так их сжигало напряжение.

На нем низкий твердый воротничок без запонки, черный поношенный галстук и потрепанный костюм. Руки у него грязные. Похоже, что он не умывался. Ест он с аппетитом, берет по две порции: кажется, ему все мало. Каждую минуту он шумно сморкается и плюет в платок.

Спрашиваю его, чувствителен ли он к оскорблениям.

— Нет, — говорит он, — когда не читаю их.

Однако он не устает вспоминать Гойе, которого сравнивает с птицей, севшей на дерево и вообразившей, что это дерево создано ею.

Говорит о своем патриотизме. Говорит, что разоруженная нация не может существовать: ей не хватит пронизательности, чтобы отличать у соседних наций искренность от лжи. Каждый миг слышалось бы: «Германия не сделала бы этого, будь мы вооружены». Он не верит в войну, не верит, что Вильгельм так уж хочет войны.

В палате с высоты моей галерки я вижу его манжеты...

*10 февраля.* Жорес. В его присутствии я испытываю нежность и восхищение. Хочется сказать ему: «Пойдемте к нам. Маринетта будет за вами ухаживать и позаботится о вашем белье. Одним больше, одним меньше...»

*12 февраля.* Жизнь. Понимаю ее все меньше и меньше, и люблю ее все больше и больше.

\* Молодым. Я хочу открыть вам одну истину, которая, возможно, будет вам неприятна, ибо вы ждете чего-то нового. Вот эта истина: человек не стареет. В отношении сердца это само собой разумеется; это уже известно, по крайней мере, в любви. Ну так вот, то же самое можно сказать про интеллект. Он вечно остается юным. В сорок лет, так же как и в двадцать, не понимают жизни, но знают это и признаются в этом. Это и есть молодость.

*19 февраля.* Поездка в Шомо. Природа насквозь промокла. У всех лица красные, словно кровь бросилась им в голову. Ходят греться то к одному, то к другому соседу.

Когда Филипп берет бумагу, у него трясутся пальцы. Мне хотелось говорить с ним тихо, а

приходится кричать, потому что он глохнет. Со стороны кажется, будто я сержусь.

Так холодно, что даже не слышно дурного запаха. Из печной трубы веет морозом, так что борода Филиппа покрывается корочкой льда.

Только неукротимый лук-порей, растущий в садике, никогда не мерзнет.

Единственно, где не замерзает вода — это в колодце.

Дерево, которое одной ногой уже стоит в могиле.

Тополь раскачивается на ветру, как огромная жердь.

Сорока — ворона в полутрауре.

Непонятно, как бы они могли прокормить своих детей, если бы им на помощь не приходила смерть.

Конечно, всем этим неплохо полакомиться, когда заходишь поглядеть на них от поезда до поезда. Они близки к природе, так же близки к земле, как их скот. Они живут безгласной жизнью порея, и только дивишься, как это они не замерзают.

*28 февраля.* Я люблю музыку, всякую музыку, и самую простую, и самую сложную, такую, которая милостиво разрешает нам думать о постороннем. Она напоминает мне, как раскачиваются голые тополя у нас в деревне, и речку, над которой по прихоти нетребовательного ветра движутся взад и вперед камыши, будто смычки в оркестре... Только с меньшим шумом.

Обычно считается, что прозаик далек от музыки: это неверно. Что останется от него без музыки?..

*4 марта.* Сколько актеров кажутся нам нату-

ральными только потому, что у них нет ни на грош таланта.

*18 марта.* Театр. Автор говорит критику:

— Лучше бы вы писали хорошие пьесы!

— И вы тоже, — отвечает критик.

*22 марта.* Театр. Мало того что они требуют от вас только комплиментов, они еще хотят, чтобы вы говорили только то, что действительно думаете.

Театр будет, возможно, обновлен лишь ничего не смыслящими в театре людьми.

*25 марта.* Неужели вы думаете, что низменная душа могла бы быть бессмертной?

*28 марта.* Старик. Слуга помогает ему надеть пальто. Какой-то звук срывается с губ старичка.

— Мосье плохо? — спрашивает слуга.

— Нет! Я пою, — отвечает старик.

\* Бог! Еще один тип, верящий в свое бессмертие.

*8 апреля.* Женщина. Деликатно жует кореными зубами, как лошадь, засунувшая морду в торбу с овсом.

\* Понедельник. Люди просыпаются. Первый день недели всегда отчасти похож на день рождения.

*10 апреля.* Не доверять принципам, приносящим много денег.

*16 апреля.* Рабле весел: он не остроумен.

*1 мая.* Люблю банальные цветы и изысканные комплименты.

*23 мая.* Молодой человек, лишенный таланта, — это старик.

*1 июня.* — Вот, — говорил Гюго. — Я выйду меж двух станов. Я подставлю грудь под пули. Меня убьют, и осада кончится.

— Для вас, — сказал Шолль.

*13 июня.* Прогуливаясь по саду, я опускаю глаза, чтобы не спугнуть птичку, которая вьет гнездо.

*25 июня.* Мы пришли в сей мир, чтобы посмеяться. В чистилище или в аду нам это уже не удастся.

А в раю хохотать неудобно.

\* Бабочки: ветер делает их из лепестков розы.

\* Они христиане, ибо считают, что их религия извиняет все.

*26 июня.* Смерть — нормальное состояние. Мы слишком много значения придаем жизни.

*10 июля.* Никто не страдает от того, что он глупее соседа.

*12 июля.* Что я называю чудом? Если птичка подлетит ко мне и скажет мне несколько слов.

*17 июля.* Куда труднее быть в течение недели порядочным человеком, чем героем в течение пятнадцати минут.

*19 июля.* Мигрень. Это как раз то, что Иисус Христос называл терновым венцом.

\* Я сорвал яблоко с дикой яблони и опустил одно су в шелку коры.

*20 июля.* Маленькие скромные птички, которые никому не показываются, перелетают невидимо для нас с куста на куст и, должно быть, даже не имеют названия.

\* Рожь, где куропатки проложили себе узкие улочки.

...Две огромные коровы, все в грязи. Непонятно, как из этой груды навоза может получиться белоснежный сыр? Рыжую зовут Гризетта. К цепи, надетой ей на шею, привязана палка, которая волочится по земле и не позволяет ей убежать. Это, возможно, весьма почетно, но неудобно.

*23 июля.* Все мы какой-нибудь стороной да не удались.

\* Они наблюдают за муравьями на протяжении целых трех томов, и они же удивляются, что я наблюдаю так пристально наших крестьян.

\* Гусь, который плавает с благородным видом.

*25 июля.* Я ищу жизни только в самой жизни. Она дает мне прекрасное, но строго его дозирует.

*29 июля.* — Молния, — заявляет Раготта, — может убить цыпленка в яйце.

— Может, если попадет в яйцо.

\* Гроза. Все кончено. Молния нас не заметила.

*30 июля.* Какой-то дурацкий закат солнца: нечто вроде колеса, завязнувшего в варенье.

*3 августа.* Видя аппетиты буржуа, чувствую себя способным обходиться самой малостью.

*4 августа.* Кошка спит под виноградной лозой. Наверху гнездо малиновки и трое птенчиков; если они будут суетиться, то непременно упадут на землю.

Кошка ждет.

*5 августа.* Старуха взяла себе за привычку приходить посидеть на лавочке. Вот и еще один персонаж, который разляжется во всю длину в моих книгах.

*7 августа.* Мне приходится давать вещам определенный срок, чтобы они могли разместиться в моей памяти, как произведения искусства на устойчивой консоли.

*10 августа.* Прогулка. Заглянул в поле, где мой крестный трудился на винограднике. Мой овес! Мой картофель!

— Какой ты богач! — говорит мне Маринетта.

И вот две куропатки бегом пересекают мои владения!

Родимый край именно это: время от времени минута умиления, но только минута.

\* Самая старая после Онорины.

Хлеб она получала из общины, и каждый из ее детей давал ей по пять франков в месяц.

После нее осталась дюжина новых рубашек, фартуки, сорок юбок, — холщовых, хлопчатобумажных и шерстяных. Большинство из них надеванные. А провизии! Кофе, сахар.

Ее дочка обходит всех, кто присутствовал на похоронах. Она говорит:

— Вот видите! Всего у нее было вдоволь, а она жаловалась на бедность. С нашей помощью она нужды не знала. Мы роздали все ее юбки. Все по одной получили.

При жизни старуха никому не давала ключей от шкафа.

Должно быть, стыдилась, что обкрадывает общину!

*11 августа.* Ясно представляю себе на площади у старого кладбища мой бюст с надписью:

*Ж ю л ю Р е н а р у  
его  
равнодушные  
соотечественники*

*19 августа.* Бескрайнее небо. Никогда облакам не удастся его заполнить.

\* Лучше не обращать внимания на правду; тогда она сама бросится вам на шею.

*22 августа.* Надо писать так, как говоришь, если, конечно, говоришь хорошо.

*4 сентября.* Я стараюсь сталкивать людей, чтобы они могли драться друг с другом вплотную.

\* Хочу все делать хорошо и желаю, чтобы хоть кто-нибудь это заметил.

*6 сентября.* Перед лицом прелестного осеннего пейзажа надо или быть, или чувствовать, или, на худой конец, считать себя немного больным.

*7 сентября.* Тружениц здесь хватает. Не все женщины бездельницы.

Вот эта берегла мужнины денежки, работая за служанку и за слугу. Вечно она была в дурном настроении, потому что ей никогда не удавалось сделать все, что она задумала.

От этого она и умерла.

Вот и еще одна, еле живая сидит, вернее, лежит на дорожном откосе. Все кончено! Сил у нее больше нет. Она говорит:

— Крестьяне слишком несчастны. Зачем они живут на белом свете?

Лицо у нее покорное, чуть ли не злое. Он работает укладчиком и неплохо получает. Она могла бы быть счастлива, но он пьет и колотит ее. Его заработков она не видит. И смирилась с этим.

Однако на последней полосе газеты она прочла объявление, и, возможно, к ней еще вернуться силы. Она решила принимать пилюли Пинка. Это ее последняя надежда. Как же лишить ее этого утешения?

А вот за этой я наблюдаю из своего сада, сидя на скамеечке. Сначала она копает картошку, по-мужски орудуя мотыгой. Потом хватается за косу и косит люцерну. Скошенной люцерной она набивает свой передник, потом, взяв корзину с картофелем в левую руку и придерживая правой передник за уголки, идет в дом, потом бежит и приводит корову, которая пасется на лугу неподалеку от их сада.



У нее двести пятьдесят с лишним кур, сотня уток, индюшки, свиньи. Она доит корову, держа при себе палку, и если приблизится бык, стучает его по голове, — бык только ее одну и боится.

Встает она раньше всех в доме, ложится позже всех, и если бы ей пришла в голову мысль присесть отдохнуть среди дня, она уже не смогла бы подняться со стула.

Никогда она не болтает зря. Ее спросят, она ответит, не прерывая работы. Целыми днями она носится, будто вот-вот грянет гром, и кажется, она играет у себя на дворе в горелки.

*10 сентября.* Театральный критик, уже не злой: справедливость в равнодушии.

*11 сентября.* Их жильё: деревянный ящик на двух колесах; издали кажется, что в нем полным-полно ребятишек. Везет его муж, босоногая и простоволосая жена следует за ним.

Так как по каналу плавают утки, жена останавливается, спрашивает детей:

— Ну, сколько здесь уток?

Ребятишки тянут головы, как птенчики из гнезда.

А муж говорит нежно и весело:

— Посмотрите-ка на птичек!

И мама шикает на уток: ш! ш! чтобы они поплавали; утята бьют крыльями, а малыши хохочут.

Как будто не лучше было бы поймать этих самых птичек, свернуть им шею и изжарить! Нищета старается забыться и развлечься.

*12 сентября.* Все люди рождаются равными. Назавтра — они уже не равны.

\* Как был бы прекрасен честный адвокат, который потребовал бы для своего подзащитного осуждения.

*16 сентября.* Поэт — как кузнецик. Одина-единственная нота, повторяемая бесконечно.

*18 сентября.* Приезжих больше всего восхищает в наших краях не я, а белизна наших быков.

*21 сентября.* Лицо, внезапно постаревшее от горя, походит на воду, которую морщит ветер.

*29 сентября.* Писатель, которого надо перечитывать как можно чаще, дабы исправить его недостатки, — это я сам.

*3 октября.* Театральный критик.

— Какая снисходительность!

— Ну и что же! Ведь и это своего рода заслуга.

Неискренние комплименты даются так же трудно, как правдивая критика.

*4 октября.* Театр. Подумать только, бог, который все видит, вынужден видеть и это!

К чему говорить правду по поводу искусства, в котором нет ни на йоту правды.

Разумеется, фальшивые персонажи могут говорить правдивые вещи.

*6 октября.* Политика должна была бы быть прекраснейшим на свете делом: гражданин служит своей стране. А в действительности она — самое низкое на свете.

*10 октября.* Каждый день я бываю ребенком, взрослым мужчиной и стариком.

\* Канарейка, которая может петь лишь в золоченой клетке.

*1 ноября.* Возвратившись в полночь после обеда у мадам Брандес, мы обнаруживаем в комнате консьержки, которая вышла нам отпереть, следующую записочку: «На сей раз вас избрали! Люсьен Декав, Октав Мирбо, Ж.-А. Рони».

*12 ноября.* Сегодня вечером первый обед Академии Гонкуров.

Я очень огорчился, когда мои крестные запретили мне произнести речь. Вы видите: я не приготовился. Я принес вам лишь свою глубокую и еще тепленькую благодарность. Молю, примите ее в таком виде, в каком я вам ее подношу.

Я горжусь тем, что попал в число наследников Гонкура. Надеюсь, что если бы он увидел меня здесь, он бы меня не проклял.

Зато я не так спокоен за Гюисманса. Я чувствую бремя этого нелепого наследия. Его острое и умное лицо еще больше обострилось бы, увидь он меня здесь. Он поглядел бы на меня, пожалуй, благожелательно, но загадочно улыбнулся бы.

Я мечтал об Академии: все о ней мечтают, но я никогда не надеялся, что буду избран.

Слишком значительная часть моей жизни отдана мечтаниям, даже, если хотите, лени. Надо будет последить за собой. Мне кажется, что я должен работать за двоих: прежде всего, конечно, за себя и для другого персонажа, который вдруг сделался мне дорог: для Гонкуровской академии. Буду работать, чтобы хоть немного сократить расстояние между мной и Гюисмансом, даже рискуя увеличить его. Буду работать, чтобы вы не раскаивались в своем выборе. Опубликовать в ближайшее время книгу, куда я постараюсь вложить то, что есть во мне не самого худшего, — вот чем я отблагодарю вас.

Мрачное видение Буржа, расплачивающегося с извозчиком. Потом Жеффруа, совсем бледный, будто его вот-вот начнет тошнить. Жюстен Рони, который зовет меня «новичком». Потом Энник: «Вы здесь у себя». Потом Рони-старший берет меня за обе руки:

— Мы речей не произносим, но я должен вам сказать, мы счастливы, что вы в наших рядах... Талант... Характер... Порядочный человек...

— Весьма тронут, — говорю я, пожимая руки Рони.

Сразу становится не так холодно. А холодно было. Надо было поговорить с Жеффруа, чью пьесу репетируют в Одеоне. В кабинете воняет. Но я не осмеливаюсь открыть окно.

Официанты не поднесли мне букет цветов.

Заказываем обед. Декав суетится, как дневальный. На следующий обед Мирбо заказал красную капусту, жигу с горошком. Здоровенный официант записывает меню.

Конечно, они не принимают нас всерьез.

Не явились Поль Маргерит и Леон Доде: один сбежал, другой уехал в провинцию делать доклад. Должен ли я казаться обиженным? На самом деле я ничего не замечаю.

Едим мы какую-то гадость. Почему мы обедаем как снобы? Да что там! Элемир Бурж, маленький, худенький, скрытный, бедный человек, наобедал на шестнадцать франков и сорок су дает на чай. Неужели же он еще сигару закурит, которая стоит больше двадцати су?

Жюстен Рони неизменно любезен и похож на Метерлинка.

Говорят о книгах, выдвигаемых на премию, называют «Заколдованную землю» Виньо, «Лотарингские земли» (чьи?) и «Обстоятельства жизни» (чьи?).

Я объясняю Жюстену, что такое Лабиш.

— Да, — говорит он. — Реализм хотел обойтись без остроумия и поэзии. И дорого за это расплачивается.

Мирбо рассказывает о войне семидесятого

года. Он весьма удручен, так как ему пришлось изъять из книги описание смерти Бальзака из-за дочери госпожи Ганской, а даме, голубчик, уже восемьдесят годков! Когда Мирбо пишет, он предельно ясен, а когда говорит, чувствуется какая-то сумасшедшинка. Впрочем, внушительный мужчина. Умеет рассмешить.

Я теперь понял: это наследники. Почти все они между собой на «ты». Речь идет о том, допускать до наследства такого-то или такого-то родича или нет. Мое появление — это нечто новое. Придется заниматься только литературой.

У Рони-старшего бухгалтерская голова. Это он ведет счета, заявляет, что сигары чересчур дороги, наизусть знает, сколько осталось денег.

Шесть обедов — по одному в месяц — в течение полугода. Неявившиеся академики платят свои двадцать франков. Из этих средств создается касса взаимопомощи.

— Это еще не принято статутом, — говорит Энник, — но вы должны быть в курсе дела. Только никому не говорите. А то все набросятся.

Если Гонкуровская академия, основанная в противовес академии Французской, совершит серьезную ошибку и ее распустят, капитал перейдет к Французской академии. Рони предвидит, что нас экспроприируют социалисты.

*6 декабря.* Второй обед Гонкуров, назначенный на 5 декабря. Леон Доде приходит с запозданием и жмет мне руку обеими руками. И тут же его зовут к телефону. Он так и пышет здоровьем. Он пьет красное вино, не разбавляя водой, и ест все подряд. Поначалу холоден, быстрые взгляды, потом постепенно воодушевляется.

Знаменитая красная капуста, заказанная в прошлый раз Мирбо, не имела особого успеха. Один лишь Декав старается, но оставляет больше половины на тарелке.

Мирбо рассказывает, как все холмики и косогоры бессильны перед его автомобилем. Сейчас он опять начнет рассказывать о войне семидесятого года, когда французы удирали с поля боя, а пруссаки давали примеры великодушия; но разговор заходит о Премии.

Кто-то сообщает, что Поль Маргерит получил пятнадцать тысяч франков за роман, проданный «Пти Паризьен» при посредничестве Виньо, секретаря Дюпюи. И Мирбо получил одно письмо от Пуанкаре, другое от Клемансо, все о том же Виньо. Леон Энник тоже, но этот застенчивый председатель нашел следующую формулу: «Ваш протезе остается моим кандидатом».

Мирбо предлагает Блюма.

— Вы, конечно, удивитесь, — говорит он, — очевидно, я буду в одиночестве.

Он отлично знает, что это не так. Доде не соглашается, а Жюстен Рони говорит, что не согласится Блюм.

Пускают по рукам лист для голосования. Забавно. Рамо получил три голоса, Виньо — три, Мозелли — три, автор «Маленькой Лотты» — женщина — всего один.

Почему Маргерит имеет право голосовать заочно? Будь он здесь, возможно, удалось бы на него воздействовать.

Один лишь Рони-старший да я делаем заметки. За обедом он сидит мрачный, Декав вышучивает его, но Рони не поддается. Он называет несколько имен, в том числе Башле-

на, но Жюстен заставляет его голосовать за Виньо.

И Рони-старший, чтобы прервать заседание, вытаскивает счета. Я понял, что у нас больше полутора миллионов и что наша рента останется неизменной на ближайшие девять лет. Леон Доде неистовствует больше всех, решаем обратиться к Клемансо, чтобы добиться прогрессивного увеличения ренты. Наши наследники будут иметь шесть тысяч, вот и все. Это довольно справедливо.

Последний тур проходит вяло. Мирбо колеблется. Я склоняю его в пользу Мозелли. И тут же сожаления, укоры совести. Если будут голосовать еще раз, Мозелли не пройдет. Он только потому и может пройти, что мы шестеро не хотим голосовать за Виньо.

Мы с Жеффруа требуем, чтобы в будущем году голосование проходило на двух заседаниях. Леон Энник говорит мне:

— Это почетное голосование, которое сохраняет некоторый «народный оттенок» нашей Академии.

Они считают, что в Париже нет хорошей говядины. Леону Доде привозят мясо из Турени, а Мирбо — баранину из какой-то другой страны, названия которой я не упомянул.

Бурж ужасающее ничтожество. Жеффруа болен и простонароден, еле дышит от восторга перед Клемансо, который совсем не платит ему тем же.

Сегодня утром ко мне явился юный кандидат и спросил, каковы его шансы.

— Все возможно. Как ваша фамилия?

Оказывается, это автор «Обезьяны Запада».

*10 декабря.* Не помню где, кажется во Фло-

ренции, Гитри стоял и смотрел на чью-то картину «Тайная вечеря». К нему подходит его спутница, смотрит на картину не отрываясь. «Из любезности, что ли? — подумал Гитри. — Или все-таки ее покорила красота?» Вдруг она говорит:

— Видишь кошку?

И в самом деле, у ног Иисуса Христа сидит на полу кошка.

\* Любовь, занимающая в жизни лишь небольшой уголок, занимает в театре всю сцену.

*17 декабря.* Написать книгу, где, сохранив форму «Паразита», окончательно разделаться с семьей: с папой, с мамой, сестрой, братом, женой и детьми.

*23 декабря.* Злость подтачивает. Берегитесь, не то хамы доведут нас до могилы.

*26 декабря.* Чтобы быть ясным, надо прежде всего самому иметь потребность в ясности.



---

## 1908

*3 января.* Одно только убеждение крепнет во мне: все зависит от работы. Ей я обязан всем, и она великий регулятор жизни.

\* Окно на улицу стоит любого театра.

*7 января.* Мне захотелось посмотреть на кого-нибудь, кто еще печальнее, чем я, например, на животных в зоологическом саду.

\* Каждый день в течение нескольких минут я бываю романтически настроен, но ни одна женщина не пользуется этим.

*8 января.* Если мои книги так же скучны художникам, как мне их картины, от души их прощаю.

*9 января.* Лакур путает энергию с живостью. Он танцует на руках, а ходить не умеет.

\* Писать для кого-то — это все равно что писать кому-то: сразу чувствуешь себя обязанным лгать.

\* Существует заранее предвиденная оригинальность, ее ждешь, она становится банальной и оставляет нас холодными.

\* Надо жить, чтобы писать, а не писать, чтобы жить.

*10 января.* Вольтер был превосходным дельцом, и этим объясняется, что от поэта, каким он себя воображал, ничего не осталось.

\* Тень живет лишь при свете.

*11 января.* Банкет в честь Гюстава Кана...

Госпожа Вера Старкова с чувством благодарит Кана от имени народных университетов. Но где здесь народ? Нам этот обед обошелся по десять франков. На эту сумму можно неделю кормить рабочую семью. Мы еще не умеем обедать «гуманно».

Народ нас не понимает. А мы понимаем его еще меньше.

*13 января.* Опасность успеха в том, что он заставляет нас забывать чудовищную несправедливость этого мира.

\* Вкус зреет за счет счастья.

\* Не следует думать, что леность бесплодна. В ней живешь столь же интенсивно, как заяц, который прислушивается.

В ней плаваешь, точно в воде, но чувствуешь, как тебя покалывают водоросли: угрызения совести.

*19 января.* Натуралисты, подобные Мопассану, немножко наблюдали жизнь и добавляли свое. Воображение, искусство довершали увиденное.

Мы же ничего не осмеливаемся переделывать. Мы рассчитываем, что сама жизнь добавит свое к жизни; если она не торопится, мы ждем.

Для них жизнь была недостаточно литературной. Для нас она достаточно прекрасна.

*23 января.* Третий обед Академии Гонкуров. Декав, Доде, Энник, Жеффруа, Мирбо, Рони и я. Трое гостей: Пуанкаре, нотариус и какой-то господин лет пятидесяти, который был консультантом при Академии; все твердят, что он очарователен, но за весь вечер он почти не открыл рта.

Нет ни Маргерита, ни Буржуа, но я заметил это, лишь когда уже ушел.

Если завести Рони насчет науки, Декава насчет Коммуны, Мирбо насчет Бурже, Жеффруа насчет его пьесы «Ученица» и Энника насчет неизвестно чего, то получается очень мило.

Пуанкаре немножко чопорен, немножко педантичен, как классный наставник, немножко бесполезен, как некто, кто уже даже не министр. Трудно привыкнуть, что есть люди высшей породы.

Поскольку Мирбо не желает садиться, я поневоле сажусь направо от Пуанкаре, на некотором расстоянии. У нас обоих недовольный вид. Кстати, нас даже не представили. Я считал, что он умнее. Чувствую, что злюсь. Говорю что-то незначительное. Этот господин не особенно любезен, да и я тоже. Говорю ему:

— Последний и единственный раз, когда мы обедали вместе, это на банкете у Гонкура.

Вот и все, что я нашелся ему сказать.

— Да, — говорит он, — в девяносто пятом году.

У него хоть память есть. Впрочем, возможно, он и ошибся.

Узнаешь немало интересного.

Теперь я знаю, кто такая мадам Крюппи. Жена министра, пишет романы, пьесы... Одну пьесу ставит Жемье. Она музыкантша. Прекрасно поет. Была бы еще больше на виду, если бы Крюппи стал министром просвещения, но Бриан возражает. Почему? Пуанкаре не объяснил. Должно быть, государственная тайна.

Мадам де Ноайль журналисты превозносят, но не пишут о ней. Это талантливая женщина.

— Она единственная женщина, которая не копирует мужчин, — говорит Рони.

— И единственная, — говорю я, — которая не боится быть смешной.

Доде очень мил. Он отнюдь не хочет казаться редактором «Либр Пароль». Так как он говорит, что Жорес велел вместо него, Доде, побить Жеро, Мирбо хвалит Жореса, а за ним и я тоже. Доде сразу сдается.

— Да, — говорит он, — Жорес очень мил.

Хвала Жоресу, видимо, смущает Пуанкаре.

Он говорит, что не знает всей правды о событиях, в которых участвовал сам. Речь — это документ, но речь может быть пристрастна. Историк, если он хочет, чтобы его читали, должен быть пристрастным. Документы он, допустим, не подделывает, но какова ценность этих документов!

— Я прочел все, что написано о Термидоре, — говорит Доде, — и не знаю, что такое Термидор.

Существует ли прогресс в области морали? Сильнее ли у нас, чем у наших отцов, то чувство, которое заставляет жертвовать личными интересами ради интересов общих?

— Нет, — говорит Пуанкаре.

— Значит, морали не существует? Что же тогда делать?

— Ничего, — говорю я.

— Да, — соглашается Пуанкаре, — и я никогда ничего не делал, никогда не осмеливался делать, и ничего не делаю потому, что не знаю, во имя чего я должен действовать.

Он утверждает, что известное количество писателей получает слишком большие пенсии. Но называет только покойников: Леконт де Лилля, Верлена.

Но тут встает Рони и в течение четверти часа говорит о научном прогрессе, объясняет, что дает нам перевес над нашими отцами, говорит о субстанции, о силе инерции, поскольку истинная материя есть пустота, а то, что когда-то называлось материей, есть лишь пауза между двумя пустотами.

Он цитирует Бергсона. У него вид очень сильного, очень славного человека. Его ум впечатляет.

— В сущности, — говорит он, — наши общие представления о мире более сложны, чем представления наших отцов.

— Просто мы нашли иные взаимоотношения ощущений, восприятий, — говорит Пуанкаре, — но что есть ощущение, если ничего не существует?

— И мы забываем, — говорит Доде. — Мы забыли. Мы не знаем, что думали греки. Все утеряно. Возможно, они пользовались инструментом более совершенным, чем наш. Мир создан забвением.

— А Рони, — замечаю я, — говорил четверть часа. И ни разу не произнес слова «мораль». В этом весь вопрос. С него мы начали.

— Человек не стал лучше.

— А не отправиться ли нам проверить, какого прогресса мы добились в области сна? — говорит Пуанкаре.

Мы расходимся по домам.

— Правительство законно, когда оно существует, — говорит Доде.

— Когда оно признано европейскими державами, — говорит Пуанкаре.

*28 января.* Я не люблю бывать в обществе, я прихожу всегда слишком рано и оттого чувствую себя уязвленным.

\* О нет, я не из тех, кому требуется ездить в Венецию, чтобы сильнее забилося сердце.

\* Бог, на которого нападают со всех сторон, обороняется презрением и не отвечает на нашу хулу.

*29 января.* Бернштейн говорит Форену:

— Но ваш Иисус Христос был евреем.

— Только из смирения, — отвечает Форен.

\* Пьеса с идеей, пьеса, где говорят идеи, а не люди. В конце концов, эти идеи могут интересовать нас даже больше, чем живые существа.

\* Я произвожу впечатление человека, живущего гармонической жизнью, а мне почти ничего не удалось сделать из того, что я хотел.

*30 января.* Лучше всегда молчать. Говоря, ничего не скажешь: слова или преувеличивают мысль, или преуменьшают. У одних наглости хоть отбавляй, другие стесняются, не договаривают...

*3 февраля.* В нескольких километрах над землей, должно быть, еще слышен ропот наших жалоб.

\* Каждое утро при пробуждении ты обязан говорить: «Я вижу, я слышу, я двигаюсь, я не страдаю. Спасибо! Жизнь прекрасна».

Жизнь такова, какой мы по свойству нашего характера хотим ее видеть. Мы сами придаем ей форму, как улитка своей раковине.

*7 февраля.* Я мог бы составить целый том писем, которые я написал и не отправил.

*11 февраля.* Быть может, трудно быть щедрым, — труднее не раскаиваться в этом.

*12 февраля.* Во время войны одному человеку пришлось съесть с голоду своего пса, и, окончив пиршество, он поглядел на обглоданные кости и сказал:

— Бедняга Медор! Вот бы он сейчас полакомился!

*20 февраля.* Твоя служанка, о Великий Мольер, все-таки зевала на твоём «Мизантропе».

Когда пожарный за сценой слушает, это значит, о Дюма, что твоя пьеса годна только для пожарных, и не более того. Если Марго плачет, а я не плачу, неужели же ты решишь, что мои слезы не стоят ее слез?..

*22 февраля.* Сорок четыре года — это такой возраст, когда человек перестает надеяться, что проживет вдвое больше.

Я чувствую себя старым и не хотел бы помолодеть даже на пять минут.

*26 февраля.* Ирония должна быть краткой. Искренность может позволить себе многословие.

*27 февраля.* Четвертый обед Гонкуровской академии...

— Все это слова! — говорит Бурж в ответ на мое замечание, что мне не терпится увидеть революцию.

— Нет, мосье Бурж, извините, это чувство...

А Барбюс? Жеффруа его книга не нравится, Бурж признает, что она талантлива, но он с трудом ее дочитал, Энник ничего не понял. Декав еще не добрался «до сути»; делает гримасу...

*28 февраля.* Жорес. Завтрак у Леона Блюма. Когда я вхожу, он спрашивает у Блюма данные о страховании, тот дает очень точные сведения.

Он уверен, что налог на доходы будет принят палатой, а в конце концов и сенатом, несмотря на оттяжки. Сенат, избранный голосами крестьянства, не может противиться.

Хочется плакать, когда видишь Жореса. Все

тот же пиджак сомнительной чистоты, тот же галстук и тот же воротничок, ботинки мягкие, вроде шлепанцев. Он живет один, сам открывает на все звонки и даже не обедает дома.

Он равнодушен ко всей пестрой коллекции своих врагов, потому что они безмерно глупы. И кроме того, он считает, что факты говорят за себя. В два часа ему нужно продолжать свою речь. Он как будто не думает об этом, но прежде чем засесть в душном парламенте, ему хочется пройтись пешком, и он уходит под проливным дождем... конечно же, без зонтика.

*6 марта.* Хочется поехать в Италию, особенно в Неаполь, поглядеть на Везувий! Ведь у меня тоже бывают время от времени свои изверженьица.

*12 марта.* Писать, всегда писать! Но ведь природа не производит непрерывно. В теплое время года она дает цветы и плоды, а потом отдыхает по меньшей мере шесть месяцев. Впрочем, и у меня такая же дозировка.

*27 марта.* Я люблю сам создавать себе неприятности.

\* Прочитав гнусную статью Леона Доде о Золя под названием «Мастер фекалий», пойду ли я сегодня в Гонкуровскую академию обедать вместе с Леоном Доде? Разве не должен я послать всю эту их Академию к чертовой матери? Да, должен бы — будь я богат...

*4 апреля.* Золя аморален! Да бросьте вы, он весь провонял моралью. Купо — наказан, Нана — наказана, все злые у Золя наказаны.

*14 апреля.* Вся эта буря, чтобы растрепать перышки на хвосте у воробья.

*15 апреля.* Знаю лишь одну истину: труд —



единственное счастье человека. Верю лишь в эту истину и все время ее забываю.

*16 апреля.* Легкий и твердый, как крыло, высеченное из камня.

\* Голубь взлетает, потом опускается на тоненькую веточку. Хлопая крыльями, он поддерживает ее, непрочную, на весу.

*2 мая.* Страус — гигантский цыпленок.

\* Старое дерево в цвету, чуть ли не в сединах.

*7 мая.* Сколько есть вещей, которые излишне затягиваются! Сколько радостей, которые долго не гаснут, а под конец обугливаются!

\* Мой мозг более непостоянен, чем царство облаков.

\* Я люблю порой всматриваться в бесформенные дали и находить в них, а затем выражать словами все, что есть там четкого и определенного.

*14 мая.* В политике искренность производит впечатление сложного и коварного маневра, искусного обмана.

*16 мая.* Булонский лес портит не кто иной, как богачи. И эти всадники, которые стараются, чтобы седло под ними скрипело погромче! И эти жалкие старики, которым хочется напоследок покататься на велосипеде!

Гувернантки сидят на скамейке с обязательной книжкой в руках, а шрифт слишком мелок. Они портят себе зрение.

Булонский лес, который мог бы исторгнуть у меня слезы радости, вызывает желание удрать в деревню и постараться больше не видеть Булонского леса.

Лишь немногие люди обладают умением глядеть на что-то прекрасное и при этом не

готовятся заявить: «Я видел нечто прекрасное»...

*23 мая.* Ростан. Герц облобызал его ноги после чтения «Шантеклера». Они закупили пьесу с правом постановки во всем мире и заплатили наличными четыреста тысяч франков.

*25 мая.* Когда человек докажет, что у него есть талант, ему еще остается доказать, что он умеет им пользоваться.

\* Преимущество пьесы в стихах: попробуйте ругать пьесу, где всякая глупость так мило зарифмована.

*26 мая.* Вид моего имени, напечатанного в газете, влечет меня, как аромат.

*6 июня.* Коппе очень точно выражал то, что видел, но он ничего не видел.

*9 июня.* Созидательная правда иллюзий — ее одну я и люблю.

\* В Шитри она считала себя очаровательной блондинкой. Она отправляется в Париж, видит прехорошеньких уличных девушек, смотрится в зеркала у магазинов и решает, что не так уж хороша. Вернувшись в Шитри, по наивности этого не скрывает.

— В Париже я не такая красивая, как здесь, — говорит она, — но думаю, что все дело в тамошних зеркалах.

\* Если бы я всегда вел себя с ними как литератор, это было бы смешно, но иной раз я бываю просто человеком, — и это мучительно.

\* Луна еще совсем одна на темно-синем небе, где нет звезд. Даже Венера в нерешительности.

Что ей сказать? А лаять я не умею.

\* Старой деве: «Я зову вас мадемуазель, а ведь, быть может, у вас целая дюжина детей».

17 июня. Люди боятся бога, он еще до сих пор не сумел их приручить.

\* Слава — это тот самый дым без огня, о котором так много говорят.

21 июня. Фраза должна быть лишь фильтром мысли, и ничем иным.

26 июня. В этом уголке земного шара, то есть в нашей деревне, представлено почти все человечество.

\* При одной мысли, что ты умерла, мне хочется тут же умереть. В один прекрасный день ты, вполне живая, найдешь меня мертвым.

Если бы я обманывал тебя с другой, я все время оглядывался бы на тебя.

Я любил тебя, как природу, я смотрел на тебя, как на прекрасное дерево, я вдыхал тебя, как изгородь в цвету, я лакомился тобой, как сливой или вишней.

Ты счастлива, когда на твое прекрасное лицо падают крупные, как в грозу, капли поцелуев.

1 июля. Маленький городок. Старая дама, ужасная ханжа, носит в кармане ключи от всех шкафов. Вышивает ковер: пресвятая Мария давит пятой змея. Как неловко будет, если ее служанка попадет вместе с ней в один рай!

\* Сорока — владелица всего луга.

5 июля. Истинный эгоист согласен даже, чтобы другие были счастливы, если только он принесет им счастье.

7 июля. Тщеславие — соль жизни.

31 июля. Ничто мне так не претит, как черновики моих рукописей. Они вроде яиц, которые еще не снесены, но уже раздавлены.

1 августа. Создать идеальную общину — прекрасно. Но из какого материала?

*12 августа.* Летучие мыши всегда летают так, словно находятся в четырех стенах.

\* Когда барометр показывает хорошую погоду, я не стучу по нему пальцем.

*26 августа.* Лишь в единственном месте я злюсь, когда спрашивают мое имя: в гостиницах.

*28 августа.* По своей природе я не наблюдатель, не иронист. Я плохо вижу, и мои реплики всегда точны, другими словами — бедны. Только потом все как-то образуется...

Я не только не наблюдателен, я боюсь наблюдать и нарочно стараюсь не делать интересных записей о своей семье.

Чем быть наблюдателем в собственной семье, лучше порвать с нею.

И лишь только пережевывая жвачку, я способен к иронии. Мне интересно только вспоминать.

\* Лабрюйер единственный, у кого любые десять строк, прочитанные наудачу, никогда не разочаровывают.

\* Ощущаю себя лишь на краю истины.

*29 августа.* Для того чтобы сделать самое крошечное добро, надо быть святым.

*21 сентября.* Очень театрально — то есть очень фальшиво.

\* Одни только успехи, а произведений нет.

\* Мечты — это мои удобрения.

\* Читал вчера вечером Тэна и Готье. Насколько Готье выше Тэна. Он владеет точным словом и нужного цвета. Он владеет всеми словами всех цветов и умеет их выбрать. Он не намекает, он рисует сразу. Тэн прилежен. Он действительно силен по части латинских сочинений, но потомкам это не очень по вкусу.

22 сентября. Тэну хотелось иметь впечатления о путешествиях, Готье их имел.

\* Критик — это отчасти солдат, стреляющий по своей роте или перешедший на сторону неприятеля — публики.

26 сентября. Живописать людей! Что это значит? Следовало бы живописать фон, но его не видно. Мы замечаем лишь внешнее. А ведь нет человека даже самого достойного, который своими словами, своим поведением и жестами не был бы чуточку смешон. Мы запоминаем именно эти смешные стороны. Неумолимое искусство не уважает добродетели, и, если верить искусству, получается, что жизнь прежде всего комична.

\* Крестьянин одним своим замечанием освещает всего человека до глубины души. Словно вскрывает его.

\* Мирбо — реалист, который трактует реальность бестактно, приемами чисто романтическими.

\* Не следует говорить о пьесе дольше того срока, который потребовался автору для ее написания.

\* Я любезен только с теми людьми, в превосходстве над которыми уверен.

12 октября. ... «Эмигрант» Бурже жалкая вещица, написанная романтиком, который ровно ничего не смыслит ни в театре, ни, увы! в прогрессе человечества.

Старик зритель аплодирует всему, что говорят на сцене офицеры: все, что говорит офицер, — правильно...

Какая-то женщина уснула на спектакле. Значит, есть еще порядочные женщины...

15 октября. Лицемерие может длиться осо-

бенно долго именно в дружбе. В любви мало одних слов: надо еще и действовать. Дружба долго может обходиться без доказательств.

*28 октября.* Образ, как микроб, угрожает стилю прозаика гибелью.

*30 октября.* Бывают минуты, когда все удаётся. Не пугайтесь: это пройдет.

*4 ноября.* Как-то Леон Доде пошел обедать в «Кафе де Пари» в нижний зал, где очень плохо кормят. Надеясь, что его лучше обслужат, он намекнул на свою принадлежность к Гонкуровской академии, но ее знают лишь на верхнем этаже...

*21 ноября.* О гнусные люди, которые присылают нам записки еще до того, как прочтут нашу книгу!

*24 декабря.* Для глаза, умеющего видеть, нет большого различия между прекрасным небосводом и старой печной трубой.

\* Я смотрел на крестьян как на природу, на животных, на воду, на деревья.

То, что я говорю о дереве, применимо ко всем прочим деревьям, но образ, который передает читателю мое впечатление, я нашел, рассматривая вот это дерево, а не другое.

---

1909

*1 января.* Я мог бы начать заново все мои произведения, если бы разжал тиски.

*5 января.* Никогда не решусь перестать любить Жюля Леметра. Даже мысль о том, что он расстреляет меня в один прекрасный день, не изменит моих чувств к нему. Почти все представители моего поколения ему обязаны, вернее, его благожелательной критике.

Из всего прошлого, которое восхваляет Жюль Леметр, я жалею лишь о нем самом. Я знаю цену этой критике; это критика — от общих идей, продолжение дела Дрейфуса. Я даже не подозревал, что быть дрейфусаром такая великая заслуга. Не знаю, мог бы я быть роялистом или нет. Я слышал, что герцогу Орлеанскому понравился мой «Паразит». Для настоящего писателя этого было бы достаточно, чтобы переменить политические убеждения, но я останусь дрейфусаром — с теми, кто верит — предвзято — в невиновность, против тех, кто провозглашает — предвзято — виновность...

\* Его считают человеком хорошего вкуса только за то, что он тренируется в пренебрежении к великим людям.

*23 января.* Счастливым свойством моей памяти: тут же забывать прочитанное.

*1 февраля.* «Из написанного». Перечитываю. Естественное — это любовь к правде. Воображение, чего ни коснется, — возмутительно фальсифицирует.

*9 февраля.* Вчера — смерть Мендеса, попавшего под поезд. Он, острослов, ненавидел иронию. Он признавал только иронию Куртелина, что, впрочем, нас устраивает.

Почему его смерть должна меня огорчить? Он всегда был ко мне безразличен. Он ставил в вину Ростану его небрежности.

«Передайте ему это, вы же с ним знакомы», — советовал он мне. Продуктивен — да, но не труженик. Тщеславие, столь необычное, что он не мог бы выразить его в стихах.

Рядом с ним ты мог почувствовать себя посредственностью; отойдя на несколько шагов, ты успокаивался.

Человек, для которого внешний мир не существовал.

Его разговор напоминал его манеру драться на дуэли: сотрясая воздух фразами, он открывал себя. А ты не смел кольнуть его репликой, зная, что проколешь насквозь.

В этом поэте было что-то от буржуа. Как все преуспевшие буржуа, он презирал маленьких людей.

Он верил в народ, он, никогда не видевший народа.

О нем говорили, что он красив как бог. Никто не решался сказать, что он красив как человек.

Можете склонить перед ним голову, но все-таки скажите: «Потому что он умер».

Стал знаменит силою плодовитости.

\* Мендес. Улица забита пришедшими на его



похороны. Каждый говорит о своих делах. Спрашивают: «Вы над чем работаете?»

Ришпен выступает «от имени поэзии». Капюс спрашивает, представляю ли я, каким я буду, когда придет моя очередь.

Ходят по могилам, сторож протестует.

— Неужели вы не понимаете? — говорит ему кто-то из нас.

— Я понимаю, что не следует ходить по могилам. Как только другие этого не понимают!

Указывают друг другу на сына Верлена, крепкого, дородного малого, начальника какой-то станции метро.

— Я слишком много работал для других, — говорит Капюс. — Думаю отныне проводить в деревне семь месяцев в году и работать для себя.

В Мендесе было все, что мне не нравится, все, чему я, быть может, завидую.

Капюс делает мне признание: он теперь с удовольствием читает руководства по грамматике. Давно пора!

\* Собрание в обществе литераторов. Мосье Блок, сотрудничающий в «Голуаз», пожелал быть представленным мне. По его мнению, моя «Раготта» — шедевр. Я не сразу нахожу, что ответить, и ограничиваюсь жалким:

— Так, значит, это вам понравилось! Благодарю вас.

Коолюс, Атис и еще кто-то сообщают мне, что преемником Мендеса в «Журналь» называют меня. Нозьер будто бы сказал: «Это великолепная кандидатура». Я храню молчание, дабы эти лестные для меня разговоры продолжались подольше; про себя же я твердо решаю не пускаться в подобную авантюру. Впрочем, полагаю, что Летелье вряд ли подумает обо

мне. Раз так, к чему эта скромность, хотя бы и ложная?

*16 февраля.* У Антуана. Чтение пьесы «Ханжа». Антуан опаздывает, и я успеваю пройти в зал, посмотреть кусочек «Андромахи». Зрители, приведенные силой, пустоты в рядах кресел. Бедный театр! Когда книжные лавки закрываются, он выступает огромным зловещим четырехугольником. Если бы не писсуары, разве стоило бы сюда заходить? Антуан извиняется, он очень вежлив, тон сердечный, теплый.

Я спрашиваю:

— Ну как тут идут дела, только совершенно серьезно?

И он с чудаковатой словоохотливостью рассказывает, чуть хвастая и противореча себе: «Четыреста тысяч франков долгу, никакой надежды погасить долг. Театр умер, публика на него плюет». Антуан решил не сдаваться. Вот тут он и умрет. Сколько раз уже ему приходила мысль: «Умереть бы от молниеносного удара, сгореть на пожаре!» Он не хочет переходить на бульвар, не так уж это весело... Если бы еще можно было перевести туда его Одеон. Эта мысль прельщает Клемансо и Бриана. Устроить Одеон, например, в помещении Гетэ, с тем чтобы два-три раза в неделю там было музыкальное кабаре. Но переходить на бульвар без Одеона — это значит сгубить все, что было достигнуто. Так и скажут: «Не вышло. Провалились. Где официальное признание?»

Чего он только не натерпелся, но все еще полон жизнерадостности. Хочет отомстить, сожрать, загрызть их.

— Я вел себя как болван, — говорит он. — Я старался ставить прекрасные пьесы. Это не дало

ни гроша, — где же справедливость! Ставил дрянь — ради денег — и тоже не добился успеха, — слишком хорошо поставлено!

На «Тартюфа» он израсходовал двадцать тысяч франков. «Андромаха» ему ничего не стоила, потому что он все взял на время у Сары, — но в этом театре прогораешь в любом случае. «Юлий Цезарь» — его бесспорная удача — дал десять аншлагов и на том кончился. Один только Трарье знает, что при переходе сюда со Страсбургского бульвара у него, Антуана, было триста тысяч долгу. Он решил, что в Одеоне этот долг удастся погасить, все спасти или подохнуть. Он окружен мерзавцами, но Бриан и Клемансо — выше похвал. Однажды ему понадобилось кому-то добыть орденочек, чтобы взамен получить сто тысяч франков. Клемансо это устроил и даже не спросил для кого. Кредиторы приняли в нем участие и отстояли против потока гербовой бумаги.

— Я не живу больше! Нигде не показываюсь. Так и сажу на тонущем корабле.

— Вы Бальзаковский персонаж.

— Ах, Бальзак! — говорит Антуан. — Я перечитал в «Цезаре Биротто» то место, где на него обрушивается лавина опротестованных векселей. Чертов богатырь этот Бальзак!

Он курит, курит, и снова:

— Я верю в справедливость, в то, что порядочным людям должна быть удача.

Стучатся — это секретарь явился сообщить:

— Господин Антуан. Пахнет гарью. Пока ничего не обнаружили. Пожарные ищут везде, из себя выходят. Требуют вас.

— Вот и развязка, — говорю я. — Пусть горит! Я остаюсь.

— Меня засадят, — говорит Антуан, выходя из кабинета.

Я смотрю на окна — не очень ли высоко. Он возвращается:

— Загорелось в уборной у Гретийя. Все-таки «Парижанку» в «Комеди Франсез» взяли: это моя победа. Что бы ни случилось, это, по крайней мере, останется. Все театральные директора прогорают. У Карре два миллиона долгу. Ваш Гитри кое-как держится. Если я арендую Амбигю, Жемье пропал...

Вдруг он говорит:

— Ах да! Вы ведь мне принесли пьесу?

— Нет! Я уйду, к чему вам моя одноактная пьеса.

— О нет! Читайте! Уверен, что это весело! Другого у меня ничего нет. Хоть раз поставлю то, что по душе.

— А вы думаете поставить?

— Конечно! Вот вам минеральная вода. Ведь вы, кажется, пьете эвианскую?

Я читаю прескверно. Антуан сразу веселеет. Когда чтение кончено:

— Тут у вас многое отчеканено, как медаль. Не хуже «Рыжика».

— Вы будете это ставить?

— Немедля. Успех верный. И я ничего не буду сокращать: все прозвучит...

\* Новая горничная Мари. Верит в тринадцатое число и не работает по воскресеньям. В тридцать восемь лет развитие тринадцатилетнего ребенка. Была замужем раз — с нее хватит.

Вспоминает только одно хорошее место — у испанского посла.

Ей пришлось работать в домах, где перевешивали кофе, а ей на обед оставляли одно крутое

яйцо, когда сами хозяева — люди богатые — обедали в гостях.

Съедает вчерашние корки. Вот уже год, как она не пробовала свежего хлеба. Застенчивая, эльзасское произношение, пришепетывает и каждый раз, когда проходит мимо кресла, извиняется.

\*Баррес — великий писатель, лучше всех знает французский язык, но что он хочет сказать? Он понятен, фраза за фразой, но из всей этой ясности получается туман...

*28 февраля.* Литература — это такое занятие, при котором надо снова и снова доказывать, что у тебя есть талант, людям, лишенным каких-либо талантов.

\*Вкус — это, быть может, боязнь жизни и красоты.

*4 марта.* Очередной обед в Гонкуровской академии — Рони, обзывая Виктора Гюго гениальным кретином, старается объяснить мне, что такое мыслитель и чем хороша игра ума: Кант, Бергсон, Пуанкаре. Но я стою на своем, я твержу, что в одном прекрасном стихе Виктора Гюго больше мыслей, чем в сотне книг метафизиков.

*20 марта.* Дождь, смешанный с каплями фортепяно.

*25 марта.* И вот анализ моей мочи, у меня белок. И аппаратиком, похожим на компас и хронометр, Рено измеряет давление моей крови, и стрелка отмечает двадцать. Это слишком много. Мои артерии, хотя они и очень гибки, бьются слишком сильно. Пора начинать записи о старости.

*7 апреля.* Надо бы написать книгу, которая была бы настольной книгой мыслящих молодых людей, а не просто книгой, дающей два часа наслаждения.

*19 апреля.* Два тощих поленца загораются друг от друга, как трубки двух стариков.

Расскажите свою жизнь, но пусть она будет чистой.

*20 апреля.* Как это ни комично, но моя репутация верного мужа укрепляет мою литературную репутацию.

*26-27 апреля.* Барфлер. Женщина с волосами, растрепанными морем.

Разочарование: мадам А., ничем не примечательная старушка, глядит на нас недоверчивыми маленькими глазками. Она обязательно хочет показать нам дом, в котором мы останавливались двадцать лет тому назад. Тогда он был лучше. От него пахло сосной, а нынче он пахнет коврами. Она обмещанилась. Альбом для открыток; портреты папы римского, рисунок пером и надпись: «Боже, храни моего жениха». Молодую девушку решили превратить в даму: пианино, скрипка, мандолина мужа, и ковры, и обои!.. И все это в полумраке. Мадам А. хочет услышать от нас, что она совсем не постарела...

Здесь жители. До чего же им безразлично, выходит окно на море или нет.

*3 мая.* Воспоминания о Барфлере.

Как трудно объяснить, что ты, собственно, делаешь!

— Значит, вы пишете?

— Все время.

Самое трудное — это объяснить так, чтобы поняли, почему лучшие вещи, наиболее отделанные, продаются, в сущности, дешевле прочих.

— Значит, вам для вашей работы не обязательно быть в Париже?

— Нет, напротив.

— Вы зарабатываете много денег?

Как сказать, что верно как раз обратное, и не обесчестить себя в их глазах?

— Ну, вот вы, скажем, торгуете рыбой, так?..

На третьей реплике меня прошибает пот. Чтобы как-то закончить разговор, приходится рассказывать о том, что само ремесло очень приятное, много свободы, и даже что зарабатываешь много денег. Добавляю, что я награжден орденом, являюсь членом одной Академии.

Орден, конечно, они сами заметили, но, не зная, как объяснить это обстоятельство, предпочли обойти его молчанием. Теперь они говорят увереннее:

— Ну что ж! Видно, вы себе пробили дорогу.

Академия их не трогает даже при сообщении о получаемых там трех тысячах франков.

— Вот, например, Ростан, о котором вы, вероятно, слышали.

Движением головы они делают знак, что слышали, но я читаю в их холодных взорах, что они не знают его совсем. Ну что ж, и в Барфлере можно пережить приятную минуту... По поводу моего «Паразита»... Теперь-то они его прочтут. И если я вернусь сюда, вытолкнут меня в шею...

*4 мая.* ...Все изнашивается. Даже образы, которые очень помогают, в конце концов начинают утомлять. Стилль почти без образов превосходен, но к нему приходишь через всякие ухищрения и крайности. Вот этого не понимают профессора литературы, они сразу стараются вас угасить. Гаснуть можно, но только если ты уверен, что можешь вновь заблестать, когда захочешь.

Прекрасный стилль не должен быть виден. А

Мишле только этим и занимается, поневоле изнемогаешь. Вот в чем превосходство Вольтера или Лафонтена. Лабрюйер слишком выделан, Мольер слишком небрежен.

Некоторые достигают сжатости только с помощью резинки: они выбрасывают нужные слова.

Писание должно быть как дыхание. Гармония вдоха и выдоха, с ее замедленными и учащенными ритмами, все естественно, — вот символ прекрасного стиля.

У тебя один долг перед читателем — ясность. Надо, чтобы он принимал оригинальность, иронию, буйство, — даже если все это ему не нравится. Их он не вправе судить. Можно сказать ему, что это его не касается...

\* Суинберн. Пробовал читать некоторые его стихи. Сомнения нет: они приторны. Не нахожу в этом ни силы, ни ума. Нахожу, что приторно. Скучно.

5 мая. — Ваше материальное положение должно быть лучше, вы это заслужили, — говорит мне издатель Пеллетан. И затем просит дать «Из написанного» за бесценок.

\* У Аликса.

В клетке, стоящей прямо на земле, птица, потерявшая все перья. Это родитель всех других птиц, — их здесь десятка два, — летающих в клетках. Отец их уже не может летать, и он весь покрыт пометом своих детей, настоящих детей.

8 мая. Кто прожил двадцать лет подряд в деревне, знает, что за деревня Париж.

\* Признаюсь, главная трудность для меня — сесть за работу. Но эту трудность я испытываю каждодневно.

15-19 мая. В Шомо. Мама. Ее болезнь, ин-



сценировка в кресле. Заслышав шаги Маринетты, ложится.

Минуты просветления. В эти-то минуты она особенно усердно играет комедию.

Она дрожит всем телом, потирает руки, щелкает зубами и говорит с блуждающим взглядом: «Что мне еще нужно сделать? Непременно нужно».

«Я буду работать. Когда работаешь...»

Берется штопать чулки.

Еще красивая старуха, лицо с резкими чертами, как у колдуньи или как у престарелой бродячей актрисы, вьющиеся седые волосы.

Когда ей дают спаржу, скармливает ее кроликам.

Женщины приходят на нее посмотреть, как воровки. У нее нет ни рубашки, ни простыни: она все раздала.

В конце концов она заявила: «Мне больше не нужны деньги».

Иногда она словно молодеет на тридцать лет, и мне кажется, будто оживают ее стычки с Рыжиком, ее хитрости. Но она говорит с притворной ласковостью:

— Ты меня бранишь? Да, ты резок со мной.

Захлопывает дверь перед носом Раготты.

Но Раготта говорит: «Меня мосье прислал».

Дверь отворяется.

Три состояния: просветление, расслабленность, настоящая болезнь. В моменты просветления это всегда мадам Лепик.

Посылает к нам Филиппа со словами:

— Не уезжайте. Я чувствую, что гибну.

Даже в ее манере задерживать ваши руки и сжимать чувствуется желание причинить боль.

24 мая. Прогулка в Шату. Вчера я видел

счастье. После целого дня удушающей жары — клумба с розами под струей, льющейся из лейки. «Да, да, это хорошо!» — говорили розы всеми своими лепестками...

На маленькой площади прямо над Сеной когда-то вешали. До сих пор еще сохранились ямы, куда вкапывали столбы виселиц. Повешенный виден был издалика.

Дома громоздятся друг на друга. Не сразу научаешься отличать голос одного колокольчика от другого.

Какая-то простая женщина очень веселилась. В большой пустой корзине она несет несколько травинок.

\* Именно так называемые «красивые» описания выработали во мне вкус к описаниям в трех словах.

\* Уверенность, что целомудренное человечество было бы неизмеримо выше.

\* Обед у Эдмона Сэй. Вандерем, Мирбо и мадам Мирбо. Политике и литературе в этот вечер не повезло.

— Клемансо ни во что не вникает, — говорит Мирбо. — Он только и делает, что унижает префектов. Не управляет людьми, а подкупает их. Купил Пато. Или, например, разрешил лотерею на миллион в угоду нужному человеку, уже не помню кому. Бриан самый умный из них, но всем им нужна роскошь, — говорит Мирбо. — Возьмите Вивиани: он помещан на мелких тарелках. Воруют в морском министерстве, грабят в военном министерстве, везде прохвосты, жулье. Нам приходится иметь дело с ужасными людьми. Неужели нет среди них пяти-шести честных? Ни одного.

Устав от политических разговоров, перехо-

дят к литературе. Чудовищная среда! Меньше денег, меньше сомнительных дел, но больше низости и подлости.

Эрвье был милейшим молодым человеком, а стал отвратительным дельцом. Он завел ложу для полиции, откуда следят за другими ложами. Конечно, от таланта ничего не осталось...

*31 мая.* Критики могли бы писать хорошо, если бы не старались отозваться лучше или хуже о произведении, лишь бы не сказать правды.

*5 июня.* Целомудрие, возможно, не добродетель, но оно наверняка сила.

*11-16 июня.* Шомо. Мама желает посмотреть, как кружатся листья в колодце, посидеть на краю. В стенном шкафу у нее что-то хранится, что она время от времени рассматривает. Блуждающий взгляд, вдруг подымается с кресла и идет в сад.

Тяжело смотреть на ее ноги с вздувшимися венами. Все такая же красивая, волосы с легкой проседью вьются.

\* Книга, которую хочется тут же пережить самому.

\* Влезаю на стул и, заметив старую истрепанную книгу, непременно беру ее.

*Август.* Мы хотим коллективизма, имея в виду соседний замок, а не наш собственный деревенский домик. Его мы оставляем в нейтральной зоне...

Последние слова, сказанные мне моей матерью:

— Ты скоро опять придешь? Спасибо, что не забываешь...

Не верю, что она нарочно бросилась в колодец. Она присела на край колодца, а перед тем говорила с каким-то прохожим. Она подвязыва-

ла цепь, и вдруг с ней удар. Она опрокинулась. Какой-то мальчуган, проезжавший на телеге, видел это. Служанка Амели услышала «бултых», заглянула в колодец и, увидев мать, лежащую на спине, закричала.

Ноги у меня как свинцом налиты, но я бегу, обгоняя других. Отбрасываю в сторону шляпу и роستانовскую трость. И наклоняюсь над колодцем.

Юбки держатся на воде, видна легкая рябь, будто утопили зверька. А лица не видно.

Я хочу спуститься в ведре, привязанном к цепи. Но цепь запутана. У меня нелепо длинные ботинки, и носки их загибаются на дне ведра, как рыбы хвосты.

Крики: «Не спускайтесь». Другой голос: «Ничего, это не опасно».

Наконец приносят лестницу. Я с трудом вытаскиваю ноги из ведра. Лестница слишком коротка. Одной рукой я стараюсь достать что-то уже мертвое, неподвижное. Голова осталась под водой. Юбка рвется. Я вылезая. Только промочил ноги. Представляю себе, на кого я был похож, когда выбирался из колодца.

Двое мужчин спускаются. Им удастся ее поднять и вытащить.

Над колодцем появляется лицо, на которое страшно глядеть.

Ее переносят на постель. Маринетта при ней неотлучно.

Слез нет. Я сдерживаю себя. Лучше так, чем делать машинальные жесты.

Провел ночь рядом с покойницей, как и у папиного одра. Для чего? Впечатление то же самое.

С точки зрения религиозной безразлично,

умерла ли она вследствие несчастного случая или покончила с собой. Если справедливо первое, виновата она сама, если второе — виноват бог.

Наша неуклюжесть в минуты страдания — вернейшая примета писательской души.

Какого-нибудь пустяка, например телеграммы от малознамого человека с «выражением сочувствия», достаточно, чтобы страдание вышло наружу.

Она не раз, шутки ради, наклонялась над колодезем, разглядывая влажно блестящие травы, становилась на край колодца, чтобы напугать Амели, вскрикивала, взмахивала руками, а когда Амели прибегала, говорила, что отгоняет соседскую курицу. Матери писателя-ирониста не подобает шутить.

Нет, конечно, это не было притворством, но я первый же подумал, что это притворство.

Рыжик:

— Черт возьми! Ты же требуешь правды, вот я тебе и говорю правду.

— Что верно, то верно. Очень интересно...

*16 августа.* Поверьте мне, у глупости свой особый запах. Даже если человек молчит.

*22 августа.* В десять лет я не мечтал, я просто хотел быть счастливым, счастливым каждый день. Не скрою, что вот уже двадцать лет у меня лучшая из жен. Мои другие мечты так и не осуществились. Возможно, этого не следует говорить, но именно благодаря ей временами мне казалось, что эти другие мечты почти осуществились.

\* Жизнь не длинна и не коротка: в ней есть длинноты.

*4 октября.* Правда зависит только от вооб-

ражения. Выбор правды — только от наблюдения. Поэт — это наблюдатель, который воссоздает по горячим следам. Лучшее доказательство: взглянув на человека потом, он уже не узнает его.

*27 ноября.* Почему позволяют писать критические статьи людям, которые не сдали даже экзамена по правописанию?

\* Усилие, которое необходимо, чтобы не поддаться чувству бурного волнения, поскольку знаешь, что оно неуместно.

\* Человек без сердца, не ведающий никаких эмоций, кроме литературных.

\* Нынче ночью вода покроеется льдом, как затягивается рана.

*5 декабря.* Даже по Ришпену, лиризм — это преувеличение, раздувание. Против этого восстал реализм; как всегда: действие и противодействие.

Романтизм отменил единство времени, места, но не характеров. Реализм отбрасывает все единства.

Романтизм хотел ввести лирику в театр. Реализм тоже, но он хочет насыщенной, правдивой лирики.

Слово существует только в силу того места, которое ему отводят. Лиризм с излишней легкостью удовлетворяется приблизительным, — отсюда столько холодных лириков.

Бальзак — не романтик!

Флобер — не романтик! Но госпожа Бовари его раздражала.

Детали — вот область побед реализма.

Все темы и вся жизнь.

Без сомнения, рабочий лиричен, буржуа также. Надо выбирать. Не вопить нужно — нужна

мера, страсть, управляемая искусством, французский вкус, раз мы во Франции.

Я ставлю в вину Шекспиру, что он не знал французского.

Но тем лучше: получается два прекрасных языка, и поэтому хочется изучить оба.

Золя — романтик. Самая прекрасная его книга — это его выступление. Можно сказать, что в этот день он наконец нашел свою дорогу.

Уже у Виктора Гюго был вкус к образу точному, математическому.

В некоторых случаях театр нуждается в поэтическом настроении.

Виктор Гюго — реалист, согласен. Он лучше всех схватывает истину. Необходимая ясность.

Уродство преобладает, так как жизнь отнюдь не прекрасна. Публика не понимает ни прекрасного, ни красивого. Любит ли она стихи? Да, когда они прозвучат из уст красивой актрисы или популярного актера, что, впрочем, то же самое, или когда их сопровождает музыка.

Каждый хочет нравиться публике или волновать ее, что опять-таки одно и то же.

Условности: в этом театр более велик, чем жизнь.

Публика путает правдоподобие с правдой.

Самая высокая лирика должна быть реалистична.

Будь у публики вкус к жизни, она не выносила бы театра. Я готов сказать, что в театре нет правды, или если он и подражает правде, то только самой грубой, обходя оттенки.

В общем, нужно создать произведение искусства, которое воздействовало бы на публику, не даваясь ей в руки.

Романтик смотрит на зеркальный шкаф и

думает: это море. Реалист смотрит на море и думает: это зеркальный шкаф. Но человек, мыслящий правильно, говорит при виде зеркала: «Это зеркало», и при виде моря: «Это море».

*10 декабря.* Я внук крестьянина, который сам ходил за плугом, и у меня на корнях еще осталась земля.

\* Солнце вяжет розовые облака спицами своих лучей.

\* Перед тем как умереть, я хотел бы объехать всю землю, побывать и тут и там. Да, но там у меня случилась бы очередная мигрень, и все пошло бы как обычно.

\* Роза и ее многочисленные корсажи.

Я болен и уже прибавляю к каждой фразе: «Если я буду жив».

Меня уже тянет гулять по кладбищам.



---

## 1910

*22 января.* Сердце у меня бьется, как засыпанный землей шахтер, который прерывистыми ударами дает знать, что он еще жив.

*26 января.* Снег на речке: тишина на тишине.

*1 февраля.* «Шантеклер». Кресла 131-е и 133-е в уголке. На «Сирано» и на «Орленке», на генеральных репетициях и премьерах у нас были места в первом ряду. Вот она, лестница славы!

Ростан равнодушен к литературе. Мы меньше всего его собратья: он нас не читает.

Искусственное удовлетворяет его настолько, что он им страстно увлекается, точно это истина...

*16 февраля.* Мечтателен, как кошка, разглядывающая на потолке светлый круг от лампы.

*22 февраля.* Сегодня мне исполнилось сорок шесть лет. Надолго ли меня хватит? До осени?

*23 февраля.* Маринетта плачет за нас обоих, а я, как могу, помогаю ей.

\* Юмор — это стыдливость, игра ума. Ежедневное нравственное и духовное омовение. Я придаю высокое моральное и литературное значение юмору.

Воображение может заблуждаться. Чувствительность опресняет.

Юмор — это, в конце концов, разум.

Меня не удовлетворяет ни одно определение юмора.

Впрочем, в юморе содержится все.

...Не потому ли, что я последним был принят в Академию Гонкуров, я выйду из нее первым? Странная закономерность.

Вчера Фантек выслушивал меня. Мы оба хохотали как сумасшедшие, когда он водил ухом по моей спине. Ему пришлось два или три раза начинать сначала. В легких — ничего. Сердце увеличено. Он слышит, как бешено пульсируют артерии. Я перестаю смеяться. Сын приговаривает отца.

\* Между моим мозгом и мною всегда остается пласт, через который я не могу пробиться.

*27 февраля.* В общем — конец. Я мог бы начать сначала, получилось бы лучше, но никто бы этого не заметил.

Лучше кончить.

*6 марта.* Мирбо встает грустным, а ложится в ярости.

*15 марта.* Тот, кто не страдает недугом угрызений совести, пусть и не помышляет о честности.

*6 апреля<sup>1</sup>.* Сегодня ночью я хотел встать. Тяжесть. Одна нога свисает с кровати. Затем струйка потекла вдоль ноги. Я решусь встать, когда она доберется до пятки. Высохнет в простынях, как когда я был Рыжиком.

---

<sup>1</sup> На этой дате кончается дневник Жюль Ренара, умершего 22 мая 1910 года.

## ПРИМЕЧАНИЯ

«Дневник» Жюль Ренара был впервые опубликован во Франции в Полном собрании сочинений, выпущенном издательством Бернуар в 1925—1927 гг. (*Les oeuvres complètes de Jules Renard*, Paris, Francois Bernouard.) Перевод избранных страниц из «Дневника» Ренара сделан по изданию: Jules Renard, *Journal* (50 ed), Paris, Gallimard.

Стр. 6. ...*гравюрами Буссо*... — Вероятно, Ренар имел в виду репродукции картин издательства Буссо и Валадона.

Стр. 14. «Гений христианства» (1802) — произведение французского писателя и политического деятеля, романтика Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848).

Стр. 16. «*Не рассказывайте моей маме, что я читал «Землю»*. — Имеются в виду натуралистические сцены, которыми изобилует «Земля» (1887) — роман из цикла «Рутон-Маккары» Эмиля Золя.

Стр. 19. *Беро Жан* (1849—1935) — французский художник-портретист и книжный иллюстратор, один из основателей «Национального общества изобразительных искусств».

Стр. 23. ...*на первом собрании Плеяды*... — Журнал «Плеяда» был основан в 1886 г., в нем печатались Морис Метерлинк, Рене Гиль, Сен-Поль Ру и другие авторы. Здесь говорится о втором периоде существования журнала, когда вокруг него группировались писатели, организовавшие журнал «Меркюр де Франс», в их числе Жюль Ренар, Рашильд и другие. Непосредственным продолжением журнала «Плеяда» и является основанный в 1889 г. «Меркюр де Франс».

Стр. 25. *Марпон-Фламарион* — книжное издательство, основанное в 1874 г., принадлежало Шарлю Марпону и Эрнесту Фламариону. В 1890 г. Шарль Марпон умер, и издательство возглавил Эрнест Фламарион.

Стр. 25. *Пленэр*, пленэризм (от франц. *plein air* — вольный воздух) — термин живописи, характеризует преимущественно пейзаж, создаваемый на открытом воздухе.

«*Скапены*» — то есть номера журнала «Скапен». Журнал был основан в 1885 г. писателем и публицистом Эрнестом Рейно. В 1886 г. во главе журнала стал Альфред Валлет. В журнале сотрудничали, в числе других, Малларме, Верлен, Рашильд.

Стр. 27. *Рашильд* (литературный псевдоним Маргерит Валлет; 1860—1953) — писательница и журналистка, автор статей о творчестве Жюль Ренара.

Стр. 28. *Баррес Морис* (1862—1923) — видный писатель и публицист, один из наиболее рьяных проповедников французского империализма. Поэтизируя «национальную энергию», проповедовал доктрину силы, военную диктатуру и т. п. Вдохновитель реваншистских и шовинистических кампаний, особенно в период дела Дрейфуса и в годы первой мировой войны.

Стр. 29. *Род Эдуард* (1857—1910) — швейцарский писатель, писал на французском языке. В своих многочисленных романах Род разрабатывал моральные проблемы. На мировоззрение Э. Рода оказал влияние Л. Н. Толстой.

Стр. 34. *Алексис Поль* (1847—1901) — французский писатель, связанный с натуралистической школой. Сборник новелл «Потребность любви» был издан в 1885 г.

Стр. 40. *Перечел «Сельского священника»*. — «Сельский священник» (1839) — роман Оноре де Бальзака.

*Высокомерная белиберда Барбе д'Оревилю*. — Барбе д'Оревилю Жюль (1808—1889) — французский писатель и литературный критик. Один из поздних представителей реакционного романтизма, д'Оревилю критиковал совре-

менную ему действительность с позиций эстетства, аристократизма. Его книга «О дендизме и Дж. Бреммеле» (1845), «Дьявольские лики» (1874) и другие произведения мистического и откровенно упадочного характера сделали его предтечей французского декадентства.

Стр. 42. *Стих Хосе-Мариа Эредиа или Леконта де Лиль...* — Эредиа Хосе-Мариа (1842—1905) и Леконт де Лиль (1818—1894) — французские поэты, входившие в литературную группу «Парнас». Группа получила свое наименование от заглавия сборника «Литературный Парнас» (1866).

Стр. 43. *Скюдери* Мадлен де (1607—1701) — французская писательница, автор галантно-аристократических романов, где под видом героев античности изображала дворянское общество своего времени.

«*Сикстина*» Реми де Гурмона... — «Сикстина» (1890) — роман французского писателя-символиста и литературного критика Реми де Гурмона (1858—1915), посвященный памяти Вилье де Лиль-Адана.

*Вилье де Лиль-Адан* Филипп Огюст де (1838—1889) — французский писатель, поэт, драматург, крупный мастер прозы.

«*Свободный театр*» — был основан известным французским режиссером и театральным деятелем Анри Антуаном (1858—1943), первое представление состоялось 30 марта 1887 г. В 1897 г. был создан «Театр Антуана», которым Антуан руководил до 1906 г. В 1906—1914 гг. Антуан — директор театра «Одеон». В «Театре Антуана» ставились пьесы Ренара «Рыжик» (1900) и «Господин Верне» (1903). «Рыжик» был также поставлен Антуаном в театре «Одеон» в 1909 г.

Стр. 44. *Ренан Эрнест* (1823—1892) — историк религии, семитолог и философ-идеалист. Ренан опровергал достоверность записей, касающихся его оценок и мнений, опубликованных в «Дневнике» Гонкуров. Известна печатная полемика между Ренаном и Эдмоном Гонкуром.

*Бринн Гобаст* Луи Пилат де — французский поэт,

журналист, секретарь писателя Альфонса Доде, преподаватель его сына Люсьена Доде, некоторое время был редактором журнала «Плеяда».

...о *грязной истории с украденной рукописью «Писем с моей мельницы»*. — В книге Леона Доде «Когда был жив мой отец» рассказывается о том, как некий молодой человек, временно замещавший секретаря Альфонса Доде, украл у него рукопись и продал ее Дешану, редактору журнала «Плюм». Последний использовал рукопись для написания пасквиля, в котором обвинял А. Доде в плагиате.

«*Битва за жизнь*» — драма в пяти действиях Альфонса Доде, впервые была поставлена на сцене театра «Жимназ» 30 октября 1889 г. Была опубликована в издательстве Кальман-Леви в 1890 г.

Стр. 45. «*Натянутые улыбки*» — сборник рассказов Жюля Ренара, который был напечатан в издательстве Лемерр в октябре 1890 г. за счет автора.

Стр. 46. *Гонкур*. — Здесь Ренар пишет об Эдмоне Гонкуре, авторе романа «Девка Элиза» (1877).

Жан *Ажальбер* написал по роману Э. Гонкура пьесу, которая была поставлена на сцене «Свободного театра» Антуана 26 декабря 1890 г., но 19 января 1891 г. была запрещена цензурой. Э. Гонкур безуспешно пытался снять запрет. Пьеса была разрешена к постановке лишь после смерти Э. Гонкура в 1900 г.

*Это я основал его «Чердак»*. — В доме Эдмона Гонкура, на его «Чердаке», ставшем впоследствии знаменитым, начиная с 1885 г. еженедельно собирались писатели: А. Доде, Золя, Гюисманс, братья Рони, Малларме, Сепар, Энник, Ренар и другие.

Стр. 47—48. *Банвиль* Теодор де (1823—1891) — поэт, драматург, прозаик и критик. Входил в группу поэтов-парнасцев. Автор романа «Марсель Рабль» (1891).

Стр. 49. *Генеалогическое древо Золя* — родословная семьи Ругон-Маккаров, историю которой Золя изобразил в своей двадцатитомной эпопее под тем же названием.

Схема «генеалогического древа» была помещена Золя в качестве приложения к роману «Страница любви» (1878), но позднее перенесена в последний роман эпопеи «Доктор Паскаль» (1893).

Стр. 53. *Я рассматриваю нескольких Домье* — то есть рисунки французского художника Оноре Домье (1808—1879), выдающегося мастера политической карикатуры, гневно обличавшего реакцию.

Стр. 57. *...история Лафитта*. — Лафитт Жак (1767—1844) — французский банкир. Существует анекдот о том, что богатство Лафитта началось с подобранной им булавки.

Стр. 59. *«Ее сердечко»* — одноактная пьеса в стихах Луи Марсоло, была впервые поставлена на сцене «Свободного театра» Антуана 21 декабря 1891 г.

*«Жиль Блас»* — ежедневная газета, основанная 19 ноября 1879 г. А. Дюмоном. Ренар сотрудничал в газете в 1891—1893 и 1903 гг. и в иллюстрированных приложениях к газете — в 1891—1896 и в 1898 гг.

Стр. 61. *...у Монье есть вещи позабавнее, чем «Эта свинья Морен»*. — Имеется в виду Анри Монье (1799—1877) — писатель, художник и актер, автор книги «Народные очерки» (1830).

*«Эта свинья Морен»* — новелла Ги де Мопассана, вошла в его сборник «Рассказы вальдшнепа» (1883).

Стр. 63. *Швоб рассказывает: — Мендес сказал... Надо привлечь его к нам*. — Мендес Катюль (1841—1909) и Швоб Марсель (1867—1905) — французские писатели, с которыми был близок Ренар, входили в редакцию литературных приложений к газете «Эко де Пари».

Стр. 72. *А дело Ремакля, значит, не движется?* — По-видимому, здесь подразумевается организованный журналистом и романистом А. Ремаклем сбор по подписке в пользу Верлена.

Стр. 74. *«Родриго, хватит ли тебе отваги», а также «Финикий, не забудь великолепье этой ночи»*. — Верлен здесь цитирует фразу из трагедии Корнеля «Сид» (1636), действие

I, явление V, и трагедию Расина «Береника» (1670), действие I, явление V.

Стр. 78. *Клодель* Поль (1868—1954) — французский поэт, эссеист и драматург; в 1893—1894 гг. был вице-консулом Франции в Нью-Йорке и в дальнейшем сделал дипломатическую карьеру. В начале XX столетия Клодель стал одним из наиболее известных поэтов Франции. Католическая мораль, которой руководится Клодель, выражена у него в отвлеченных, далеких от действительности образах и ситуациях.

Стр. 93. *Академические пальмы* — знак отличия, который давала деятелям культуры Французская Академия.

Стр. 97. *Мне это показалось гораздо хуже Алле...* — Алле Альфонс (1854—1905) — французский писатель-юморист, был довольно популярен в конце XIX в.

Стр. 104. *...вспоминаю Ваше ценное письмо по поводу «Кошки».* — «Кошка» — глава из книги Ренара «Рыжик».

Стр. 107. *Фавн Малларме кротко скользит...* — Малларме Стефан (1842—1898), известный французский поэт, один из теоретиков символизма, автор поэмы «Полдень фавна» (1876), отсюда возникло прозвище Малларме.

Стр. 119. *...великий Клемансо?* — Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический и государственный деятель, по образованию был антропологом, в 1865 г. он защитил при медицинском факультете Парижского университета диссертацию на тему «О возникновении анатомических элементов».

*Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — буржуазный политический и государственный деятель, по профессии адвокат. С 1893 г. неоднократно входил в состав французского правительства. В 1913—1920 гг. был президентом республики. Стремился к усилению империалистического могущества Франции.

Стр. 126. *Стейнлен* Теофиль Александр (1859—1923) — французский художник и гравер, мастер плаката и карикатуры, сотрудничал в социалистических изданиях, иллюс-



трировал семь произведений Ренара, которые были опубликованы в газете «Жиль Блас», известна также обложка работы Стейнлена к «Рыжику» Ренара (изд. Фламарион).

Стр. 146. «*Бургграфы*» (1842) — романтическая драма в стихах Виктора Гюго.

Стр. 148. *Леметр* Жюль (1853—1914) — известный французский литературный и театральный критик и драматург.

Стр. 152. *Умер Гонкур... Думал, что он мог иметь в виду меня...* — Эдмон Гонкур умер 16 июля 1896 года. По его завещанию, все состояние братьев Гонкур должно было стать фондом ежегодных денежных премий за лучшее художественное прозаическое произведение. Премии должно было присуждать жюри из десяти человек, которым, по завещанию, выплачивалась ежегодная денежная рента. Имя Ренара в завещании не было упомянуто. Первоначально в Академию Гонкуров вошли следующие писатели: Г. Жеффруа, Ж. Гюисманс, братья Рони, А. Доде, П. Маргерит, Л. Энник и О. Мирбо.

Стр. 169. *Манифест «натуристов»* — манифест, который подписали французские писатели: Буэль Эдмон (1876—1947), Фор Поль (1872—1960), Жид Андре (1869—1951), Ле Блон Морис (1877—1944) и Вандерем Фернан (1864—1939). Стремясь преодолеть эстетику символизма, натуралисты призывали поэтов черпать вдохновение непосредственно в природе. Манифест был первоначально опубликован в газете «Фигаро» 10 января 1897 г. Авторы его впоследствии пошли разными путями, в частности Андре Жид стал рьяным проповедником аморализма сначала в искусстве, потом и в политике.

Стр. 172. *Справочник Боттена*. — Имеется в виду ежегодный справочник «Весь Париж».

*Суза, Моклэр добиваются своего...* — Суза Робер (1865—1946) — французский поэт-символист и литературный критик. В 1896—1898 гг. издавал «Альманах поэтов», в котором сотрудничали видные поэты того времени. Моклэр Камиль

(1872—1945) — французский писатель и критик. Один из основателей театра «Эвр».

Стр. 173. *«Характеры»* — «Характеры, или Нравы нынешнего века» (1688) — книга выдающегося французского писателя Жана Лабрюйера (1645—1696), содержит характеристики, афоризмы и диалоги. Лабрюйер с поразительным мастерством изобразил нравы своего времени.

Стр. 188. *Генеральная репетиция «Дурных пастырей»*. — «Дурные пастыри», пьеса в пяти действиях французского писателя, прозаика и драматурга Октава Мирбо (1848—1917), впервые была поставлена в декабре 1897 г. в «Театр де ля Ренессанс» Сарой Бернар и Люсьеном Гитри.

Стр. 196. *Фор Феликс* (1841—1899) — французский политический и государственный деятель, был президентом Французской республики (1895—1899). В дни Коммуны поддерживал белый террор. Во время дела Дрейфуса был на стороне националистов. К нему Золя обратил свое открытое письмо в защиту Дрейфуса «Я обвиняю!».

Стр. 197. *...быть принятой у господ Грефюль* — то есть в аристократической среде. Семья Грефюль состояла в родстве с знатнейшими фамилиями Франции.

Стр. 199. *«Мертвый город» Габриеля д'Аннунцио* — трагедия в пяти действиях итальянского писателя-декадента Габриеля д'Аннунцио (1864—1938). Пьеса была переведена на французский язык Жоржем Эрлем и впервые поставлена во Франции Сарой Бернар на сцене «Театр де ля Ренессанс» 21 января 1898 г. Под этой же датой в «Дневнике» Ренара сделана запись о посещении им премьеры.

Стр. 201. *Бауэр, социалист-буржуа...* — Имеется в виду Анри Бауэр (1851—1915) — литературный и театральный критик и драматург. Участник Парижской коммуны, Бауэр после поражения Коммуны был выслан в Новую Каледонию. Однако по возвращении во Францию в 1880 г. Бауэр отошел от прогрессивного движения и стал сотрудником реакционной газеты «Эко де Пари».

Стр. 203. *Рошфор* Анри (1830—1913) — видный французский публицист. После поражения Коммуны Рошфор был сослан в Новую Каледонию. Вернулся в Париж лишь в 1880 г. Вскоре по возвращении во Францию Рошфор перешел в лагерь реакции и во время дела Дрейфуса был на стороне антидрейфусаров.

...если «Фигаро» не примет в спешном порядке имя «Бартоло», тень Бомарше обязательно надерет ему уши.— Намек на то, что редакция газеты «Фигаро» переменяла ориентацию и стала органом клерикалов. Бартоло, один из героев трилогии Бомарше о Фигаро, олицетворяет собой тип лицемера, ханжи.

...я стыжусь быть подданным Мелина. — Мелин Жюль (1838—1925) — французский политический и государственный деятель, председатель совета министров Франции (1896—1898), во время дела Дрейфуса поддерживал антидрейфусаров.

Стр. 207. *Лоти* Пьер (1850—1923, псевдоним Жюльена Вио) — офицер французского флота, французский писатель, член Французской Академии, автор многочисленных романов о приключениях европейцев в колониальных странах, а также многих описаний путешествий. Лоти изображал действительность угнетенных колониализмом стран как «экзотику», а самих колонизаторов — как носителей цивилизаторской миссии.

Стр. 208. *Братец Ив* — намек на роман Пьера Лоти «Мой брат Ив» (1883) из жизни французских моряков, где отношения офицера и матроса Ива описаны в духе патриархальной идиллии.

Стр. 214. *Ребель* Гюг (псевдоним Жоржа Грассалья; 1867—1905) — французский поэт и романист, входил в группу писателей, объединившихся вокруг органа символистов «Ревю Бланш».

Стр. 223. *Пайар* Луи — сын врача из Корбиньи (Ньевр), сотрудничал в газете «Журналь де ля Ньевр» и состоял с Ренаром в длительной переписке.

Стр. 238. *О Поле Адане. После каждой его фразы следовало бы легонечко ударять в барабан.* — Адан Поль (1862—1920) — французский писатель; творчество его проникнуто национализмом. В романе «Сила» (1899) проповедует необходимость военной диктатуры.

Стр. 240. *А Жервекс, а Детайль!* — Жервекс Анри (1852—1929) — французский художник, из окружения Ренуара. Детайль Эдуард (1848—1912) — французский художник-баталист.

Стр. 247. *Прочел в «Ревю Бланш» последнюю главу «Записок сумасшедшего».* — «Записки сумасшедшего» (1838), раннее автобиографическое произведение Флобера, было опубликовано впервые после смерти писателя (1900).

Стр. 251. *«Могу ли я, — говорит он (Леон Блюм), — подписать «Новые разговоры Гете с Эккерманом»...* — Блюм Леон (1872—1950) — французский политический деятель, лидер правых социалистов, свою деятельность начал как литературный и театральный критик. «Новые разговоры Гете с Эккерманом» — книга Леона Блюма, вышла в 1901 г. анонимно в издательстве «Ревю Бланш».

Стр. 263. *...«Последний сноп» появится в феврале 1902 г...* — «Последний сноп» — сборник текстов Виктора Гюго, опубликованный после смерти писателя, в 1902 г., Полем Мерисом в издательстве Кальман-Леви.

Стр. 264. *«Бюбю с Монпарнаса» (1901) — роман французского писателя Шарля-Луи Филиппа (1874—1909), где рассказывается о тяжелой судьбе цветочницы Берты, которую нищета доводит до проституции.*

*Александр Натансон говорит мне: — Мы хотим, чтобы вы издавались у нас.* — Александр Натансон (1866—1935) — издатель, редактор и один из основателей журнала «Ревю Бланш». Ренар печатался в журнале «Ревю Бланш» в 1893—1898 гг.

Стр. 267. *«Гораций» в «Театр Франсе».* — Речь идет о постановке трагедии Пьера Корнеля «Гораций» (1640).

Стр. 270. *Батайль* Анри (1872—1922) — французский драматург и поэт.

Стр. 275. *Кларти* Жюль (1840—1913) — французский романист и драматург, в 1885—1913 гг. — директор «Комеди Франсез».

Стр. 293. *Тринадцать дней*. — Имеется в виду воинский сбор.

«*Игра любви и случая*» — самая популярная комедия Мариво (1730). Ренар приводит цитату из действия II, явления XII.

Стр. 303. «*Господин Верне*» — комедия в двух действиях по повести Ренара «Паразит». Впервые была поставлена на сцене «Театра Антуана» 6 мая 1903 г.

*Грене-Данкур* Эрнест (псевдоним Эрнеста Грене; 1854—1913) — французский драматург, автор популярных водевилей.

Стр. 317. *Сто тридцать восемь тысяч читателей прочли мою «Старуху»*. — Рассказ Ренара «Старуха» был напечатан в первом номере газеты «Юманите» (редактор Жан Жорес) 18 апреля 1904 г. Ренар печатался в «Юманите» между 18 апреля и 11 декабря 1904 г. Всего в «Юманите» было напечатано одиннадцать рассказов и очерков Ренара. Весной 1964 г. в номере, посвященном 60-летию центрального органа Французской коммунистической партии, каким «Юманите» является с 1920 г., вновь был помещен этот рассказ Ренара.

Стр. 325. *Шомье* Жозеф (1849—1919) — французский политический деятель, сторонник отделения церкви от государства, занимался вопросами реформы школы.

*Он действительно написал письмо Деруледу*. — В 1904 г. французский писатель и реакционный политический деятель, монархист Поль Дерулед (1846—1914) написал Жоресу, в связи с его речью в палате депутатов, оскорбительное письмо. Жорес ответил Деруледу и вызвал его на дуэль. Дуэль состоялась и закончилась благополучно для обоих противников.

Стр. 332. *Женщина — это легкомыслящий тростник*. — Здесь Ренар пародирует известное изречение «Человек —

это мыслящий тростник» Блеза Паскаля (1623—1662) — великого французского математика, мыслителя и писателя.

Стр. 335. *Вивиани* Рене (1863—1925) — французский политический и государственный деятель, лидер правого крыла социалистической партии.

Стр. 343. «*Ла Патри*» — ежедневная газета, основанная в 1841 г. Пажесом. В 1892 г. ее возглавлял Жюль Жалюзо. В годы дела Дрейфуса «*Ла Патри*» была органом антидрейфусаров.

Стр. 347. *Марокканские события...* — В 1905 г. Германия угрожала Франции войной в случае, если Франция, договорившись с Испанией, установит свое влияние над частью марокканской территории. В 1906 г. Альхесирасская конференция формально подтвердила независимость султана и целостность Марокко.

Стр. 364. *Общество писателей.* — Здесь Ренар имеет в виду «Общество драматических писателей и композиторов», организованное в 1901 г., членом которого Ренар состоял. Далее Ренар перечисляет членов Общества, присутствовавших на заседании 1 декабря 1905 г.

*Ришпен* Жан (1849—1926) — французский писатель, поэт и драматург, член Французской Академии.

*Карре* Мишель (1865—1945) — французский драматический писатель, автор либретто и киносценариев, сын драматурга Мишеля Карре (1819—1872).

*Прево* Марсель (1862—1941) — французский писатель, член Французской Академии, автор романов из светской жизни и на темы эмансипации женщин.

*Капюс* Альфред (1858—1922) — французский драматург и журналист. Автор статьи о сборнике Ренара «*Буколики*» в газете «*Эко де Пари*» от 2 июня 1898 г.

*Бернар* Тристан (1868—1947) — французский писатель, драматург, близкий друг Ренара.

*Эрвье* Поль (1857—1915) — французский писатель, драматург, член Французской Академии.

Стр. 365. *О Тристане Бернаре* — письмо Ренара членам

«Общества драматических писателей и композиторов» в связи с намечавшимся исключением Тристана Бернара из Общества. Устав Общества предписывал всем его членам отдавать свои пьесы только в театры, заключившие конвенцию с Обществом об отчислении авторам пьес определенного процента со сбора. Тристан Бернар нарушил этот пункт устава, за что был исключен из Общества 20 декабря 1905 г., но восстановлен 5 ноября 1906 г.

Стр. 368. *Франье* Леон (1863—1950) — бытописатель бедноты, ряд его книг посвящен изображению французской школы.

Стр. 381. «*Независимые художники*». — «Общество независимых художников» было основано в 1884 г. в Париже в ответ на очередную попытку жюри Салона не пропустить в Салон все то, что представлялось неприемлемым с академической точки зрения.

Стр. 382. «*Пуантилизм*» (от французского глагола *pointiller* — рисовать точками) — течение во французском искусстве, связанное с импрессионизмом.

Стр. 396. «*Стиль — это человек*» — известный афоризм французского писателя и естествоиспытателя Жоржа-Луи Леклера Бюффона (1707—1788) — из его речи при избрании его во Французскую Академию (27 августа 1753 г.).

Стр. 398. *Вадез*. — Письмо Ренара кандидату на выборах в округе Кламси Вадезу от 20 сентября 1906 г. было опубликовано исследователем творчества Ренара Леоном Гишаром. Включено в настоящее издание «Дневника» составителем. Печатается по изданию: R e n a r d J., Correspondance, introduction et notes par L. Guichard, Flammarion, P. 1954.

Стр. 415. ...*музыка Энди*. — Энди Венсен д' (1851—1931) — французский композитор, автор симфонических и камерных произведений, педагог и музыкальный теоретик.

«*Мессидор*» — ежедневная французская газета прогрессивного направления, была основана в январе 1907 г. Ренар в ней печатался с февраля по ноябрь 1907 г.

Стр. 427. *Зато я не так спокоен за Гюисманса. Я чувствую бремя этого нелепого наследия.* — Ренар был избран на место умершего Ж.-К. Гюисманса (1848—1907) — французского писателя, первого председателя Академии Гонкуров. Гюисманс, начавший свою творческую деятельность как представитель натурализма, позднее стал католическим писателем, мистиком.

Стр. 430. *«Пти Паризьен»* — ежедневная французская газета, основанная 19 января 1876 г. и выходившая большим тиражом.

Стр. 431. *«Обезьяна Запада»* — роман Андре Тюдеска, опубликованный издательством Грассе в 1907 г., выдвигался, но безуспешно, на Гонкуровскую премию.

Стр. 434. *Кан Гюстав* (1859—1936) — французский писатель, поэт и критик, теоретик белого стиха.

Стр. 439. *А Барбюс? Жеффруа его книга не нравится...* — Речь идет о романе Анри Барбюса «Ад», который был издан в 1908 г.

Стр. 440. *Прочитав гнусную статью Леона Доде о Золя...* — Леон Доде (1868—1942) — сын Альфонса Доде, французский писатель, примыкал к крайне реакционному крылу в политике и литературе.

Стр. 442. *Герц Анри* — директор театра «Порт-Сен-Мартен», на сцене этого театра впервые была поставлена пьеса известного французского драматурга Эдмона Ростана (1868—1918) «Шантеклер» (первое представление состоялось 7 февраля 1910 г.).

Стр. 448. *«Из написанного»* — сборник статей и заметок Ренара, опубликованный двумя выпусками (1908—1909) в «Кайе Ниверне».

Стр. 450. *Он не хочет переходить на бульвар...* — то есть Антуан не хочет переходить в один из театров на Больших Бульварах.

Стр. 451. *...у Сары...* — то есть в театре Сары Бернар (1844—1923) — известной французской актрисы. Театр Сары Бернар был основан в 1898 г.



**Жюль Ренар**

**ДНЕВНИК**

Редактор *Н. Н. Глущенкова*

Технический редактор *М. С. Тарасова*

Корректоры *Н. Л. Второва, Н. С. Гайдученок*

Сдано в набор 07.08.97. Подписано в печать 01.07.98.  
Формат бумаги 70x90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура «Таймс». Печать офс.  
Усл. печ. л. 17,55. Уч.-изд. л. 19,35. Тираж 5000. Заказ 12706.  
С 006.

Калининградское книжное издательство,  
236000, Калининград, Советский просп., 13.

ГИПП «Янтарный сказ»,  
236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.

Калининградское  
книжное  
издательство  
ГИПП  
«Янтарный сказ»

ISBN 5-85500-383-3



9 785855 003833



ДНЕВНИК

Жюль  
Ренар

